

МАКСИМ ГОРЬКИЙ ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА



Максим Горький

Васса Железнова (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172837*

Васса Железнова: Эксмо; Москва; 2006

ISBN 5-699-16372-7

Аннотация

В книгу М.Горького вошли роман «Фома Гордеев» (1899) – драматическая история молодого человека, не нашедшего места в жестоком и неискреннем мире дельцов, «хозяев жизни», а так же известные пьесы «Васса Железнова» (1936), «Егор Булычев и другие» (1932) и повесть «Мои университеты» (1923).

Максим Горький: «Женщина иногда может в своего мужа влюбиться»

Содержание

Фома Гордеев	5
I	5
II	22
III	53
IV	121
V	155
VI	167
VII	182
VIII	217
IX	235
X	278
XI	328
XII	343
XIII	377
Пьесы	411
Егор Булычов и другие	411
Действующие лица	411
Первый акт	412
Второй акт	434
Третий акт	465
Васса Железнова	492
Действующие лица	492
Первый акт	494

Второй акт	514
Третий акт	535
Мои университеты	555

Максим Горький

Васса Железнова (Сборник)

Фома Гордеев

Антону Павловичу Чехову
М. Горький

I

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, – на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача – не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют – даже не могут – задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, – но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабоща-

ют ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище – Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых – в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся ее велениям, – он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою – замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на бере-

гу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

– Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..

– Что, Игнат, – спросил его кум Маякин, – выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

– Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, – гляди! Вот те «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире, на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

– Жалко посуду-то, Игнат? – спросил Маякин.

– Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руки мне оторвало...

– Все-таки...

– Что – все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, – вперед – наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, – жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был...

– Будто тоже не пожалел?

– Пароход? Пароход – жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна – жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их – пароходы горят. И –

хоть всё стори – плевать! Горела бы душа к работе... так ли?

– Н-да, – сказал Маякин, усмехаясь. – Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит – его хоть догола раздень, он все богат будет...

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

– Проваливай! Еще работать можешь, – поди вот дворнику моему помоги навоз убрать – семишник дам.

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, – он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг – обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, – Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа – буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилён разорвать.

Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью – вздохи лошади, усталой и больной.

– Господи! Ты – видишь!.. – глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколь-

ко дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание – желание иметь сына, и чем старше он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

– Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

– Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя – вона какие, как гири...

– Я про чрево спрашиваю, дура...

– От такого бою разве можно понести?

– Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей – ребенку и негде зародиться.

– Будто я не родила тебе?..

– Девочек-то! – укоризненно говорил Игнат. – Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, – будет уж! Тебе оставить? Молельщица ты, – ты, и во храме стоя, о кулебяках думаешь. А помру я – опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги

какому-нибудь дураку, – али я для этого работаю? Эх ты...

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти – они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену – как душу, тряси ее – как грушу»; но после каждого родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:

«Хороните без меня, наблюдай за имуществом...»

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки

веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.

Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, – всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная – Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебели и горок, наполненных серебром, боком,

пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься – глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости – она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень.

Он говорил про нее:

– Дерево – не баба! Однако – жизнь – как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет...

– Эй, кулугурка! – шутливо говорил Игнат жене. – Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

– Больно уж ты часто по церквям ходишь... Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, – сперва нагреси. Знаешь: не согресишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься... Ты вот греси, пока молода. Поедем кататься?

– Не хочется...

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупно отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

– Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

– Нет, – кратко отвечала она.

– Так что же – к своим, что ли, хочется?

– Да, – нет... так это...

– О чем ты думаешь?

– Я не думаю...

– А что же?

– Так...

Однажды он добился от нее более многосложного ответа:

– В сердце у меня – смутное что-то. И в глазах... И все кажется мне, что это – не настоящее...

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:

– Это ты напрасно! Тут все самое настоящее... вещь все дорогая, прочная!.. Но – захочешь – все сожгу, распродам, раздарю и – новое заведу! Ну, желаешь?

– На что? – спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет – точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

– Вот погоди – родишь ты мне сына, – совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу... Родишь ведь сына, а?

– Как бог даст, – отвечала она, опуская голову.

Потом ее настроение стало раздражать его.

– Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит – ровно по стеклу смотрит – будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, – дуреха!

Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:

– Наталья! Не дури, смотри.

Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:

– А то что будет?

Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.

– Что? – рявкнул он, наступая на нее.

– Прибить, что ли, хочешь? – не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.

Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.

– А – вот!.. – крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но вовремя она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:

– Ежели тронешь, – больше ко мне не подходи! Не допущу до себя!

Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже – зверь сильный и, если захочет, – не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.

– У-у, кулугурка! – рыкнул он и ушел.

Но, отступив пред нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтобы женщина и жена его

не преклонилась пред ним, – это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.

«Ладно! Поглядим, кто кого», – думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.

Но дня через четыре Наталья Фоминична объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:

– Наташа... ежели – сын, ежели сына родишь – озолочу! Что там! Прямо говорю – слугою тебе буду! Вот – как перед богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!

– В этом не наша воля, а божья!.. – тихо и вразумительно сказала она.

– Да, – божья! – с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой.

С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком.

– Пошто села к окну? Смотри – надует в бок, захвораешь еще!.. – говорил он ей сурово и ласково. – Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь... А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало...

Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ

стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.

Когда наступило время родов, – это было рано утром осеннего дня, – при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампы, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали... Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно... До слуха Игната доносились подавленные голоса:

– Не разродится она так-то... в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили...

В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шепотом стала молиться:

– Господи боже наш... благоволивый снити с небес и родитися от святых богородицы... ведый немощное человеческого естества... прости рабе твоей...

И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака... Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы,

тяжело вздыхал и думал:

«Неужто опять дочь будет?»

Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, не опьянявшую его в эти часы, дремал, и – так провел весь вечер, и всю ночь, и утро до полудня...

И вот наконец сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:

– С сыном тебя, Игнат Матвеевич!

– Врешь?

– Ну, что это ты, батюшка!..

Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:

– Слава тебе, господи! Не восхотел ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред тобою... Спасибо тебе, господи! – И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать: – Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвеевич просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать...

Явилась горничная и тревожно сказала ему:

– Игнатий Матвеевич! Наталья Фоминишна вас зовет... плохо им...

– Чего плохо? Пройдет! – рычал он, радостно сверкая глазами. – Скажи – сейчас иду! Скажи – молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет! Стой! Закуску по-

пу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!

Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате, потирая руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой... Наконец пошел к жене.

Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое...

– Ты, того, – осторожнее тискай... Ведь у него еще и костей-то нет... – сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.

Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.

– Иди к жене-то...

Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:

– Ну что, Наталья?

Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросавший тень на постель.

– Не выживу я... – раздался тихий, хрипящий голос.

Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утонувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизненное, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз – оно

было чужое ему. И взгляд этих страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, – тоже был знаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.

– Ничего... Это уж всегда... – тихо говорил он, наклоняясь поцеловать жену.

Но прямо в лицо его она повторила:

– Не выживу...

Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть – уже в ней.

– О, господи! – испуганным шепотом произнес он, чувствуя, что страх давит ему горло и не дает дышать. – Наташа! Как же? Ведь ему – грудь надо? Что ты это!

Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом:

– Ты подумай – ведь он без тебя не может, – ведь младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее...

Говорил и понимал – ненужное говорит он. Слезы вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как льдина.

– Прости – меня – прощай! Береги, смотри... Не пей... – беззвучно шептала Наталья.

Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над нею умоляющие слова:

– «Владыко господи вседержителю, исцеляй всякий недуг... и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели... и восстави ю от одра, на нем же лежит... зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачяхомся и сквернави вси есмы пред тобою...»

Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.

– «...из нея рожденного младенца соблюди от всякого ада... от всякия лютости... от всякия бури... от всякия духов лукавых, дневных же и нощных...»

Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, – умерла так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца, Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой, темной бороде Игната смерть жены посеяла много седин, но в блеске его глаз явилось нечто новое – мягкое и ласковое.

II

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива – запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покайнные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.

Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, – они блестили властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадца-

тилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там против воли отца, – Яков отрекся от него. А потом Тарас – пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь.

Яков Маякин – низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой – так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому: «Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете – не выдам...»

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица – одно пронизательное и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над ним – другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза и губы, – прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним – глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сип-

лым голосом:

– Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, – стало быть, я – человек чистой крови. . .

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту и по серьезно-му взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина – Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали Бузя, – существо чем-то испуганное, даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.

С девочкой Фома жил дружно, но, когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно таращил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и, под нашептывание Бузи, читал длинные молитвы. Потом – пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. После чая – летом – дети отправлялись в густой, огромный сад, спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей

не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор и там катались с большой ледяной горы.

В полдень обедали – «по-русски», как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками, потом жареное – поросенка, гуся, телятину или сычуг с кашей, – потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши, и заключалось все это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можжевеловый, хлебный, – их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда – ложились спать, и часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи.

Проснувшись – пили чай и разговаривали о городских новостях, – о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении того или другого знакомого купца... После чая Маякин говорил жене:

– Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библию-то...

Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей – все ли на местах?

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах

у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое.

– «Был человек в земле Уц...» – начинал Маякин сиплым голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос – как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой все рос; дорастая до неба, он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом:

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?»

Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил:

– Ишь ведь как дерзит...

Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не изломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными руками... И Фома снова видит человека – он сидит на земле, «тело его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его гноится». Но он уже маленький и жалкий, он просто – как нищий на церковной паперти...

Вот он говорит:

– «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»»

– Это он – богу говорит... – внушительно пояснял Маякин. – Как, говорит, могу быть праведным, ежели я – плоть? Это – богу вопрос...

И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц.

– Удостоился... праведник... – вздыхая, отвечают они.

Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит:

– Дуры!.. Ведите-ка ребят-то спать...

Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольно и с худо скрытым беспокойством говорил ему:

– Чего ты бука какой? Чего ты мало смеешься?

И жаловался куму:

– Боюсь я – Фомка-то в мать бы не пошел... Глаза у него невеселые...

– Рано больно беспокоишься, – усмехался Маякин.

Он тоже любил крестника; и, когда однажды Игнат объявил ему, что возьмет Фому к себе, – Маякин искренно огорчился.

– Оставь!.. – просил он. – Смотри – привык к нам мальчишка-то, плачет вон...

– Перестанет!.. Не для тебя я сына родил. У вас тут дух тяжелый... скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне без него – нерадостно. Придешь домой – пусто. Не гля-

дел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него, – не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала – присмотр за ним будет...

И мальчика привезли в дом отца.

Там встретила его смешная старуха с длинным крючковым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но, когда он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, – он сразу доверчиво ткнулся головой в ее колени.

– Сиротинка моя болезная! – говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой по лицу. – Ишь прильнул как... дитяtko мое милое!

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в новый, дотолe неизвестный ему мир. В первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребенком, спросила его:

– Рассказать ли тебе сказочку?

С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего пред ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похо-

жей на бабу-ягу сказки, – добрую и милую бабу-ягу, – то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, видел, как тихо он трепещет от огонька лампы перед образом... Фома наполнял его чудесными картинами сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам до полу; мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, – вмиг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покрове тьмы? Он шел и не находил ничего, но не терял надежды найти...

Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные, длинные руки и сверкающие глаза – все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.

Однажды, когда ему шел уже восьмой год, Фома спросил отца, только что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то:

– Ты где был?

– По Волге ездил...

– Разбойничал? – тихо спросил Фома.

– Что-о? – протянул Игнат, и брови у него дрогнули.

– Ведь ты разбойник, тятя? Я знаю уж... – хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца.

– Я – купец! – строго сказал Игнат, но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил: – А ты – дурашка!.. Я хлебом торгую, пароходами работаю, – видал «Ермака»? Ну вот, это мой пароход... И твой...

– Больно большой он... – со вздохом сказал Фома.

– Ну, я куплю тебе маленький, докуда ты сам маленький, – ладно?

– Ладно! – согласился Фома, но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул: – А я думал, что ты то-о-же разбойник...

– Я тебе говорю – торговец я! – внушительно повторил Игнат, и в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое...

– Как дедушка Федор, калачник? – подумав, спросил Фома.

– Ну вот, как он... только богаче я, денег у меня больше, чем у Федора...

– Много денег?

– Ну... и еще больше бывает...

– Сколько у тебя бочек?

– Чего?

– Денег-то?

– Дурашка! Разве деньги бочками меряют?

– А как же? – оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему: – Вон в один город приехал разбойник Максимка и у одного там, богатого, двенадцать бочек деньгами насыпал... да разного серебра, да церковь ограбил... а одного человека саблей зарубил и с колокольни сбросил... он, человек-то, в набат бить начал...

– Это тебе тетка, что ли, рассказала? – спросил Игнат, любясь оживлением сына.

– Она, а что?

– Ничего! – смеясь, сказал Игнат. – То-то ты и отца в разбойники произвел...

– А может, ты был давно когда? – опять возвратился Фома к своей теме, и по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ.

– Не был я... брось это...

– Не был?

– Ну, говорю ведь – не был! Экой ты какой... Разве хорошо – разбойником быть? Они... грешники все, разбойники-то. В бога не веруют... церкви грабят... их проклинаят вон, в церквах-то... Н-да... А вот что, сынок, – учиться тебе надо! Пора, брат, уж... Начинай-ка с богом. Зиму-то прочишься, а по весне я тебя в путину на Волгу с собой возьму...

– В училище буду ходить? – робко спросил Фома.

– Сперва дома с теткой поучишься...

И скоро мальчик с утра садился за стол и, вода пальцем по славянской азбуке, повторял за теткой:

– Аз... буки... веди...

Когда дошли до – бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давалась Фоме легко, и вот он уже читает первый псалом первой кафизмы Псалтиря:

– «Бла-жен му-ж... иже не иде на... со-вет не-че-сти-вых...»

– Так, миленький, так! Так, Фомушка, верно! – умиленно вторит ему тетка, восхищенная его успехами...

– Молодец Фома! – серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехе сына... – Едем весной в Астрахань, а с осени – в училище тебя!

Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тетка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, в жмурки; детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комнате и все-таки натыкалась на стулья и столы, или как она, ища их, лазала по разным укромным уголкам, приговаривая:

– Ах, мошенники... Ах, разбойники... где это они тут забились?

Солнце ласково и радостно светило ветхому, изношенно-

му телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей, по мере сил и умения, жизненный путь детям...

Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечером он ездил в думу, в гости или еще куда-нибудь. Иногда он являлся домой пьяный, – сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом – привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый: и ласковее, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью – мальчик всегда просыпался от его трубного голоса:

– Анфиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, – к наследнику – допу-усти!

А тетка уговаривала его укоризненным, плачущим голосом:

– Иди, иди, дрыхни знай, леший ты, окаянный! Ишь на-зюзился! Седой ведь уж ты...

– Анфиса! Сына я могу видеть? Одним глазом?..

– Чтоб у тебя лопнули оба от пьянства твоего...

Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда ж Игнат являлся пьяный днем – его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его:

– Фомка! Чего хочешь? Говори! Гостинцев? Игрушек? Проси, ну! Потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня – миллён! И еще больше будет! Понял? Все твое!

И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснея, наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку.

– Анфиса! Ежели он помрет – что я тогда сделаю?

И вслед за этими словами бешенство овладевало им.

– Сожгу все! – ревел он, дико уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. – Истреблю! Порохом взорву!

– Бу-удет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворал он, желаешь? – причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтоб Игнат поспешно исчезал, бормоча:

– Ну-ну-ну! Иду, иду... Ты только не кричи! Не пугай его...

А если Фоме нездоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал.

– Ты что бога-то гневишь? – говорила Анфиса. – Смотри, дойдет роптанье твое до господя, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к тебе...

– Эх, сестра! – вздыхал Игнат. – Ты пойми, – ведь ежели что – вся жизнь моя рушится! Для чего жил?.. Неизвестно...

Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из

саней, равнодушно говорил:

– Тетя! Опять пьяный приехал тятка-то.

Пришла весна – и, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот пред Фомой развернулась новая жизнь.

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги, – левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простерлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья, солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на середину реки, чтоб покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины дере-

вьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня:

– О-э – о-о – еще – о – разок!

Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идет по реке; желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит – гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные – вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, выются над ними, ясно видны на голубом пологие неба; стадо пасется невдалеке, – издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело зелены луга, ласково ясно голубое небо; в спокойном движении воды чувствуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и всё новые картины открываются на них.

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности; всё – и природа и люди – живет неуклюже, лениво, – но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, – сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку... Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев... Тишина...

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал спрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

– Тетя Анфиса знает лучше тебя...

– Что она знает? – спросил Игнат, усмехаясь...

– Все, – убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот,

в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие – поменьше, но и люди, и дома, и церкви – все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

– Вот завтра приедем в Астрахань... – сказал однажды Игнат.

– А она – такая же, как все?

– Ну, известно!.. А то – какая же?

– А за ней что?

– Море... Каспийское море называется.

– А что в нем есть?

– Рыба, чудак! Что может в воде быть?

– Город-от Китеж в воде стоит...

– То – другое дело! То – Китеж... В нем – одни праведники жили.

– А в море праведные города не бывают?

– Не бывают... – сказал Игнат и, помолчав, прибавил: –

Вода морская – горькая, пить ее нельзя...

– А за морем опять земля будет?

– Известно! Море-то должно же края иметь. Оно – как чашка...

– И опять города там?

– И опять города, – а как же? Только там уж не наша земля будет, а персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то – шептала, урюк, фисташка?

– Видал, – ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

– Много еще земли-то?

– Земли, брат, – о-очень много!

– А на ней все одинаковое?

– То есть что?

– Города и всё...

– Ну, конечно... Все одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

– Приказал валить столько дров, – тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет – машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

– А все жадность его непомерная – дешевле здесь топливо,

вот он и старается... Жаден, дьявол!

– Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в память Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

– Тятя!

– Ась?

– Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

– Вот оно что!.. – проговорил он, потрянув головой. – Ну, ты не того, – не слушай их. Они тебе не компания, – ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они – твои слуги, так и знай. Захочем мы с тобой, и всех их до одного на берег швырнем, – они дешево стоят, и их везде как собак нерезанных. Понял? Они про меня много могут худого сказать, – это потому они скажут, что я им – полный господин. Тут все дело в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все завидуют. Счастливый человек – всем людям враг...

Дня через два на пароход явились новые и лоцман и машинист.

– А где Яков? – спросил мальчик.

– Рассчитал я его... прогнал!

– За то?

– За то самое...

– И Петровича?

– И его.

Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру.

– А лоцман-то новый уж, – объявил Фома.

– Знаем... Доброго здоровьица, Фома Игнатьич! Как спал-почивал?

– И машинист новый...

– И машинист... Жалко Петровича-то?

– Нет.

– Ну? А он до тебя такой ласковый был....

– А зачем он тятю ругал?

– О? Али он ругал?

– Ругал, я ведь слышал...

– Мм... а отец-то тоже, значит, слышал?

– Нет, это я ему сказал...

– Ты... Та-ак... – протянул матрос и замолчал, принявшись за работу.

– А тятя мне говорит: «Ты, говорит, здесь хозяин... всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь...»

– Такое дело!.. – сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась раньше: одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить

с ним, а если и говорили, то сердито и совсем не забавно, как раньше бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, – всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там и стал с обидой задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на палубе, игриво плескалась вода и матросы весело смеялись... Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда.

«Держись от них подальше, – вспомнил он слова отца, – ты им хозяин...»

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам – что-нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он долго придумывал – что бы? И не придумал ничего... Прошло еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и все чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы с ее

сказками, улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он все еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел на все вокруг него. Случай с лоцманом и машинистом направил внимание мальчика на окружающее; глаза Фомы стали зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу зазвучало стремление понять, – какие нити и пружины управляют действиями людей? Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито говорил:

– Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос – ну, стало быть, дело твое ясное!.. А чтобы еще и дрова... спасибо! Это значит – драть с меня ту шкуру, которой я не продал... Это уж без совести! Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать.

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликнулся на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки.

– Будет! – хмуро говорил он. – Чай, не на лошадь грузишь.

– А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся... И ежели кровь из тебя будут сосать – тоже молчи, – что ты можешь сказать?

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и, став против него, сурово спросил:

– Про что говоришь?

– Говорю, стало быть, как умею... – запинаясь, ответил Ефим. – Уговора, мол, не было... чтобы молчать мне...

– А кто это кровь сосать будет? – поглаживая бороду спросил Игнат.

Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал:

– А разве не правда моя? Не сосешь ты...

– Я?

– Ты.

Фома видел, как отец взмахнул рукой, – раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

– Ты что хмуришься? – ласково спросил его отец.

– Так...

– Нездоровится, может?

– Нету...

– То-то... Ты, коли что, скажи...

– Сильный ты!.. – вдруг задумчиво проговорил мальчик.

– Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

– Ка-ак ты его давеча треснул! – тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

– Это – Ефимку, что ли?

– Да... до крови!.. Как шел он потом, так плакал... – вполголоса рассказывал мальчик.

– Мм... – промычал Игнат, пережевывая кусок. – Жалеешь ты его?

– Жалко! – со слезами в голосе сказал Фома.

– Н-да... Вишь ты что!.. – сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно:

– Жалеть его – не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он – парень хороший, усердный, здоровый и – неглуп. А рассуждать – не его дело: рассуждать я могу, потому что я – хозяин. Это не просто, хозяином-то быть!.. От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец ты... ничего не понимаешь... на-

до учить тебя жить-то... Может, уж немного осталось веку моего на земле...

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал:

– Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! Только – нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь – сильный, способный к делу человек – пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен – плюнь на него, пройди мимо. Так и знай – который человек много жалуется на все, да охает, да стонет – грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь... Только пуще киснут да балуются такие от жалости к ним... Живучи у крестного, насмотрелся ты там на разную шушеру: странники эти, приживальщики, несчастненькие... и разные гады... Об них забудь... это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны... Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть... И не для бога они живут – нету у них никакого бога, имя же его всеу при- зывают, чтобы дураков разжалобить да от их жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего живут они и кроме как – пить, жрать, спать да стонать – ничего не умеют делать... От них – один развал души. Только запинаешься за них. И хороший человек среди них – как свежее яблоко среди гнилых – испортиться может... Мал ты, вот что, – не можешь ты понимать моих слов... Ты тому помогай, кото-

рый в беде стоек... он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да помоги ему без его спроса... Да который гордый и может обидеться на помощь твою – ты виду ему не подавай, что помогаешь... Вот как надо, по разуму-то! Тут – такое дело: упали, скажем, две доски в грязь – одна гнилая, другая – хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске – какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать... А здоровую – подними и поставь на солнце, она – не тебе, так другому – на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни... А Ефимку жалеть не за что, – он парень дельный, цену себе понимает... Из него плюхой душу не вышибешь... Вот я посмотрю недельку время, да к штурвалу его поставлю... А там, гляди, лоцманом будет... И ежели капитаном его сделать – ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут... Я, брат, сам эту науку проходил, – тоже немало плюх съел в его-то годы... Нам, сынок, всем жизнь-то – не мать родная, – наша строгая хозяйка она...

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить на счет других, и снова о себе – о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела.

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тетки

Анфисы, но зато было в них что-то новое – более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно.

– Сыниска!.. – глухо шептал Игнат. – Милый ты мой!.. радость ты моя!.. Учись, пока я жив... э-эх, трудно жить!

Дрогнуло сердце ребенка от этого шепота, он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз...

Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами и все на реке было зловеще спокойно, – приплыли в Казань и встали около Услона в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому; он посмотрел в окно и увидал: далеко, во тьме, сверкали маленькие огоньки; вода была черна и густа, как масло, – и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло, и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывая, как причитание; на караване перекликались сторожа, сердито шипел пароход, разводя пары... Черная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всмотриваясь во тьму пристально, до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними... Он знал, что это были баржи,

но знание не успокаивало его, сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы.

– О-о... о!.. – донесся издали протяжный крик и закончился похоже на рыдание... Вот кто-то прошел по палубе к борту парохода...

– О-о-о... – раздалось опять, но уже где-то ближе...

– Яфим! – вполголоса заговорили на палубе. – Черт! Вставай! Бери багор...

– О-о-о!.. – застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откачнулся от окна.

Станный звук подплывал все ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе тревожно шептали:

– Яфимка! Да встань – гость плывет!

– Де? – раздался торопливый вопрос... По палубе зашлепали босые ноги, послышалась возня, мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду...

– Го-о-ость! – зарыдали где-то близко, и раздался тихий, странный плеск воды.

Мальчик дрожал от ужаса пред этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаз от воды.

– Зажги фонарь... не видать ничего!..

И вот на воду упало пятно мутного света... Фома видел, что вода тихо колыхается, рябь идет по ней, точно ей больно и она вздрагивает от боли.

– Гляди... гляди!.. – испуганно зашептали на палубе.

В то же время в пятне света на воде явилось большое, страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому, и точно оно, улыбаясь, говорило:

«Эх, мальчик, мальчик... хо-олодно!...»

Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду.

– Пихай его... веди!.. Смотри – подойдет в колесо...

Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму... И вот там вновь раздался стонущий заупокойно возглас:

– Го-о-ость...

– Тятя! – закричал Фома. – Тя-ятя...

Отец вскочил на ноги и бросился к нему.

– Что там? Что они делают? – кричал Фома.

Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовой постели.

– Испугали тебя, – ну, ничего! – говорил Игнат, взяв его на руки. – Ложись-ка со мной...

– Что это? – тихо спрашивал Фома.

– Это, сынок, ничего... Это – утопший... Утонул человек и плывет... Ничего! Ты не бойся, он уже уплыл...

– Зачем они толкали его? – допрашивал мальчик, крепко

прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха...

– А – так уж надо... Подобьет его вода в колесо... нам, к примеру... завтра увидит полиция... возня пойдет, допросы... задержат нас. Вот его и провожают дальше... Ему что? Он уж мертвый... ему это не больно, не обидно... а живым из-за него беспокойство было бы... Спи, сынок!..

– Так он и поплывет?

– Так и поплывет... Где-нибудь вынут – схоронят...

– А рыба его съест?

– Рыба не ест человечесьё тело... Раки едят...

Страх Фомы таял, но пред глазами его все еще покачивалось на черной воде страшное лицо с оскаленными зубами.

– А он кто?

– Бог его знает! Ты скажи о нем богу: господи, мол, упокой душу его!

– Господи, упокой душу его! – шепотом повторил Фома.

– Ну, вот... И спи, не бойся!.. Он уж теперь далеко-о! Плывет себе... Вот – не подходи неосторожно к борту-то, – упадешь этак – спаси бог! – в воду и...

– А он тоже упал?

– Известно, упал... Может, пьян был... А может, сам бросился... Есть и такие, которые сами... Возьмет да и бросится в воду... И утонет... Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека – праздник, а иная – для всех благодать!

– Тятя...

– Спи, родной...

III

В первый же день школьной жизни Фома, ошеломленный живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных, детских игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показались ему интереснее других. Один сидел впереди его. Фома, поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный затылок, покрытый ярко-рыжими волосами.

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней губой, позвал: «Смолин, Африкан!» – рыжий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать мелом на доске большие круглые цифры.

– Хорошо, – довольно! – сказал учитель. – Ежов, Николай, – продолжай!

Один из соседей Фомы по парте, – непоседливый, маленький мальчик с черными, мышиными глазками, – вскочил с места и пошел между парт, за все задевая, вертя головой во все стороны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набрасывая на нее мелкие, неясные знаки.

– Ти-ше, – сказал учитель, болезненно сморщив желтое лицо с усталыми глазами.

А Ежов звонко и быстро говорил:

– Теперь мы узнали, что первый разносчик получил барыша семнадцать копеек...

– Довольно!.. Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько барыша получил второй разносчик?

Наблюдая за поведением мальчиков, – так не похожих друг на друга, – Фома был захвачен вопросом врасплох и – молчал.

– Не знаешь?.. Объясни ему, Смолин...

Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачканные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое место.

– Эх ты! – зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж кстати толкая его кулаком в бок. – Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? тридцать копеек... а разносчиков – двое... один получил семнадцать – ну, сколько другой?

– Знаю я, – шепотом ответил Фома, чувствуя себя сконфуженным и рассматривая лицо Смолина, степенно возвращавшегося на свое место. Ему не понравилось это лицо – круглое, пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшими жиром.

А Ежов больно щипал ему ногу и спрашивал:

– Ты чей сын – Шалого?

– Да...

– Ишь... Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду?

– Хочу...

– А что дашь за это?

Фома подумал и спросил:

– А ты знаешь сам-то?

– Я? Я – первый ученик...

– Вы, там! Ежов – опять ты разговариваешь? – крикнул учитель.

Ежов вскочил на ноги и бойко сказал:

– Это не я, Иван Андреич, – это Гордеев!

– Оба они шепчутся, – невозмутимо объявил Смолин.

Жалобно сморщив лицо и смешно шлепая своей большой губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал Ежову тотчас же снова зашептать:

– Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду...

– А ты зачем сваливаешь на новенького? – не поворачивая к ним головы, тихо спрашивал Смолин.

– Ладно, ладно! – шипел Ежов.

Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который одновременно и нравился ему, и возбуждал в нем желание отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал от Ежова, что Смолин – тоже богатый, сын кожевенного заводчика, а сам Ежов – сын сторожа из казенной палаты, бедняк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому из серой бумазеи, украшенному заплатами на коленях и локтях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим альтиком, поясняя свою речь гримасами и жестами, и

часто употреблял в речи свои слова, значение которых было известно только ему одному.

– Мы с тобой будем товарищи, – объявил он Фоме.

– А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? – напомнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него.

– Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый, – с богатых учитель-то не взыскивает... А я – бедный объедон, меня он не любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносил ему... Кабы я плохо учился – он бы давно уж выключил меня. Ты знаешь – я отсюда в гимназию уйду... Кончу второй класс и уйду... Меня уж тут один студент приготавливает... Там я так буду учиться – только держись! А у вас лошадей сколько?

– Три... Зачем тебе много учиться? – спросил Фома.

– Потому что – я бедный... Бедным нужно много учиться, от этого они тоже богатыми станут, – в доктора пойдут, в чиновники, в офицеры... Я тоже буду звякарем... сабля на боку, шпоры на ногах – дрынть, дрынть! А ты чем будешь?

– Н-не знаю!.. – задумчиво сказал Фома, разглядывая товарища.

– Тебе ничем не надо быть... А голубей ты любишь?

– Люблю...

– Какой ты фуфлыга! У-у! О-о! – передразнивал Ежов медленную речь Фомы. – Сколько у тебя голубей?

– У меня нет...

– Эх ты! Богатый, а не завел голубей... У меня и то три

есть, – скобарь один, да голубка пегая, да турман... Кабы у меня отец был богатый, – я бы сто голубей завел и все бы гонял целый день. И у Смолина есть голуби – хорошие! Четырнадцать, – турмана-то он мне подарил. Только – все-таки он жадный... Все богатые – жадные! А ты тоже – жадный?

– Н...не знаю, – нерешительно сказал Фома.

– Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять...

– Ладно... ежели меня пустят...

– Разве отец-то не любит тебя?

– Любит.

– Ну, так пустит... Только ты не говори, что и я тоже пойду, – со мной, пожалуй, и взаправду не пустит... Ты скажи – к Смолину, мол, пустите... Смолин!

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, укоризненно покачивая головой:

– Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружить, – булыжник!

– Что ты ругаешься? – спокойно спросил Смолин, разглядывая Фому неподвижными глазами.

– Я не ругаюсь, а правду говорю, – пояснил Ежов, весь подергиваясь от оживления. – Слушай! Хотя ты и кисель, да – ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе...

– Приходите, – кивнул головой Смолин.

– Придем... Скоро уж звонок, побегу чижа продавать, –

объявил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора училища, как ртуть с ладони.

– Ка-акой он! – сказал Фома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.

– Ловкий, – пояснил рыжий мальчик.

– И веселый, – добавил Фома.

– И веселый, – согласился Смолин.

Потом они помолчали, оглядывая друг друга.

– Придешь ко мне с ним? – спросил рыжий.

– Приду...

– Приходи... У меня хорошо...

Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его:

– У тебя много товарищей?

– Никого нет...

– У меня тоже до училища никого не было... только братья двоюродные... Вот теперь у тебя будут сразу двое товарищей...

– Да, – сказал Фома.

– Когда есть много товарищей – это весело... И учиться легче – подсказывают...

– А ты хорошо учишься?

– Я – все хорошо делаю, – спокойно сказал Смолин.

Задрезжал звонок, точно испуганный и торопливо побежавший куда-то...

Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал

сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он нашел, что оба они – самые лучшие в школе и первыми бросаются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не стертые с черной классной доски. И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи лучше всех остальных мальчиков.

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул в какой-то узкий переулок. Смолин же шел с Фомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказал:

– Вот видишь – и ходить нам вместе!

Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тетка – шарф своего вязанья. Его ждали обедать, приготовили любимые им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол и стали спрашивать.

– Ну что, понравилось в училище? – спрашивал Игнат, с любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.

– Ничего... Славно! – отвечал Фома.

– Милый ты мой! – умиленно вздыхала тетка. – Ты, смотри, товарищам-то не поддавайся... Чуть они чем обидят тебя, ты сейчас учителю и скажи про них...

– Ну, слушай ее! – усмехнулся Игнат. – Этого не делай никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей рукой накажи! Ребятишки-то хорошие?

– Да, – Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. – Один такой бойкий – беда!

– Чей таков?

– Сторожа сын...

– Боек, говоришь?

– Страсть!

– Ну – бог с ним! А другой?

– А другой – ры-ижий весь... Смолин...

– А! Митрия Иваныча сын, видно... Этого держись, компания хорошая... Митрий – умный мужик... коли сын в него – это ладно! Вот другой-то... Ты, Фома, вот что: ты пригласи-ка их в воскресенье в гости к себе. Я куплю гостинцев, угощать ты их будешь... Поглядим, какие они...

– В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, – объявил Фома, вопросительно взглянув на отца.

– Ишь ты... Ну, поди! Это ничего, поди... Присматривайся, какие есть люди на земле... Один, без дружбы, не проживешь... Вот я с твоим крестным двадцать лет с лишком дружу – многим от ума его попользовался. Так и ты, – старайся дружить с теми, которые лучше, умнее тебя... Около хорошего человека потрешься – как медная копейка о серебро – и сам за двугривенный сойдешь... – И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил: – Это – шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть... Ум имей хоть маленький, да свой... Что, уроков-то много задали тебе?

– Много! – вздохнул мальчик, и вздоху его откликнулась тяжелым вздохом тетка...

– Ну – учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе вот что: в училище, – хоть двадцать пять классов в нем

будь, – ничему, кроме как писать, читать да считать, – не научат. Глупостям разным можно еще научиться, – но не дай тебе бог! Запорю, ежели что... Табак курить будешь, губы отрежу...

– Бога помни, Фомушка, – сказала тетка. – Господа нашего, смотри, не забудь...

– Это верно! Бога и родителя – чти! Но я про то хочу сказать, что книги-то учебные – дело еще малое... Нужны они тебе, как плотнику топор да рубанок; они – инструмент, а тому, как в дело его употребить, – инструмент не научит. Понял?.. Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обтесать бревно... Рук да топора тут мало, надо еще уметь ударить по дереву, а не по ноге себе... Выходит, что одних книг мало: надо еще уметь пользоваться ими... Вот это уметь и есть то самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего не написано... Этому, Фома, надо учиться от самой от жизни. Книга – она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай – она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял, – тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет.

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, под сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, обтесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протянутыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к чему-то огромному и живому и желает схватить это страш-

ное что-то...

– Человек должен себя беречь для своего дела и путь к своему делу твердо знать... Человек, брат, тот же лоцман на судне... В молодости, как в половодье, – иди прямо! Везде тебе дорога... Но – знай время, когда и за правез взяться надо... Вода сбыла, – там, гляди, мель, там карча, там камень; все это надо усчитать и вовремя обойти, чтобы к пристани доплыть целому...

– Я доплыву! – сказал мальчик, уверенно и гордо глядя на отца.

– Ну? Храбро говоришь! – Игнат засмеялся. И тетка тоже ласково засмеялась.

Со времени поездки с отцом по Волге Фома стал более бойким и разговорчивым с отцом, теткой, Маякиным. Но на улице или где-нибудь в новом для него месте, при чужих людях, он хмурился и посматривал вокруг себя подозрительно и недоверчиво, точно всюду чувствовал что-то враждебное ему, скрытое от него и подстерегающее.

Ночами иногда он вдруг просыпался и подолгу прислушивался к тишине вокруг, пристально рассматривая тьму широко раскрытыми глазами. Пред ним претворялись в образы и картины рассказы отца. Он незаметно для себя путал их со сказками тетки и создавал хаос событий, в котором яркие краски фантазии причудливо переплетались с суровыми тонами действительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчик закрывал глаза, гнал от себя все это и хотел

бы остановить игру воображения, пугавшую его. Но он безуспешно пытался уснуть, а комната все теснее наполнялась темными образами. Тогда он тихо будил тетку:

– Тетя... А тетя...

– Что? Христос с тобой...

– Я приду к тебе, – шептал Фома.

– Пошто? Спи-ка, милуша моя... спи...

– Я боюсь! – сознавался мальчик.

– А ты прочитай про себя «да воскреснет Бог» и перестанешь бояться-то.

Фома лежит с закрытыми глазами и читает молитву. Тишина ночи рисуется перед ним в виде бескрайнего пространства темной воды, она совершенно неподвижна, – разлилась всюду и застыла, нет ни ряби на ней, ни тени движения, и в ней тоже нет ничего, хотя она бездонно глубока. Очень страшно смотреть одному откуда-то сверху, из тьмы, на эту мертвую воду... Но вот раздается звук колотушки ночного сторожа, и мальчик видит, что поверхность воды вздрагивает, по ней, покрывая ее рябью, скачут круглые, светлые шарики... Удар в колокол на колокольне заставляет всю воду всколыхнуться одним могучим движением, и она долго плавно колышется от этого удара, колышется и большое светлое пятно, освещает ее, расширяется от ее центра куда-то в темную даль и бледнеет, тает. Снова тоскливый и мертвый покой в этой темной пустыне...

– Тетя... – умоляюще шепчет Фома.

– Асиньки?

– Я к тебе приду...

– Да иди, иди, роднуша моя...

Перебравшись на постель к тетке, он жметя к ней и просит:

– Расскажи что-нибудь...

– Ночью-то? – сонно протестует тетка.

– Пожа-алуйста...

Ее не приходится долго просить. Позевывая, осипшим от сна голосом, старуха, закрыв глаза, размеренно говорит:

– И вот, сударь ты мой, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж да жена, и были они бедные-пребедные!.. Уж такие-то разнесчастные, что и есть-то им было нечего. Походят это они по миру, дадут им где черствую, завалящую корочку, – тем они день и сыты. И вот родилось у них дите... родилось дите – крестить надо, а как они бедные, угостить им кумов да гостей нечем, – не идет к ним никто крестить! Они и так, они и сяк, – нет никого!.. И взмолились они тогда ко господу: «Господи! Господи!..»

Фома знает эту страшную сказку о крестнике бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует пред собой этого крестника: вот он едет на белом коне к своим крестным отцу и матери, едет во тьме, по пустыне, и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники... И слышит он тихие стоны и просьбы их:

«О-о-о! Человече! спроси у господя, долго ли еще мучить-

ся нам?»

Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи на белом коне, к нему обращены стоны и моления. Сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели...

– Спи, дитяtko мое, Христос с тобой! – говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людей.

Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками, – их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища.

– Припер пожрать? – встречал он Фому, поводя своим острым носом. – Давай, а то я ушел из дому без ничего... Проспал, черт е дери, – до двух часов ночи все учился... Ты задачи сделал?

– Не сделал.

– Эх ты, карамора! Ну, я их тебе сейчас раскатаю!

Впиваясь в пирог мелкими, острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы:

– Видал? В час вытекло восемь ведер... а сколько часов текло – шесть? Эх, сладко вы едите!.. Шесть, стало быть, надо помножить на восемь... А ты любишь пироги с зеленым луком? Я – страсть как! Ну вот, из первого крана в шесть часов вытекло сорок восемь... а всего налили в чан девяносто... дальше-то понимаешь?

Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живости маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это и в то же время жалел его снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным, рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им:

– Эх вы, чемоданчики с пирожками!..

Фома сердился на него за насмешки и однажды, задетый за сердце, презрительно и зло сказал:

– А ты – попрошайка, нищий!

Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил:

– Ладно, пускай!.. А вот я не буду подсказывать тебе – и станешь ты бревном!

Дня три они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева.

Ежов знал все: он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе; он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни и клетки для птиц; подробно сообщал, отчего и как повесился солдат в казарме, на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня по-

дарок и какой именно подарок.

Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом купеческим; рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Все это он знал подробно, говорил об этом с увлечением.

К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме:

– Зачем ты все ругаешься с Ежовым?

– А что он больно зазнается? – сердито ответил Фома.

– То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе... Он – умный... А что бедный, так – разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат...

– Комар он какой-то, – пренебрежительно сказал Фома, – пищит, пищит, да вдруг и укусит!

Но в жизни мальчиков было нечто объединявшее всех их, были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, взлезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, – выпускали голубей.

Красивые сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками.

– Шугай! – просил Ежов, вздрагивая от нетерпения.

Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с мочалом на конце и свистал.

Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его то-ропливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх, в голубую глубину неба, плывут, сверкая серебром и снегом оперения, все выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими, другие – играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова, стрелою, летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, все уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любуются птицами, не отрывая глаз от них – усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву неба, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит:

– Нам бы, братцы, так полетать...

Объединенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц, мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко – как их голуби от земли – ушли от веяния жизни; в этот час они просто – дети, не могут ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близ-

ки друг к другу, без слов, по блеску глаз, понимают свое чувство, и – хорошо им, как птицам в небе.

Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню.

– Братцы! Айда за яблоками?! – предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и походов.

Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение, и вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд, и труд опасный, все же заработанное трудом – так сладко!.. И тем слаще, чем большим количеством усилий взято... Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймают, и того, что, заметив, – узнают, кто они; но если их только заметят и закричат на них – они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе, с горящими восторгом и удачью глазами, они со смехом будут рассказывать друг другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами.

В подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал сердца больше, чем во все другие походы и игры, – и вел он

себя в набегах с храбростью, которая поражала и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно неосторожно: говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступления не пугала, а лишь возбуждала его – глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот:

– Очень уж ты форсишь...

– Я не трус! – отвечал Фома.

– Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки...

Можно и без форсу не хуже дело делать...

Ежов осуждал его с иной точки зрения:

– Если ты будешь сам в руки соваться – поди к черту! Я тебе не товарищ... Тебя поймают да к отцу отведут – он тебе ничего не сделает, а меня, брат, так ремнем отхлещут – все мои косточки облупятся...

– Трус! – упрямо твердил Фома.

И вот однажды Фома был пойман руками штабс-капитана Чумакова, маленького и худенького старика. Неслышно подкравшись к мальчику, укладывавшему сорванные яблоки за пазуху рубахи, старик вцепился ему в плечи и грозно закричал:

– Попался, разбойник! Ага-а!

Фоме в то время было около пятнадцати лет, он ловко вы-

вернулся из рук старика. Но не побежал от него, а, нахмутив брови и сжав кулаки, с угрозой произнес:

– Попробуй... тронь!..

– Я тебя не трону – я тебя в полицию сведу! Ты чей?

Этого Фома не ожидал, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествие в полицию показалось чем-то таким, чего отец никогда не простит ему. Он вздрогнул и смущенно объявил:

– Гордеев...

– И... Игната Матвеича?..

– Да...

Теперь смутился штабс-капитан. Он выпрямился, выпятил грудь вперед и зачем-то внушительно крикнул. Потом плечи его опустились, и отечески вразумительно он сказал мальчику:

– Стыдно-с! Наследник такого именитого и уважаемого лица... Недостойно-с вашего положения... Можете идти... Но если еще раз повторится происшедшее... принужден буду сообщить вашему батюшке... которому, между прочим, имею честь свидетельствовать мое почтение!..

Фома, наблюдая за игрой физиономии старика, понял, что он боится отца. Исподлобья, как волчонок, он смотрел на Чумакова; а тот со смешной важностью крутил седые усы и переминался с ноги на ногу перед мальчиком, который не уходил, несмотря на данное ему разрешение.

– Можете идти, – повторил старик и указал рукой дорогу

к своему дому.

– А в полицию? – угрюмо спросил Фома и тотчас же испугался возможного ответа.

– Это я – пошутил! – улыбнулся старик. – Напугать вас хотел...

– Вы сами боитесь моего отца... – сказал Фома и, повернувшись спиной к старику, пошел в глубь сада.

– Боюсь? А-а! Хорошо-с! – крикнул Чумаков вслед ему, и по звуку голоса Фома понял, что обидел старика.

Ему стало стыдно и грустно; до вечера он прогулял один, а придя домой, был встречен суровым вопросом отца:

– Фомка! Ты к Чумакову в сад лазил?

– Лазил, – спокойно сказал мальчик, глядя в глаза отцу.

Игнат, должно быть, не ждал такого ответа и несколько секунд молчал, поглаживая бороду.

– Дурак! Зачем ты это? Мало, что ли, тебе своих яблоков? Фома опустил глаза и молчал, стоя против отца.

– Вишь – стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этот подбил? Я вот его проберу, когда придет... а то и совсем прекращу дружбу-то вашу...

– Это я сам, – твердо сказал Фома.

– Час от часу не легче! – воскликнул Игнат. – Да зачем тебе?

– Так...

– Квак! – передразнил отец. – А ты уж коли что делаешь, так умей объяснить это и себе и людям... Подь сюда!

Фома подошел к отцу, сидевшему на стуле, и стал между колен у него, а Игнат положил ему руки на плечи и, усмехаясь, заглянул в его глаза.

– Стыдно?..

– Стыдно!.. – вздохнув, сказал Фома.

– Вот то-то, дурень! Позоришь и себя и меня...

Прижав к груди своей голову сына, он погладил его волосы и снова спросил:

– На что это нужно – яблоки чужие воровать?

– Да – я не знаю! – сказал Фома смущенно. – Играешь, играешь... все одно и то же... надоест! А это...

– За сердце берет? – спросил отец, усмехаясь.

– Берет...

– Мм... пожалуй, так!.. Но, однако, ты, Фома, – брось это!

Не то я с тобой круто обойдусь...

– Никогда я больше никуда не полезу, – уверенно сказал мальчик.

– А что ты сам за себя отвечаешь – это хорошо. Там господь знает, что выйдет из тебя, а пока... ничего! Дело не малое, ежели человек за свои поступки сам платить хочет, своей шкурой... Другой бы, на твоём месте, сослался на товарищей, а ты говоришь – я сам... Так и надо, Фома!.. Ты в грехе, ты и в ответе... Что, – Чумаков-то... не того... не ударил тебя? – с расстановкой спросил Игнат сына.

– Я бы ему ударил! – спокойно объявил Фома.

– Мм... – промычал его отец.

– Я сказал ему, что он тебя боится... вот он почему пожаловался... А то он не хотел идти-то к тебе...

– Ну?

– Ей-богу! Почтение, говорит, отцу передайте...

– Это он?

– Да...

– Ах... пес! Вот, гляди, каковы есть люди: его грабят, а он кланяется – мое вам почтение! Положим, взяли-то у него, может, на копейку, да ведь эта копейка ему – как мне рубль... И не в копейке дело, а в том, что моя она и никто не смей ее тронуть, ежели я сам не брошу... Эх! Ну их! Ну-ка говори – где был, что видел?

Мальчик сел рядом с отцом и подробно рассказал ему впечатления дня. Игнат слушал, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человека задумчиво сдвигались.

– А в овраге спугнули мы сову, – рассказывал мальчик. – Вот потеха-то была! Полетела это она, да с разлету о дерево – трах! даже запищала, жалобно таково... А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и все так же – полетит, полетит, да на что-нибудь и наткнется, – так от нее перья и сыплотся!.. Уж она трепалась, трепалась по оврагу-то... насилу где-то спряталась... мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся... Она, тятя, совсем слепая днем-то?

– Слепая, – сказал Игнат. – Иной человек вот так же, как сова днем, мечется в жизни... Ищет, ищет своего места,

бьется, бьется, – только перья летят от него, а все толку нет... Изобьется, изболеет, облиняет весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть от маеты своей... Эх, беда таким людям – беда, брат!

– А отчего они так?

– Отчего?... Трудно это сказать... Иной – оттого, что отемнен своей гордыней, – хочет многого, а силенку имеет слабую... иной – от глупости своей... да мало ли отчего?..

Так, день за днем, медленно разворачивалась жизнь Фомы, в общем – небогатая волнениями, мирная, тихая жизнь. Сильные впечатления, возбуждая на час душу мальчика, иногда очень резко выступали на общем фоне этой однообразной жизни, но скоро изглаживались. Еще тихим озером была душа мальчика, – озером, скрытым от бурных веяний жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало на дно, ненадолго взволновав сонную воду, или, скользнув по глади ее, расплывалось широкими кругами, исчезало.

Просидев в уездном училище пять лет, Фома, с грехом пополам, окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие, темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но, когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, – зрачки расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое, решительное... Крестный, скептически

усмехаясь, говорил про него:

– Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

– Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

– А вот погоди...

– Чего годить? Лета два-три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона, Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и, если он заставал их за чтением или крикливым спором, – они умолкали при виде его. Все это отталкивало его. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

– Почему ты такой бука, – никогда ни о чем не говоришь?

– О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! – просто

сказал Фома.

– Учись, – читай книги!..

– Не хочется...

– А вот гимназисты – всё знают и обо всем умеют говорить... Ежов, например...

– Знаю я Ежова, – болтушка!

– Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию – поедет в Москву учиться в университет.

– Ну, так что?

– А ты так и останешься неучем...

– Ну, и пускай...

– Как это хорошо! – иронически воскликнула Люба.

– Я и без науки на своем месте буду, – насмешливо сказал Фома. – И всякому ученому нос утру... пусть голодные учатся, – мне не надо...

– Фи, какой ты глупый, злой, – гадкий! – презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел вслед ей, повел бровями и, опустив голову, медленно направился в глубь сада.

Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, – в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы

сказочных царевен, – они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его – он вставал и, расправляя плечи, полной грудью, пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство – ему хотелось плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

– Расцветает наш репей алым маком!.. – усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, – было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

– Не пойму я его! – сокрушенно говорил Игнат. – Не кутит он, по бабам будто не шляется, ко мне, к тебе – почтителен,

всему внимает – красная девка, не парень! И ведь, кажись, не глуп?

– Особой глупости не видать, – говорил Маякин.

– Поди ж ты! Как будто он ждет чего-то, – как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше – а поди-ка ты какой! Даже понять трудно, кто кому теперь у них голова – он отцу или отец ему? Учиться хочет ехать, на фабрику какую-то, – ругается: «Эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили...» Н-да! А мой – ничего из себя не объявляет... О, господи!

– Ты вот что, – советовал Маякин, – ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его, на Каму-то, одного!

– Разве что попробовать?

– Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

– И впрямь – отправлю я его, – решил Игнат.

И вот весной Игнат отправил сына с двумя баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход «Прилежный», которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим, – теперь Ефим Ильич, тридцатилетний квадратный человек с рысьими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан.

Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью; а хорошее настроение двух главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом, в апреле – в первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал его груз железа, принятый Игнатом к доставке на ярмарку.

Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии, рано утром, на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных; с криком, с песнями они рассыпались по палубам, и – вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки, мужики, вскидывая мешки на плечи, бегом бегали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженные долгожданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходен, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами...

Только что вошло солнце, воздух был живительно свеж,

густо напоен запахом сосны; спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судов и цепи якорей. Веселый, громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца, – все было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые, смутные ощущения и желания. Он сидел за столом на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близоруким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне, но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки – высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо.

«Надо будет съездить туда», – думал Фома. А до слуха его как будто откуда-то издали доносился беспокойный, неприятно резкий голос приемщика:

– Вы не поверите – дошло наконец до ужаса! Был такой случай: в Осе к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу, лет шестнадцати... «Что тебе?» – «Да вот, говорит, привел дочь вашему благородию...» – «Зачем?» – «Да, может, говорит, возьмете... человек вы холостой...» – «Как так? что такое?» – «Да водил, говорит, водил ее по городу, в прислуги хотел отдать – не берет никто... возьмите хоть в любовницы!» Понимаете? Он предлагает дочь свою, поймите! дочь – в любовницы! Черт зна-

ет, что такое?! а? Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается... Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие! что она мне по нынешним дням? Лишняя совсем... а у меня, говорит, трое мальчишек – они работники будут, их надо сохранить... дайте, говорит, десять рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками...» Каково, а? Просто ужас, говорю вам...

– Не хо-ро-шо! – вздохнул Ефим. – Так что голод – сказано – не тетка... У брюха, видите, свои законы...

А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки, и юноша быстро спросил у приемщика:

– Что же он, барин-то этот, купил ее?

– Разумеется, нет! – укоризненно воскликнул приемщик.

– Ну и куда же ее девали?

– Нашлись хорошие люди... пристроили...

– А-а! – протянул Фома и вдруг твердо и зло объявил: – Я бы этого мужика так вздул! Всю бы рожу ему разворотил! – И он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак.

– За что? – болезненно громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.

– Разве это можно – человека продавать?..

– Дико это, я согласен, но...

– Да еще – девушку! Я б ему дал десять рублей!

Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал.

Его жест смутил Фому, он поднялся из-за стола и, отойдя

к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шум опьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтоб все удивились ему...

– Шевелись – живее! – звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему, мелькнули пред ним какие-то лица, и одно из них – лицо женщины с черными глазами – ласково и заманчиво улыбнулось ему. От этой улыбки у него в груди что-то вспыхнуло и горячей волной полилось по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят.

– Слушайте! – обратился к нему приемщик. – Телеграфируйте вы вашему отцу, – пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится, – а ведь тут каждый фунт дорог! Надо же это понимать!.. Ну уж папаша у вас... – кончил он с едкой гримасой.

– Сколько сбросить? – пренебрежительно и с удалью спросил Фома... – Желаете сто пуд? Двести?

– Это, – благодарю вас! – смущенно и радостно вскричал приемщик... – Если вы имеете право...

– Я – хозяин! – твердо сказал Фома. – А про отца вы не можете так говорить – и корчить рожи!..

– Извините! И... я не сомневаюсь в ваших полномочиях... искренно благодарю вас... и вашего папашу от лица

всех этих людей...

Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.

– Двести! Это – по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и объявлю мужичкам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны...

И он громко крикнул вниз:

– Ребята! Вот хозяин жертвует двести пудов...

– Триста! – перебил его Фома.

– Триста пудов... Спасибо! Триста пудов зерна, ребята!

Но эффект получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили:

– Спасибо... Дай тебе господи... Покорнейше благодарим...

А кто-то весело и пренебрежительно крикнул:

– Это что! А вот ежели бы водчонки по стакашку... была бы милость, – правильная! А хлеб не нам – он земству...

– Эх! Они не понимают! – смущенно воскликнул приемщик. – Вот я пойду объясню им...

Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку: он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская, звали к себе, и, кроме них, он ничего не видал. Эта

женщина была одета по-городскому – в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Фоме.

– Фома Игнатьич! – слышал он укоризненный голос Ефима. – Больно уж ты форснул широко... ну, хоть бы пудов полсотни! А то – на-ко! Так что – смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это...

– Отстань! – кратко сказал Фома.

– Мне что? Я молчу... Но как ты еще молод, а мне сказано «сведи!» – то за недосмотр мне и попадет в рыло...

– Я скажу отцу... – сказал Фома.

– Мне – бог с тобой... ты тут хозяин...

– Отвяжись, Ефим!..

Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал:

«Вот бы такую продавать привели... ко мне».

Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал, из разговоров, тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными словами, эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Ко-

гда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней, – это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещевающе говорил ему:

– Вот ты теперь смотришь на бабу, – так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она – подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоём характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдём... да ещё ладно, ежели у нас штаны целы останутся...

– Что тебе надо? – спросил Фома, красный от смущения.

– Мне – ничего не надо... А тебе – надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто поступать – бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего – деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше...

– Врешь ты все! – тихо сказал Фома.

– Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до ста раз проделывал? Так что – ты вот поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе с ней знакомство скручу...

– Хорошо... – сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело ды-

шать и что-то давит ему горло...

– Ну вот... вечером я ее и приведу...

Вплоть до вечера Фома ходил отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным пред кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извиняясь.

Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого, яркого костра, стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня; слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река чуть слышно плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте, около него, кто-то притаился и подсматривает за ним... Вот – идут по сходням торопливо, тяжелыми шагами, – доски сходен звучно и сердито хлюпают о воду... Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки...

«Не надо!» – хотел крикнуть Фома.

Он уже встал – но дверь в рубку отворилась, фигура высокой женщины встала на пороге и, бесшумно притворив за собою дверь, негромко проговорила:

– Батюшки, темно как! Есть тут живой-то кто-нибудь?..

– Есть... – тихо ответил Фома.

– Ну так – здравствуйте!..

И женщина осторожно подвинулась вперед.

– Вот я... зажгу огонь!.. – прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.

– Да ничего и так... присмотришься, так и в темноте видно...

– Садитесь, – сказал Фома.

– Сядем...

Она села на диван в двух шагах от него. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе – жалобно, невесело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потупились. Но он не знал, о чем говорить с этой женщиной, и они оба молчали, молчанием тяжелым и неловким... Заговорила она:

– Скучно, поди-ка, одному-то вам?

– Да-а, – ответил Фома...

– А нравятся ли наши-то места? – вполголоса спрашивала женщина.

– Хорошо! Лесу много...

Снова замолчали...

– Река-то, пожалуй, красивее Волги, – с усилием выговорил Фома.

– Была я на Волге. В Симбирском...

– Симбирск... – как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова. Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, – вдруг бойким шепотом спросила его:

– Что же ты, хозяин, не угощаешь меня?

– Вот! – встрепенулся Фома. – В самом деле... экий я! Ну те-ка, пожалуйста!

Он возился в сумраке, толкал стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки.

– Стыдишься? – вдруг прошептала она.

Он ощутил ее дыхание на щеке своей и так же тихо ответил:

– Да-а...

Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шепотом говоря:

– Ничего, не стыдись... ведь – нельзя без этого... красавчик ты мой... молоденький... жалко-то как тебя!..

А ему плакать захотелось под ее шепот, сердце его замирало в сладкой истоме; крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные, себе самому неведомые слова...

– Уходи, – глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.

Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему:

– Ну, прощай...

Фоме было нестерпимо стыдно при ней, но, лишь она скрылась за дверью, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого, присутствие чего он как бы не замечал в себе до момента утраты... И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу – ночь была звездная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма... На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Фома прислушался – подавляющая тишина разлита была в воздухе, лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов. Ему захотелось позвать женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки, с носа парохода, до него донесся чей-то вздох, похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там – она.

Она сидела у борта на палубе и, прислоняясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи, ему стало тяжело.

Наклонясь к ней, он робко спросил ее:

– Что ты?

Она качнула головой и не ответила ему.

– Али я тебя обидел?

– Уйди! – сказала она.

– Да как же? – смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы. – Ты не сердись... ведь сама же...

– Я не сержусь! – громким шепотом ответила она. – За что сердиться на тебя? Ты не охальник... чистая ты душа! Эх, соколик мой пролетный! Сядь-ка ты рядом-то со мной...

И, взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.

– О чем ты плачешь? – спрашивал Фома, глядя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.

– О себе плачу... Пошто ты отослал меня? – жалобно спросила она.

– Стыдно мне стало, – сказал Фома, опуская голову.

– Голубчик ты мой! Говори уж всю правду – не понравилась я тебе? – спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы всё падали ее большие, теплые слезы.

– Что ты это?! – даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно пред ней. А она слушала и все целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь.

Он умолк, – тогда заговорила она, печально и тихо, точно по покойнике:

– А я другое подумала... Как сказал ты «уходи!» – встала я и пошла... И горько, горько мне сделалось от того твоего слова... Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли без устали, без отдыху; за усмешку одну, бывало, за ласковую, все, чего пожелаю, делали... Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мне мою молодость... ведь уже тридцать лет мне... последние деньки для женщины! Э-эх, Фома Игнатьевич! – воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей певучей речи, звукам которой красиво вторило журчание воды. – Слушай меня – береги свою молодость! Нет ничего на свете лучше ее. Ничего-то нет дороже ее! Молодостью, ровно золотом, все, что захочешь, то и сделаешь... Живи так, чтобы на старости было чем молодые годы вспомнить... вот я вспомнила себя и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной от памяти, как прежде жила... И опять помолодела я, как живой воды попила! Дитятко ты мое сладкое! Погуляю ж я с тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку... эх! до золы сгорю, коли вспыхнула!

И, крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.

– По-огляды-ва-а-ай! – тоскливо завыл вахтенный на барже и, коротко оборвав «ай», – начал бить колотушкой в чугунную доску... Дребезжащие, резкие звуки рвали торжественную тишину ночи.

Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был идти в Пермь, – Ефим, к великому своему огорчению, увидел, что к берегу подъехала телега и на ней черноглазая Пелагея с сундуком и какими-то узлами.

– Пошли матроса вещи взять!.. – приказал ему Фома, кивая головой на берег.

Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом, пониженным голосом, спросил:

– Так что – и она с нами?

– Она – со мной...

– Ну, да... не со всеми же... О, господи!

– Чего вздыхаешь?

– Да, – Фома Игнатьич! Ведь в большой город плывем... али мало там ихней сестры?

– Ну, ты молчи! – сурово сказал Фома.

– Да я смолчу... только непорядок это!

Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова:

– Ты, Ефим, и себе заруби на носу, и всем тут скажи – ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово – поленом по башке!

– Страхи какие! – не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг пред Фомой.

Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него рас-

ширились, и он заорал:

– Посмейся! Я те посмеюсь!

Ефим хотя и струсил, но с достоинством заговорил:

– Хоша вы, Фома Игнатьич, и хозяин... но как мне сказано «следи, Ефим...» и я здесь – капитан...

– Капитан?! – крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнея. – А я кто?

– Так что – вы не кричите! Из-за пустяка, какова есть баба...

На бледном лице Фомы выступили красные пятна, он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:

– Ты! Капитан! Вот что – слово еще против меня скажешь – убирайся к черту! Вон! На берег! Я и с лоцманом дойду. Понял? Надо мной тебе не командовать!.. Ну?

Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.

– Понял, говорю?

– По-онял, – протянул Ефим. – Из-за чего шум, однако? Из-за...

– Молчать!

Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина, и он быстро ушел.

Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным; но в то же время почувствовал над собой твердую, настоя-

щую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть, и, войдя в каюту старика-лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином.

– Видал? – заключил он свой рассказ. – Так что – хорошей породы щенок, с первой же охоты – добрый пес... А ведь с виду он – так себе... человечешко мутного ума... Ну, ничего, пускай балуется, – дурного тут, видать, не будет... при таком его характере... Нет, как он заорал на меня! Труба, я тебе скажу!.. Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул...

Ефим говорил верно: за эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины, он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него все неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания, – и в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь – как огонь железу, которое хочет быть сталью...

Увлечение Фомы тридцатилетней женщиной, справлявшей в объятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела; он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там и тут внося всего себя. Женщина, как хорошее вино,

возбуждала в нем с одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности.

В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете, она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Пелагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь его текла с быстротой речной волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Пелагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую влагают в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное и еще более привязывающее к ней Фому, – чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто, по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему:

– Ты послушай меня, как сестру твою старшую... Я жила, людей знаю... много видела на своем веку!.. Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь... Ты и не разберешь сначала, кто он такой? Кажись, человек, как все... Хвать – и пристали к тебе болячки его. С нашей сестрой – сохрани тебя пресвятая богородица! – осторожен будь... Мягок ты еще, нет настоящего закала на сердце-то у тебя... А до таких, как ты, бабы лакомы –

силен, красив, богат... Всего больше берегись тихоньких – они, как пьявки, впиваются в мужчину, – вопьется и сосет, и сосет, а сама все такая ласковая да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, – только даром сердце тебе надсадит... Ты к тем больше, которые, как я вот, – бойкие! Такие – без корысти живут...

Она действительно была бескорыстна. В Перми Фома накупил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала:

– Ты не больно транжирь деньги-то... смотри, как бы отец-то не рассердился!.. Я и так... и безо всего люблю тебя...

Уже ранее она объявила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда – за ночь до прибытия в Казань – она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его.

– А ты прежде время не горюй, – сказала она. – Еще ночь целая впереди у нас... Простимся мы с тобой, тогда и пожалеешь, – коли жалко станет!..

Но он все с большим жаром уговаривал ее не покидать его и наконец заявил, что хочет жениться на ней.

– Вот, вот... так! – И она засмеялась. – Это от живого-то мужа за тебя пойду? Милый ты мой, чудачок! Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женятся? Много, много будет у тебя полюбовниц-то.... Ты тогда женись, когда перекипишь,

когда всех сластей наешься досыта – аржаного хлебца захочется... вот когда женись! Замечала я – мужчине здорово-му, для покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало будет, и пойдет он тогда по другим... Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя...

Но чем больше она говорила, – тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней.

– А ты послушай-ка, что я тебе скажу, – спокойно сказала женщина. – Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло, – так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет, и руки она тебе не обожжет...

– Не понимаю я твоих слов...

– А ты понимай... Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу... Вот и ухожу...

Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если бы в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов, стиснув зубы, бледный и угрюмый, он стоял на галерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавшее от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Пелагея махала ему платком и все улыбалась, но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фомы была мокрая, от них в сердце

его, полном угрюмой тревоги, было тяжело и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, а Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине – в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то.

Толпа людей на пристани слилась в сплошное, темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.

Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галерее, накрывая столики, где-то на корме внизу, в третьем классе, смеялся ребенок, ныла гармоника, повар дробно стучал ножами, дребезжала посуда. Разрезая волны, вспенивая их и содрогаясь от напряжения, огромный пароход быстро плыл против течения... Фома посмотрел на широкие полосы взбешенных волн за кормой парохода и ощутил в себе дикое желание ломать, рвать что-нибудь, – тоже пойти грудью против течения и раздробить его напор о грудь и плечи свои...

– Судьба! – хриплым и утомленным голосом сказал кто-то около него.

Это слово было знакомо ему: им тетка Анфиса часто отвечала Фоме на его вопросы, и он вложил в это краткое слово представление о силе, подобной силе бога. Он взглянул на говоривших: один из них был седенький старичок, с добрым лицом, другой – помоложе, с большими усталыми гла-

зами и с черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой нос и желтые, ввалившиеся щеки напоминали Фоме крестного.

– Судьба! – уверенно повторил старик возглас своего собеседника и усмехнулся. – Она над жизнью – как рыбак над рекой: кинет в суету нашу крючок с приманкой, а человек сейчас – хватать за приманку жадным-то ртом... тут она ка-ак рванет свое удилище – ну, и бьется человек оземь, и сердце у него, глядишь, надорвано... Так-то, сударь мой!

Фома закрыл глаза, точно ему в них луч солнца ударил, и, качая головой, громко сказал:

– Верно! Вот – верно-о!

Собеседники пристально посмотрели на него: старик – с тонкой и умной улыбкой, большеглазый – недружелюбно, исподлобья. Это смутило Фому, и он, покраснев, отошел от них, думая о судьбе и недоумевая: зачем ей нужно было приласкать его, подарив ему женщину, и тотчас вырвать из рук у него подарок так просто и обидно? И он понял, что неясное, едкое чувство, которое он носил в себе, – обида на судьбу за ее игру с ним. Он был слишком избалован жизнью для того, чтобы проще отнестись к первой капле яда в только что початом кубке, и все сутки дороги провел без сна, думая о словах старика и лелея свою обиду. Но она возбуждала в нем не уныние и скорбь, а гневное и мстительное чувство...

Фому встретил крестный и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками,

объявил, когда уселся в пролетку рядом с крестником:

– Из ума выжил отец-то твой...

– Пьет?

– Хуже! Совсем с ума сошел...

– Ну? О, господи! говорите...

– Понимаешь: объявилась около него барынька одна...

– Что же она? – воскликнул Фома, вспомнив свою Пелагею, и почему-то почувствовал в сердце радость.

– Пристала она к нему и – сосет...

– Тихонькая?

– Она? Тиха... как пожар... Семьдесят пять тысяч выдула из кармана у него – как пушинку!

– О-о! Кто же это такая?

– Сонька Медынская, архитекторова жена...

– Ба-атюшки! Неужто она... Разве отец, – неужто он ее в полюбовницы взял? – тихо и изумленно спросил Фома.

Крестный отшатнулся от него и, смешно вытаращив глаза, испуганно заговорил:

– Да ты, брат, тоже спятил! Ей-богу, спятил! Опомнись! В шестьдесят три года любовниц заводить... да еще в такую цену! Что ты? Ну, я это Игнату расскажу!

И Маякин рассыпал в воздухе дребезжащий, торопливый смех, причем его козлиная бородка неприглядно задрожала. Не скоро Фома добился от него толка; против обыкновения старик был беспокоен, возбужден, его речь, всегда плавная, рвалась, он рассказывал, ругаясь и отплевываясь, и Фо-

ма едва разобрал, в чем дело. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача-архитектора, известная всему городу своей неутомимостью по части устройства разных благотворительных затей, – уговорила Игната пожертвовать семьдесят пять тысяч на ночлежный дом и народную библиотеку с читальней. Игнат дал деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Фома не раз видел эту женщину на улицах; она была маленькая, он знал, что ее считают одной из красивейших в городе. О ней говорили дурно.

– Только-то?! – воскликнул он, выслушав рассказ крестного. – А я думал – бог весть что...

– Ты? Ты думал? – вдруг рассердился Маякин. – Ничего ты не думал – молокосос ты!

– Да что вы ругаетесь? – удивился Фома.

– Ты скажи – по-твоему, семьдесят пять тысяч – большие деньги?

– Большие, – сказал Фома, подумав. – Да ведь у отца много их... чего же вы так уж...

Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:

– Это ты говоришь?

– А кто же?

– Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость – миллион раз жизнью испытана, – она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!

Фому и раньше частенько задевал слишком образный

язык крестного, – Маякин всегда говорил с ним грубее отца, – но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо сказал:

– Вы бы не ругались зря-то, я ведь не маленький...

– Да что ты говоришь? – насмешливо подняв брови, воскликнул Маякин.

Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:

– А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать, – довольно!

– Мм... да... та-ак! Извините...

Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка въехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:

– Фомка! Скажи – на ком ты зубы себе отточил? а?

– Разве острые стали? – спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.

– Ничего... Это хорошо, брат... это оч-чень хорошо! Бо-ялись мы с отцом – мямля ты будешь!.. Ну, а водку пить выучился?

– Пил...

– Скоренько!.. Помногу, что ли?

– Зачем помногу-то...

– А вкусна?

– Не очень...

– Тэк... Ничего, все это не худо... Только вот больно ты открыт, – во всех грехах и всякому попу готов каяться... Ты сообрази насчет этого – не всегда, брат, это нужно... иной раз смолчишь – и людям угодишь, и греха не сотворишь. На-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали... Смотри – отец-то не знает, что ты прибыл... дома ли еще?

Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу несся его громкий, немного сиплый хохот. Шум пролетки, подъехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:

– А-а! Явился...

Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:

– Загорел... поздоровел... молодец! Барыня! Хорош у меня сын?

– Недурен, – раздался ласковый, серебристый голос.

Фома взглянул из-за плеча отца и увидал: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон – крупные, узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.

– Доброго здоровья, Софья Павловна, – умильно говорил

Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. – Что, всё контрибуции собираете с нас, бедных?

Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок и на икону.

– Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился, – орел, а? – говорил Игнат.

Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась – точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:

– Не буду мешать вам, до свидания!

Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидел, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные.

– Уплыла щука, – тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.

– Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил? – гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.

– Что, хороша, видно, бабеночка-то? – посмеиваясь, гово-

рил Маякин, щупая Фома своими хитрыми глазками. – Вот будешь ты при ней рот разевать... так она все внутренности у тебя съест...

Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:

– погоди, я коньячку спрошу...

– А ты тут все пьешь, говорят... – неодобрительно сказал Фома.

Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:

– Да разве отцу можно этак говорить, а?

Фома сконфузился и опустил голову.

– То-то! – добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку...

Маякин, прищурился, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малинике.

– Где же тетка Анфиса? – спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то неловко.

– В монастырь поехала... Ну, говори мне, а я – выпью...

Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:

– Денег я истратил на себя... много.

– Сколько?

– Рублей... шестьсот...

– В полтора-то месяца! Немало... Вижу, что для приказчика – дорог ты мне... Куда ж это ты их всыпал?

– Триста пуд хлеба подарил...

– Кому? Как?

Фома рассказал.

– Ну это – ничего! – одобрил его отец. – Это – знай наших!.. Тут дело ясное – за отцову честь... за честь фирмы... И убытка тут нету, потому – слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли... Ну, а еще?

– Да... так, как-то... истратил...

– Говори прямо... не о деньгах спрашиваю, – хочу знать, как ты жил, – настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.

– Ел... пил... – не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.

– Пил? Водку?

– И водку...

– А! Не рано ли?

– Спроси Ефима – напивался ли я допьяна...

– На что спрашивать Ефима? Ты сам должен все сказать...

Так, стало быть, пьешь?

– Могу и не пить...

– Где уж! Коньяку хочешь?

Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.

– Эх ты... черт! Пей... да смотри, – дело разумеет... Что

поделаешь?.. пьяница – проспится, а дурак – никогда... будем хоть это помнить... для своего утешения... Ну и с девушками гулял? Да говори прямо уж! Что я – бить тебя, что ли, буду?

– Гулял... была одна на пароходе... От Перми до Казани вез ее...

– Ну... – Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал: – Рано опоганился...

– Мне двадцать лет... А ты говорил, что в твоё время пятнадцатилетних парнишек женили... – смущенно возразил ему сын.

– То – женили... Ну, ладно, будет про это говорить... Ну, повелся с бабой, – что же? Баба – как оспа, без нее не проживешь... А мне лицемерить не приходится... я раньше твоего начал к бабам лнуть... Однако соблюдай с ними осторожность...

Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову.

– Вот что, Фома, – вновь заговорил он сурово и твердо, – скоро я помру... Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело... помру... Тогда все дело на тебя ляжет... Ну, сначала крестный поможет тебе – слушай его! Начал ты... не худо, все обделал, как следует, вожжи в руках крепко держал... Дай бог и впредь так же... Знай вот что: дело – зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет... Старайся стоять выше

дела... так поставь себя, чтоб все оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем – виден был тебе...

Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя:

«Ну, не скоро ты помрешь!»

Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе, горячее чувство к отцу.

– Крестного держись... у него ума в башке – на весь город хватит! Он только храбрости лишен, а то – быть бы ему высоко. Да, – так, говорю, недолго мне жить осталось... По-настоящему, пора бы готовиться к смерти... Бросить бы все, да поговеть, да заботиться, чтоб люди меня добром вспомнили...

– Вспомнят! – уверенно сказал Фома.

– Было бы за что...

– А ночлежный-то дом?

Игнат взглянул на сына и засмеялся.

– Сказал Яков-то, успел! Ругал, чай, меня?

– Было немножко, – улыбнулся Фома.

– Ну, еще бы! Али я его не знаю?

– Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то...

Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.

– Ах старый ворон, а? Это ты верно... Для него что свои деньги, что мои – все едино, – вот он и дрожит... Цель есть

у него, лысого... Ну-ка скажи – какая?

Фома подумал и сказал:

– Не знаю...

– Э! Соединить он деньги-то хочет...

– Как это?

– Да ну, догадайся!..

Фома посмотрел на отца и – догадался. Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав:

– Нет, я не хочу! Я на ней не женюсь!

– О? Что так? Девка здоровая, неглупая, одна у отца...

– А Тарас? Пропащий-то?

– Пропащий – пропал, о нем, стало быть, и речь вести не стоит... Есть духовная, и в ней сказано: «Все мое движимое и недвижимое – дочери моей Любви...» А насчет того, что сестра она тебе крестовая, – обладим...

– Все равно, – твердо сказал Фома, – я на ней не женюсь!

– Ну, об этом рано говорить... Однако – что это она как не по душе тебе?

– Не люблю таких...

– Та-ак! Ах ты, скажите, пожалуйста! Какие же вам, сударь, больше по вкусу?..

– Которые попроще... Она там с гимназистами да с книжками... ученая стала!.. Смеяться будет надо мной... – взволнованно говорил Фома.

– Это, положим, верно, – бойка она – не в меру... Но это – пустое дело! Всякая ржавчина очищается, ежели руки при-

ложить... А крестный твой – умный старик... Житье его было спокойное, сидячее, ну, он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем... его, брат, стоит послушать, он во всяком житейском деле изнанку видит... Он у нас – ристократ – от матушки Екатерины! Много о себе понимает... И как род его искоренился в Тарасе, то он и решил – тебя на место Тараса поставить, чувствуешь?

– Нет, уж я сам себе место выберу, – упрямо сказал Фома.

– Глуп еще ты... – усмехнулся отец.

Их разговор был прерван приездом тетки Анфисы...

– Фомушка! Приехал... – кричала она где-то за дверями,

Фома встал и пошел навстречу ей, ласково улыбаясь...

...Вновь жизнь его потекла медленно и однообразно. Сохранив по отношению к сыну тон добродушно-насмешливый и поощрительный, отец в общем стал относиться к нему строже, ставя ему на вид каждую мелочь и все чаще напоминая, что он воспитывал его свободно, ни в чем не стеснял, никогда не бил.

– Другие отцы вашего брата поленьями бьют, а я пальцем тебя не тронул!

– Видно, не за что было, – спокойно заявил однажды Фома.

Игнат рассердился на сына за эти слова и тон.

– Поговори! – зарычал он. – Набрался храбрости под мягкой-то рукой... На всякое слово ответ находишь. Смотри – рука моя хоть и мягкая была, но еще так сжать может, что у

тебя из пяток слезы брызнут!.. Скоро ты вырос – как гриб-поганка, чуть от земли поднялся, а уж воняешь...

– За что ты сердишься на меня? – недоуменно спросил Фома отца, когда тот был в добром настроении...

– А ты не можешь стерпеть, когда отец ворчит на тебя... в спор сейчас лезешь!..

– Да ведь обидно... Я хуже не стал... вижу я ведь, как вон другие в мои лета живут...

– Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной раз... А ругаюсь – потому что вижу в тебе что-то не мое... Что оно – не знаю, а вижу – есть... И вредное оно тебе...

Эти слова отца заставили Фому глубоко задуматься. Он сам чувствовал в себе что-то особенное, отличавшее его от сверстников, но тоже не мог понять – что это такое? И подозрительно следил за собой...

Ему нравилось бывать на бирже, в шуме и говоре солидных людей, совершавших тысячные дела; ему льстило почтение, с которым здоровались, разговаривали с ним, Фомой Гордеевым, менее богатые промысловые люди. Он чувствовал себя счастливым и гордым, если порой ему удавалось распорядиться за свой страх чем-нибудь в отцовском деле и заслужить одобрительную усмешку отца. В нем было много честолюбивого стремления – казаться взрослым и деловым человеком, но жил он одиноко, как раньше, и не чувствовал стремления иметь друзей, хотя каждый день встречался со многими из детей купцов, сверстниками своими.

Не раз они приглашали его покутить, но он грубовато и пренебрежительно отказывался от приглашений и даже посмеивался:

– Боюсь... Узнают отцы ваши про эти кутежи, да как бить вас станут, пожалуй, и мне от них попадет по шее...

Ему не нравилось в них то, что они кутят и развратничают тихонько от отцов, на деньги, украденные из отцовских касс или взятые под долгосрочные векселя и большие проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность, в которой чувствовали гордость, обидную им.

Он часто вспоминал Пелагею, и сначала ему было тоскливо, когда образ ее вспыхивал в его воображении... Но время шло, стирало понемногу яркие краски с этой женщины, и незаметно для него место в мечтах его заняла маленькая, ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заезжала к Игнату с различными просьбами, в общем имевшими одну цель – ускорить постройку ночлежного дома. В ее присутствии Фома чувствовал себя неуклюжим, огромным, тяжелым; это обижало его, и он густо краснел под ласковым взглядом больших глаз Софьи Павловны. Он замечал, что каждый раз, когда она смотрела на него, – глаза ее темнели, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные белые зубы. Это всегда пугало его. Отец, подметив его взгляды на Медынскую, сказал ему:

– Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, – как березовый уголь: снаружи он бывает такой же вот скром-

ный, гладкий, темненький, – кажись, совсем холодный, – а возьми в руку, – ожгет...

Медынская не возбуждала в юноше чувственного влечения, в ней не было ничего похожего на Пелагею, и вообще она была непонятна ему. Он знал, что про нее рассказывают зазорно, но этому не верил. Однако он изменил отношение к ней, когда увидал ее в коляске сидящей рядом с толстым барином в серой шляпе и с длинными косичками волос на плечах. Лицо у него было как пузырь – красное, надутое; ни усов, ни бороды не было на нем, и весь этот человек был похож на переодетую женщину... Фоме сказали, что это ее муж... Тогда в нем вспыхнули темные и противоречивые чувства: ему захотелось обидеть архитектора, и в то же время он почувствовал зависть и уважение к нему. Медынская оказалась менее красивой и более доступной; ему стало жаль ее, и все-таки он злорадно подумал: «Противно ей, должно быть, когда он ее целует...» И за всем этим он порою ощущал в себе какую-то бездонную, томительную пустоту, которой не заполняли ни впечатления истекшего дня, ни воспоминания о давних; и биржа, и дела, и думы о Медынской – все поглощалось этой пустотой... Его тревожила она: в темной глубине ее он подозревал притаившееся существование какой-то враждебной ему силы, пока еще бесформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться...

А между тем Игнат, мало изменяясь по внешности, становился все более беспокойным, ворчливым и все чаще жа-

ловался на недомоганье.

– Сон я потерял... бывало, дрыхну – хоть кожу с меня сдери, не услышу! А теперь ворочаюсь, ворочаюсь с боку на бок, едва под утро засну... Сердце бьется неровно, то как загнанное, часто так – тук-тук-тук... а то вдруг замрет, – кажись, вот сейчас оторвется да и упадет куда-то, в недра самые... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!..

И, покаянно вздыхая, он поднимал к небу глаза, уже мутные, утратившие живой, умный блеск.

– Стережет меня смерть где-то поблизости, – говорил он угрюмо, но покорно.

И действительно – скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тело.

Это случилось в августе, ранним утром. Фома крепко спал и вдруг почувствовал, что его трясут за плечо и хриплый голос гудит над его ухом:

– Вставай...

Он открыл глаза и увидел, что отец сидит на стуле у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:

– Вставай, вставай!..

Только что взошло солнце, и свет его, лежавший на белой, полотняной рубаше Игната, еще не утратил розовой окраски.

– Рано, – сказал Фома, потягиваясь.

– После выспишься...

Лениво кутаясь в одеяло, Фома спросил:

– Али надо что?

– Да встань ты, братец мой, пожалуйста! – воскликнул Игнат и обиженно добавил: – Стало быть, надо, коли бужу...

Всмотревшись в лицо отца, Фома увидал, что оно серо, устало.

– Нездоровится тебе? Доктора, что ли?

– Ну его! – махнул Игнат рукой. – Чай, я не молоденький... и без того знаю...

– Что?

– Да... уж знаю! – таинственно сказал старик и странно как-то оглядел комнату.

Фома одевался, а отец его, опустив голову, медленно говорил:

– Дышать боюсь... Такая у меня мысль, что, если я вздохну теперь всей грудью, – сердце должно лопнуть... Сегодня воскресенье! После ранней-то обедни за попом пошли...

– Что ты это, папаша! – усмехнулся Фома.

– Ничего я... Умывайся да иди в сад, – велел я туда самовар подать... На утреннем-то холодке и попьем чаю... Очень мне чаю хочется, густого, горячего...

Старик тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушел из комнаты. Фома посмотрел вслед отцу, колющий холод страха сжал его сердце. Наскоро умывшись, он спешно пошел в сад.

Там под старой, развесистой яблоней, в большом дубовом кресле сидел отец. Солнечный свет падал сквозь ветви дерева тонкими лентами на белую фигуру старика в ночном

белые. В саду было так внушительно тихо, что даже шелест ветки, нечаянно задетой платьем Фомы, показался ему громким звуком, – он вздрогнул... На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбрасывал в воздух струю пара. В тишине и свежей зелени сада, накануне омытой обильным дождем, яркое пятно нахально сияющей шумной меди показалось Фоме ненужным, не подходящим ко времени, месту и чувству, которое родилось в нем при виде больного, согбенного старика, одетого в белое, одиноко сидящего под кровом темно-зеленой листвы, в которой скромно прятались румяные яблоки.

– Садись, – сказал Игнат...

– Послать бы за доктором-то... – нерешительно посоветовал сын, усаживаясь против него...

– Не надо... На воздухе-то отошло будто... А вот чаю хлебну, авось и еще легче будет... – говорил Игнат, наливая чай, и Фома видел, что чайник трясется в руке отца.

Молча подвинув к себе стакан, Фома наклонился над ним и с тяжестью в сердце слушал громкое, короткое дыхание отца...

Вдруг что-то стукнуло по столу так громко, что посуда задрожала.

Фома вздрогнул, вскинул голову и встретился с испуганным, почти безумным взглядом отца. Игнат смотрел на сына и хрипло шептал:

– Яблоко упало... пострели его горой! Ведь как из ружья

грохнуло... а?

– Тебе коньяку бы в чай-то... – предложил Фома.

– И так ладно...

Замолчали... Стая чижей пронеслась над садом, рассыпав в воздухе задорно-веселый щебет. И снова зрелую красоту сада обняло торжественное молчание. Ужас все еще не исчезал из глаз Игната...

– Господи Иисусе Христе! – вполголоса заговорил он, истово крестясь. – Н-да... вот он и наступил – последний-то час жизни...

– Полно, папаша! – прошептал Фома.

– Чего полно?.. Вот попьем чаю, ты пошли за попом да за кумом...

– Я лучше сейчас...

– Сейчас к обедне ударят... попа нет... да и некуда торопиться, может, еще отойдет...

И он стал громко схлебывать чай с блюда...

– Надо бы мне год, два еще пожить... Молод ты... очень боюсь я за тебя! Живи честно и твердо... Чужого не желай, свое береги крепко...

Ему трудно было говорить, он остановился и потер грудь рукой.

– На людей – не надейся... многого от них не жди... Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать... О, господи! помилуй грешника!

Где-то вдали густой звук колокола упал в тишину утра.

Игнат с сыном трижды перекрестились...

За первым криком меди раздался второй, третий, и скоро воздух наполнили звуки благовеста, доносившиеся со всех сторон, – плавные, мерные, громко зовущие...

– Вот и к обедне ударили, – сказал Игнат, вслушиваясь в гул меди... – Ты колокола по голосу знаешь?

– Нет, – отвечал Фома.

– Вот этот – слышишь? – басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва... а этот, с хрипотой, это у Праскевы Пятницы...

Поющие волны звона колебали воздух, насыщенный ими, и таяли в ясной синеве неба. Фома задумчиво смотрел на лицо отца и видел, что тревога исчезает из глаз его, они оживляются...

Но вдруг лицо старика густо покраснело, глаза расширились и выкатились из орбит, рот удивленно раскрылся, а из горла вылетел странный, шипящий звук:

– Ф... ф... ахх...

Вслед за тем голова Игната откачнулась на плечо, а его грузное тело медленно поползло с кресла на землю, точно земля властно потянула его к себе. Несколько секунд Фома не двигался и молчал, со страхом и изумлением глядя на отца, но потом бросился к Игнату, приподнял его голову с земли и взглянул в лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза на нем не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости... Фома оглянулся вокруг себя: как и

раньше, в саду никого не было, а в воздухе все плавал гулкий говор колоколов... Руки Фомы задрожали, он выпустил из них голову отца, и она тупо ударилась о землю... Темная, липкая кровь тонкой струей полилась из открытого рта по синей щеке...

Фома ударил себя руками в грудь и, стоя на коленях пред трупом, дико и громко закричал... И весь трясся от ужаса и безумными глазами все искал кого-то в зелени сада...

IV

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением: в душу ему влилась тишина, – тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, что-то говорили ему, – он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, нахмутив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг. Похоронами распорядился Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его:

– А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плотью... Всем нам смерть уготована, ее же не избежешь... стало быть, не следует прежде времени мертветь... Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: «егда душа от тела имать нуждею восхитится страшными агтелы – всех забывает сродников и знаемых...» – значит, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся... А живой о живом пещись должен... Ты лучше плачь – это дело человеческое... очень облегчает сердце...

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы.

Он очнулся в день похорон благодаря настойчивости крестного, все время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу.

День похорон был облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши:

– Гляди, сколько народу прет – тысячи!.. Сам губернатор пришел отца твоего проводить... городской голова... почти вся дума... а сзади тебя – обернись-ка! – Софья Павловна идет... Почтил город Игната...

Сначала Фома не вслушивался в шепот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидел губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орденах на груди, и шагавшего за гробом с грустью на строгом лице.

– «Блажен путь, в онь же идеши днесь, душе...» – тихонько напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шеп-

тал в ухо крестника: – Семьдесят пять тысяч рублей – такая сумма, что за нее можно столько же и провожатых потребовать... Слышал ты, что Сонька-то в сорочины как раз закладку устраивает?

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздохнул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч света проник в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону.

В церкви душа Фомы напиталась торжественно-мрачной поэзией литургии, и, когда раздался трогательный призыв: «Приидите, последнее целование дадим», – из груди его вырвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби.

Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом:

– «Целуй-уйте бывшего вмале с на-ами» – целуй, Фома, целуй! – «предается бо гро-обу, ка-аменем покрывается... во тьму вселя-ается, с мертвыми погребается...»

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба.

– Тише! С ног было сшиб... – вполголоса заметил ему Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного.

– «Зряца мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мне, братия и друзи...» – просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют и он стал дорог всем.

А крестный шептал в ухо ему:

– Замечай, как они к тебе ластятся... чуют коты сало...

Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренне откликаться на них.

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему:

– Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот не плачу я... Три десятка лет с лишком прожили мы душа в душу с ним... сколько говорено, сколько думано... сколько горя вместе выпито!.. Молод ты – тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. А я стар... и вот единого друга схоронил и стал теперь как нищий... не нажать уж мне товарища для души!

Голос старика странно задрезжал и заскрипел. Его лицо перекосилось, губы растянулись в большую гримасу и дро-

жали, морщины съезжились, и по ним из маленьких глаз текли слезы, мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул:

– Не плачьте, папаша... Голубчик! Не плачьте...

– То-то вот! – слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика...

– Тебе распускать нюни нельзя... – таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. – Ты теперь – полководец на войне и должен своими солдатиками командовать храбро. А солдатика твои – рубли, и у тебя их большая армия... Воюй, знай!

Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его.

– Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня?..

– Говорил.

– Ты и слушай!.. Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе – хорошую победу можно одержать... Отец твой был крупный человек... да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться... И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше... Ох, что-то из тебя выйдет... Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме...

– Тетя там...

– Тетя... она хворает... тоже недолгая она жилица на земле...

– Не говорите про это, – тихо попросил Фома.

– А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе, – ты не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и делай то, к чему назначен. А человек назначен для устройства жизни на земле. Человек – капитал... он, как рубль, составляется из дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслице, пот да слезы, – образуются в нем душонка и умишко... И с того начинает он расти и вверх и вниз... то, глядишь, цена ему пятак, то пятиалтынный, то сотня рублей... а бывает он и выше всяких цен... Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену знает, и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный... Ты меня слушаешь?

– Слушаю...

– А что ты понимаешь?

– Все...

– Врешь, чай? – усомнился Маякин.

– Но только – зачем умирать надо? – тихо спросил Фома.

Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал:

– Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река – так она течет куда-ни-

будь... а кабы она стояла, то было бы болото...

– Зря вы насмехаетесь... – угрюмо сказал Фома. – Море тоже вон никуда не течет...

– Оно все реки принимает в себя... и бывают в нем сильные бури... Так же и житейское море от людей питается волнением... а смерть обновляет воды его... дабы не протухли... Как люди ни мрут, а их все больше становится...

– Что из того? Отец-то умер...

– И ты умрешь...

– Так какое мне дело, что людей больше прибывает? – тоскливо усмехнулся Фома.

– Э-эхе-хе! – вздохнул Маякин. – И никому до этого дела нет... Вон и штаны твои, наверно, так же рассуждают: какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно? Но ты их не слушаешь – износишь да и бросишь...

Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил:

– Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?

– Я, деточка, паче всего боюсь глупости, – со смиренной ядовитостью ответил Маякин. – Я так полагаю: даст тебе дурак меду – плюнь; даст мудрец яду – пей! А тебе скажу: слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит...

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал:

– Не можете вы без вывертов без этих говорить...

– Не могу! – воскликнул Маякин, и глаза его тревожно

заиграли. – Каждый говорит тем самым языком, какой имеет. Суров я кажусь? Так, что ли?

Фома молчал.

– Эх ты... Ты вот что знай – любит тот, кто учит... Твердо это знай... И насчет смерти не думай... Безумно живому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву...

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три... Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки... Говорили о балыке и октаве солиста в архиерейском хоре, и снова о балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал:

– Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком прикроет да вслед за рюмкой и пошлет.

– По-оследуем его примеру! – гудел густой бас.

Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось

закричать и выгнать вон всех этих людей, солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним.

– А ты будь поласковее, поразговорчивее... – вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.

– Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли? – громко и со злобой сказал Фома.

– Чшш... – испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице.

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услышали, – шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, многие искоса смотрели на Фому.

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый.

– За стол прошу! – кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. – Пожалуйста, садитесь! Сейчас блины дают.

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:

– Я обедать не буду...

Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый голос крестного, говоривший кому-то:

– С горя, – ведь Игнат ему отцом и матерью был!..

Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстег-

нул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая, стройная фигурка, а рядом с ней почему-то встала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой золотисто-русой косой. Воздух был полон унылых звуков... Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее... Но из этого чувства уже зарождался вопрос:

«Как жить буду?»

Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и ушел в дом...

Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В сороковой день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская

известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня, при закладке. Он ехал и думал о том, как все это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.

– Эй, эй! Стой!

Он оглянулся, – с тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке.

– Ну-ка, подвези-ка меня! – говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. – Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать...

– Вы туда? – спросил Фома.

– А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут.

Фома искоса взглянул на него и смолчал.

– Что косишься? Небось, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь?

– Это как, то есть? – сдержанно спросил Фома.

– Читал я сегодня в газете – в члены тебя выбрали по дому-то да еще в общество, в Софьино, в почетные... Въедет тебе в карман членство это! – вздохнул Маякин.

– Не разорюсь, чай?

– Не знаю я этого... – съехидничал старик. – Я насчет того

больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело... И даже так я скажу, что не дело это, а – одни вредные пустяки!

– Это людям-то помогать вредно? – с задором спросил Фома.

– Эх, голова садовая, то есть – капуста! – сказал Маякин с улыбочкой. – Ты вот ужо приезжай-ка ко мне, я тебе насчет всего этого глаза открою... надо учить тебя! Приедешь?

– Хорошо!

– Ну вот... А пока что ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься...

– Зачем мне прятаться? – недовольно сказал Фома.

– И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет – те же деньги... с почетом торговому человеку везде кредит, всюду дорога... Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел и чтоб, ежели сделал ты на пятак, – на целковый тебе воздали... А будешь прятаться – выйдет неразумие одно.

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архиерей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крест-

ником направился к этой группе, нашептывая Фоме:

– Не робей... Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то – шелк.

И почтительно-веселым голосом он поздоровался с губернатором прежде архиерея.

– Доброго здоровьица, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!

– А, Яков Тарасович! – дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время как старик прикладывался к руке архиерея. – Как поживаете, бессмертный старичок?

– Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! Софье Павловне нижайшее почтение! – быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой – со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел и, чувствуя, что робеет, – робел еще больше.

Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе.

– Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, покойника Игната сын единственный.

– А-а! – пробасил губернатор. – Очень приятно... Сочув-

ствую вашему горю, молодой человек! – пожимая руку Фомы, сказал он и помолчал; потом уверенно добавил: – Потерять отца... это очень тяжелое несчастье!

И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину:

– Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, умно, Яков Тарасович... они не понимают истинных нужд населения...

– И потом, ваше превосходительство, капиталишко маленький – значит, город свою деньгу должен добавлять...

– Совершенно верно! Совершенно верно!

– Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай бог всякому. Я сам не пью... но зачем эти читальни, ежели он – народ-то этот – читать даже и не умеет?

Губернатор одобрительно мычал.

– А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте... Ежели его в малых размерах завести, то – денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить – там дадут! Тогда и городу своих добавлять не надо и дело будет умнее.

– Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а?

– Уж такое их дело, чтобы кричать...

Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.

К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом говорила ему:

– Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось... «Боже мой, – думала я, – как он должен страдать!»

А Фома слушал ее и – точно мед пил.

– Эти ваши крики! Они потрясли мне душу... бедный вы, мальчик мой!.. Я могу говорить вам так, ведь я уже старенькая...

– Вы! – тихо воскликнул Фома.

– А разве нет? – спросила она, наивно глядя в его лицо.

Фома молчал, опустив голову.

– Вы не верите, что я старушка?

– Я вам верю... но только это неправда! – вполголоса и горячо сказал Фома.

– Неправда – что? Что вы верите мне?

– Нет! Не это... а то, что... Я – вы извините! – не умею я говорить! – сказал Фома, весь красный от смущения. – Необразован я...

– Этим не надо смущаться... – покровительственно говорила Медынская. – Вы еще молоды, а образование доступно всем... Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их... Это люди с чистым сердцем... доверчивые, искренние, как дети... и вы из этих людей... Ведь вы такой, да?

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал:

– Покорно вас благодарю!..

И, увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:

– Да, я такой – что у меня на душе, то и на языке... Фальшивить не умею... смешно мне – смеюсь открыто... глуп я!

– Ну, зачем же так? – укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться. – Вы, конечно, будете на обеде? – спрашивала Медынская.

– Да...

– А завтра на заседании у меня?

– Непременно!

– А может быть, когда-нибудь вы и так просто... в гости зайдете, да?

– Я... благодарю вас! Приду!..

– Мне нужно благодарить вас за это обещание...

Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно-тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома:

– «...Его же ни ветер, ни вода, не ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися и в нем жити хотящих от всякого навета сопротивного свободи...»

– Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? – спрашивала Медынская.

– Да... – кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.

– Они нашим купеческим интересам всегда будут противники, – убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко от Фомы рядом с городским головой. – Им что? Им бы только чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей сути они постичь не могут... Они напоказ живут, а не для устройства жизни... у них вон они, мерки-то: газеты да Швеция! Доктор-то вчера меня все время этой Швецией шпынял: «Народное, говорит, образование в Швеции... и все там прочее этакое... первый сорт!» Но, однако, – что такое Швеция? Может быть, она – Швеция-то – одна выдумка... для примера приводится... а никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам да по перчаткам знаем... И опять же мы не для нее живем, и она нам экзамен-та производить не может... мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?

А протоиерей, закинув голову, гудел:

– Основателю до-ома сего... ве-ечная... па-амя-ать!

Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал:

– Обедать едешь?

Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по руке Фомы.

Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь

среди таких парадных людей, он видел, что они и едят и говорят – всё делают лучше его, и чувствовал, что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, – молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию – Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким, звонким тенором и сам весь – полный, маленький, круглолицый и веселый говорун – был похож на новенький бубенчик.

– Самое лучшее в нашем обществе – патронесса, самое дельное, чем мы в нем занимаемся, – ухаживание за патронессой, самое трудное – сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна, а самое умное – восхищаться патронессой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не «общества попечения о», а член общества Танталов, состоящих при Софии Медынской.

Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицмейстером, мычал в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, чтоб все это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его.

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и все что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой

шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стучал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более что в ушах его все время неустанно звенел тенорок секретаря:

– Смотрите, вон встал протодиакон и заряжает легкие воздухом... сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу...

– Нельзя ли мне уйти? – тихо спросил Фома.

– Почему же нет? Это все поймут...

Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава, и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала.

Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он назвал их про себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их умение говорить обо всем, их красивые костюмы – все это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это.

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал

от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему:

– Смотрю я на тебя, и знаешь что? – ведь ты ужасно не похож на купца...

– Тоже и ты на купчиху мало похожа... – сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее.

Он не понимал назначения ее слов: обидеть она хотела ими его или так просто сказала?

– Слава богу! – ответила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.

– Чему рада? – спросил он.

– А что мы не похожи на наших отцов.

Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.

– Ты скажи искренно, – понизив голос, говорила она, – ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?

– Не... очень... – медленно сказал Фома.

– Ну, а я очень не люблю.

– За что?

– За все... Поумнее будешь – сам поймешь... Твой отец лучше был.

– Еще бы! – гордо сказал Фома.

После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу, и, день ото дня все развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной

несколько.

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тетушки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме:

– Вот и ты такой же будешь – кощей!

Все это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось перед нею сердце и оба они подолгу излагали друг перед другом свои думы и чувства.

Оба говорили много, искренно – но Фоме казалось, что все, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время он ясно видел, что его неумелые речи нисколько не интересуют ее и она не умеет понять их. Сколько бы времени они ни провели за такой беседой – она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала перед ними и разъединяла их. Они не решались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои

беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и объединить их.

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала:

– Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу... скучно, идти никуда не хочется... Чай будешь пить?

– Буду... Ты что это какая, нездоровится, что ли?

– Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали... – проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей, в одном простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла горка с серебром.

– Ты с обеда? – спросила Люба, входя.

Фома молча кивнул головой.

– Ну что, парадно?

– Беда! – усмехнулся Фома. – Я точно на угольях сидел...

Все – как павлины, а я – как сыч...

Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему.

– Ты чего в самом деле скучная какая? – снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.

Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала:

– Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если б ты мог это понимать!

– Видно, хороша книга, коли этак перевернуло тебя... – усмехнулся Фома.

– Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь – и точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое царство... И люди другие, и речи, и... всё! Вся жизнь...

– Не люблю я этого... – недовольно сказал Фома. – Выдумки, обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки... разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка крестного...

– Театр – это та же школа, Фома, – поучительно сказала Люба. – Купцы такие были... И какой может быть в книгах обман?

– Как в сказках... Не настоящее все...

– Ошибаешься! Ты ведь не читал книг, – как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить.

– Ну! – махнул рукой Фома. – Брось... никакого толку не будет от книг твоих!.. Вон отец-то у тебя книг не читает, а... ловок он! Смотрел я на него сегодня – завидно стало. Так это он со всеми обращается... свободно, умеючи, для всякого имеет слово... Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.

– Чего он добивается? – воскликнула Люба. – Денег только... А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле... и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве

можно отца равнять с ними?!

– Не равняй!.. Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое...

– Им ничего не нравится!

– Это как же?

– Они хотят все изменить...

– Так ведь чего-нибудь ради они стараются? – резонно возразил Фома. – Чего-нибудь хотят?

– Счастья для всех! – горячо вскричала Люба.

– Ну, я этого не понимаю... – качая головой, сказал Фома. – Кто это там о моем счастье заботится? И опять же, какое они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела... на тех, что вот обедали...

– Это не люди! – категорически объявила Люба.

– Да уж я там не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу – место свое они знают. Ловкий народ... развязный...

– Эх, Фома! – огорченно воскликнула Люба. – Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то...

– Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся...

– Просто ты – пустой, – объявила Люба решительно и твердо.

– В душе моей ты не была... – возразил спокойно Фома. – Дум моих ты не знаешь...

– О чем тебе думать? – сказала Люба, пожимая плечами.

– Эко! Один я? Это раз... Жить мне надо? Это два. В теперешнем моем образе совсем нельзя жить – я это разве не понимаю? На смех людям я не хочу... Я вон даже говорить не умею с людьми... Да и думать я не умею... – заключил Фома свою речь и смущенно усмехнулся.

– Читать нужно, учиться нужно, – убедительно советовала Люба, расхаживая по комнате.

– В душе у меня что-то шевелится, – продолжал Фома, не глядя на нее и говоря как бы себе самому, – но понять я этого не могу. Вижу вот я, что крестный говорит... дело все... и умно... Но не привлекает меня... Те люди куда интереснее для меня.

– Это аристократия-то? – спросила Люба.

– Да...

– Там тебе и место! – с презрительной улыбкой сказала Любовь. – Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души?

– Почему ты знаешь их? Ведь незнакома...

– А книги?

Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. С ней бы поговорить!

– Да-а, – задумчиво заговорила девушка, – с каждым днем я все больше убеждаюсь, что жить – трудно... Что мне делать? Замуж идти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть личностью... я – личность, потому что уже понимаю,

как скверно устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит... Бежать? Не хватает храбрости... Что же мне делать?

Она сжала руки и поникла головой над столом.

– Если бы ты знал, как противно все... Ни души живой вокруг... С той поры, как умерла мать, – отец всех разогнал. Иные уехали учиться... Липа уехала. Она пишет: «Читай!» Ах, я читаю! – с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав секунду, тоскливо продолжала: – В книжках нет того, что нужно сердцу... и я не понимаю многого в них... Наконец, мне скучно... скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с человеком, а человека нет! Мне тошно... живешь один раз, и уже пора жить... а человека все нет... нет! Для чего жить? Ведь я в тюрьме живу!

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел что сказать ей, кроме слов, близких к упреку:

– Вот ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай!..

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба.

– О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, чтоб и тебе все опротивело... и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас... ненавижу!

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Нико-

гда еще она не говорила с ним так.

– Что это ты? – спросил он ее.

– И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... как ты будешь жить? Что ты дашь людям? – вполголоса и как-то злорадно говорила она.

– Ничего не дам, пускай сами добиваются... – ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.

Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.

На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.

– Накинулась ты на меня, – сдержанно заговорил Фома, – чего ради? Непонятно...

– Не хочу я с тобой говорить! – сердито ответила Люба.

– Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился?

– Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство...

– А я тут при чем? – спросил Фома.

– Ты – не лучше других...

– И за то виноват пред тобой?

– Ты должен желать быть лучше...

– Да разве я этого не желаю?! – воскликнул Фома.

Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:

– Отец...

– Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил, – сказал Фома. – Хотелось мне еще тебя послушать... больно уж любопытно...

– А! Детишки мои, сизы голуби! – воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях. – Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!

Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, игриво толкнув его в бок, спросил:

– О чем больше ворковали?

– Так, о пустяках разных, – ответила Люба.

– Да разве я тебя спрашиваю? – искривив лицо, сказал ей отец. – Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего дела...

– Про обед рассказывал я ей, – перебил Фома речь крестного.

– Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя!

– То есть как? – спросил Фома, недовольно хмурия брови.

– То есть так-таки просто неразумно, да и все тут. Гово-

рит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь...

– Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца – несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать?

– «Так как оно мне от господ послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу...» Так бы сказал или что другое в этом духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.

– Что же мне – овцой на него глядеть? – усмехнулся Фома.

– Овцой ты глядел, – этого не надо... А надо ни овцой, ни волком, а так – этак – разыграть пред ним: «Вы наши папаши, мы ваши детишки...» – он сейчас и обмякнет.

– Это зачем же?

– А на всякий случай... Губернатор – он, брат, всегда куда-нибудь годится.

– Чему вы его учите, папаша! – тихо и негодуя сказала Люба.

– А чему?

– Лакейничать...

– Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни... Ты вот что – ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску. С богом!

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла... Отец, сощурив глаза, досмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:

– Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь

– будешь жить без ошибок.

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.

– Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех – это фальшивое, другое спрятано – оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела... Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази – на что они?

– Чего же соображать? – скучно сказал Фома. – Известно всем, для чего... для бедных, немощных.

– Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном или Петром и величают по батюшке, а не по матушке...

– Это вы к чему?

– А все к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, – во исполнение Христовой заповеди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» –

и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на пропятие, но все не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.

– Ло-овко! – изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.

– Ага! – воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.

– Как же это отец-то не догадался? – беспокойно спросил Фома.

– Ты погоди! Ты еще послушай дальше-то – хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для скрытия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей! Ясно ли?

– Да-а! – сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика.

– И еще не все тут... еще не до дна лужа вычерпана! – воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.

Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.

– Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие – не наши люди... От них и законы, и газеты, и науки – всё от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута, – они на службу пошли... А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним – миллионы! Так ли?

– Так! – согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.

– Так вот ты и понимай, – отдельно и внушительно продолжал старик, – жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь всякую, лентяев этих, несчастеньких, убоженьких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили – им, по-божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее – мы, на бедных жертвуем – мы, призираем их – мы... Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рублище заплаты на-

шивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, – средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйста, господа, помогите!» А мы ему: «Позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной, самой жизни!» И как только он нас включит – тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь император воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял?

– Как же не понять! – воскликнул Фома.

Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, наверно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы, – миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.

– В самом деле – для денег, что ли, одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают.

– Ага! – прищурился, сказал Маякин.

– Эх! – обиженно воскликнул Фома. – Как же это отец-

то? Говорили вы с ним?

– Двадцать лет говорил...

– Ну, и что он?

– Не доходила до него моя речь... темечко у него толстовато было, у покойного... Душу он держал нараспашку, а ум у него глубоко сидел... Н-да, сделал он промашку... Денег этих весьма и очень жаль...

– Денег мне не жаль...

– Ты бы попробовал нажать хоть десятую из них да тогда и говорил...

– Я могу войти? – раздался за дверью голос Любы.

– Можешь... – ответил отец.

– Вы сейчас закусывать станете? – спросила она, входя.

– Давай...

Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тарасович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, сказал ему:

– Так-то, крестник! Вникай...

Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя:

«А умен... умнее отца-то...»

И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:

«Умнее, но – хуже...»

V

Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы: слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство, близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица; сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая бородка точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погружаясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще, но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе, и это еще более отталкивало его от старика.

Люба и нравилась ему и казалась опасной. Она не выходи-

ла замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подружки уже были замужем... Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца; но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека, быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней много было простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе: ему казалось, что она не живет, а бредит наяву.

Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услышал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас: – Гордионишко! Молокосос...

Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку; он ясно видел, что они и впредь это сделают, все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал:

– А как же? Торговля – все равно что война, – азартное

дело. Тут бьются за суму, а в суме – душа...

– Не нравится это мне, – заявил Фома.

– И мне не все нравится, – фальши много! Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя, тут нужна политика! Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой – нож.

– Не очень хорошо это, – задумчиво сказал Фома.

– Хорошо – дальше будет... Когда верх возьмешь, тогда и хорошо... Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, иль лежи в грязи...

Старик улыбался, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль: «Многих, видно, ты загрыз...»

– Лучше-то ничего нет? Тут – всё?

– Где же – кроме? Всякий себе лучшего желает... А что оно, лучше? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого места в жизни... иной так, иной этак... но все обязательно хотят, чтоб их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению... Даже в книге Иова это выражено: «человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Ты посмотри: ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет, чем она и занята... Понял?

– Это я понимаю! – сказал Фома.

– Это надо чувствовать... С одним понятием никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, так пожелай, чтобы гора те-

бе – кочка, море тебе – лужа! Эх! Я, бывало, в твои годы играючи жил! А ты все еще нацеливаешься...

Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны: Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. Нужно быть лучше других, – затвердил он, и возбужденное стариком честолюбие глубоко въелось в его сердце... Въелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну: около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал.

Пред ним, по мягким коврам, бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны – целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтоб кинуть спасательный круг, на

круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное.

– Я так люблю говорить с вами, – музыкально растягивая слова, пела она. – Все эти – мне надоели... они скучные, ординарные, изношенные. А вы – свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

– Терпеть не могу! – твердо ответил Фома.

– А меня? – тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

– Который раз вы это спрашиваете...

– Вам трудно сказать?

– Не трудно... да зачем?

– Мне нужно знать это...

– Играете вы со мной... – угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

– Как играю? Что значит – играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

– Люблю я вас, люблю! Разве это можно – не любить вас? – горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: – Да ведь вам это не нужно!..

– Вот вы и сказали! – удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. – Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодо, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склонясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим, всегда смущавшим Фому, блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила:

– Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете – ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например: ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купчески, – Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изу-

вечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы: ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней – ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно-острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две-три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытаться его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через два дня снова являлся для пытки.

Однажды он робко спросил ее:

– Софья Павловна!.. Были у вас дети?

– Нет...

– Я так и знал! – с радостью вскричал Фома.

Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала:

– Почему же вы это знали? И зачем вам знать, были ли у меня дети?

Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так, точно выталкивая слова из-под земли и каждое

слово весило несколько пудов.

– Видите... ежели женщина, которая... то есть родила, то у нее глаза... совсем не такие...

– Да-а? Какие же?

– Бесстыжие! – бухнул Фома.

Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся.

– Вы простите! – сказал он наконец. – Я, может, нехорошо... неприлично сказал...

– О, нет, нет! Вы не можете сказать ничего неприлично-го... вы чистый, милый мальчик. Итак, у меня глаза не бесстыжие?

– У вас – как у ангела! – восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.

А она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, – взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого.

– Идите, голубчик... Я устала и хочу отдохнуть... – сказала она ему, вставая и не глядя на него.

Он покорно ушел.

Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

– Фома! Ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

– Это вы насчет чего? – спросил Фома.

– А насчет Соньки, больно уж часто ты к ней ходишь.

– Что вам? – грубовато сказал Фома. – И какая она для вас Сонька?

– Мне – ничего, меня не убудет от того, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут – это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать – тоже все знают.

– Она умная! – твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. – Образованная...

– Умная, это верно! Образованная... Она тебя образует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

– Не шалопаи, а... тоже умные люди! – злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. – И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

– Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть как град по крыше... сердито! Ну ладно, – будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки все же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например – Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше – ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и

ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.

Они возвращались из затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном возке, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте: под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стоял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.

– Приедешь, – к барыне своей первым делом пойдешь? – неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.

– Схожу, – недовольно ответил Фома.

– Мм... Что, скажи, часто подарки делаешь ты ей? – просто и как-то задушевно спросил Маякин.

– Какие подарки? Зачем? – удивился Фома.

– Не даришь? Ишь ты... Неужто она просто так, по любви живет с тобой?

Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал:

– Эх! Старый ведь вы человек, а говорите – стыдно слушать! Да разве она пойдет на это?

Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел:

– Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина! – И, внезапно озлившись, плюнул. – Тьфу тебе! Всякий скот пил из крынки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал божка!.. Че-орт! Ты иди к ней и прямо говори: «Желаю быть вашим любовником, – человек я молодой, дорого не берите».

– Крестный! – угрюмо и грозно сказал Фома. – Я этого

слушать не могу... Ежели бы кто другой...

– Да кто, кроме меня, остережет тебя? А ба-атюшки! – завопил Маякин, всплескивая руками. – Это она тебя всю зиму за нос и водила? Ну но-ос! Ах она, стервоза!

Старик был возмущен; в голосе его звучали досада, злоба, даже слезы. Фома никогда еще не видал его таким и невольно молчал.

– Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!..

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской, азартно, с злобным визгом.

Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать.

– Ладно, папаша, будет... – тихо и тоскливо попросил он, отвергиваясь в сторону от Маякина.

– Эх, надо тебе скорее жениться! – тревожно вскричал старик.

– Христа ради, не говорите! – глухо молвил Фома.

Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде... Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей...

– Ну и глуп же человек в своей юности! – негромко вос-

кликнул Маякин. – Стоит перед ним пень дерева, а он видит – морда зверева... о-хо-хо!

– Говорите прямыми словами, – угрюмо сказал Фома.

– Чего тут говорить? Дело ясное: девки – сливки, бабы – молоко; бабы – близко, девки – далеко... стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь, – и говори ей прямо – так, мол, и так... Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?

– Не понимаете вы... – тихо сказал Фома.

– Чего я не понимаю? Я все понимаю!

– Сердца, – сердце есть у человека!.. – тихо сказал юноша.

Маякин прищурил глаза и ответил:

– Ума, значит, нет...

VI

Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.

– Подлая... ангелом нарядилась!

Порой надежда робким голосом подсказывала ему:

«Может, все это клевета...»

Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивал грудь вперед.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, – вот и все!

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на

вопрос его «дома ли барыня?» – горничная сказала:

– Пожалуйста в гостиную...

Он робел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, – приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал...

А навстречу ему тихо плыли звуки струн – странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его... Фома не любил слушать музыку – она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонт, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщи-

ну в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.

Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях, – ее лицо серьезней и старей, в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и – не могла.

Юноша кашлянул...

– Кто это? – тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

– Это я, – сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

– А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

– Ездил в затон пароходы смотреть, – говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

– Что, в полях еще много снега?

– Сколько вам угодно... Но здорово тает. По дорогам – вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская

заметила развязность его поведения и новое в его улыбке – онаправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились – и Медынская опустила голову.

– Тает! – задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

– Н-да... ручки везде... – любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

– Это хорошо... Весна идет...

– Уж теперь не задержит...

– Придет весна, – повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

– Влюбляться станут люди, – усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.

– Вы собираетесь? – сухо спросила Медынская.

– Мне – нечего... я – давно!.. Влюблен на всю жизнь...

Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря:

– Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить...

Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

– Софья Павловна! – тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

– Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете – у человека, много прожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое... Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания

юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет... живительной свежестью утра дней...

Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочат его сердце... Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал:

«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам...»

Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал....

– Вы думаете о том, как нужно жить? – спросила женщина.

– Иной раз подумаешь – а потом опять забудешь. Некогда! – сказал Фома и усмехнулся. – Да и что думать? Видишь, как живут люди... ну, стало быть, надо им подражать.

– Ах, не делайте этого! Пожалейте себя... Вы такой... славный!.. Есть в вас что-то особенное, – что? Не знаю! Но это чувствуется... И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить... Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга... нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем... о, нет! Я знаю, – вам хочется чего-то иного... да?

Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:

«К чему это она клонит?»

Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убе-

дительно говоря:

– Устройте себе жизнь как-нибудь иначе... Вы сильный, молодой... хороший!..

– А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! – воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться...

– Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным!.. – с грустью сказала Медынская.

И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что, если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, – позднее он ничего не скажет ей...

«Господи, благослови!» – мысленно произнес он и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:

– Софья Павловна! Будет уж!.. Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступать прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня... Я не пойму, что вы говорите... у меня ум глухой... но я ведь чувствую – спрятать себя вы хотите... я вижу – понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячей и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

– О, перестаньте...

– Нет уж – буду говорить!

– Я знаю, что вы хотите сказать...

– Не все вы знаете! – с угрозой сказал Фома, вставая на

ноги. – А вот я все знаю про вас – все!

– Да? Тем лучше для меня! – спокойно проговорила Медынская.

Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что, когда скажет ей: «Я все знаю про вас!» – она испугается, ей будет стыдно и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло: он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

– Тем лучше... – повторила она сухо и твердо. – Так вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало... Я понимаю... я виновата пред вами... Но... нет, я не буду оправдываться...

Она замолчала, вдруг нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову... И стала оправлять волосы...

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, – надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

– Бывало, смотрел я на вас и думал: «Экая она красивая, хорошая... Голубка!...» А вы вот сами говорите – виновата... эхма!

Голос его оборвался. А женщина тихонько засмеялась.

– Какой вы славный и смешной...

Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, – таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и все улыбалась; но он не вслушивался в ее слова.

– Пришел я к вам, – заговорил он, перебивая ее речь, – без жалости!.. Думал – я ей скажу! А ничего не сказал... и не хочется... Сердце упало... Дышите вы на меня как-то... Эх, напрасно я увидал вас! Что вы мне? Уходить, видно, надо...

– Подождите, голубчик, не уходите! – торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. – Зачем же так... сурово? Не сердитесь на меня! Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, как сами вы... Она должна быть веселая, бодрая... Я ведь уже старуха... Я вот тоскую... так пусто и скучно живется мне... так пусто! Знаете, – когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может, – плохо ему! Смеется не он, – жизнь смеется над ним... А люди... Послушайте! Как мать, советую вам, прошу и умоляю вас – не слушайте никого, кроме вашего сердца! Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного... не слушайте их!

Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и

слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка.

– Жизнь строга... она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей... Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить... Человек доходит до того, что начинает бояться себя... он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой... и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, – лишь бы не быть наедине с самим собой!

Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением:

– Не пойму никак я – что такое? И Любовь то же говорит...

– Какая – Любовь? Что говорит?

– Сестра... То же самое, – на жизнь все жалуется. Нельзя, говорит, жить...

– О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом...

– Сча-астье! Хорошо счастье, от которого стонут да жалуются...

– Вы – слушайте, – в жалобах людей всегда много мудрости... Мудрость – это боль...

Фома слушал убедительно звучавший голос женщины и с недоумением оглядывался. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрело как-то ново, хотя та же масса ме-

лочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожное наводил уныние. Сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна фарфора. Тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.

– Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызывал во мне такого теплого чувства, как вы... А вы смотрите на меня так... недружелюбно... Верите вы мне? да? нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

– Не знаю! Верил я...

– А теперь? – быстро спросила она.

– А теперь – уйти мне лучше! Не понимаю я ничего...

И себя я не понимаю... Шел я к вам и знал, что сказать... А вышла какая-то путаница... Наташили вы меня на рожон, раззадорили... А потом говорите – я тебе мать! Стало быть, – отвяжись!

– Поймите – мне жалко вас! – тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой... Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал опутавшее его.

– Жалко?.. Этого мне не надо. Эх, говорить я не могу! Но – сказал бы я вам!.. Нехорошо вы со мной сделали – зачем,

подумаешь, завлекали человека? Али я вам игрушка?

– Мне только хотелось видеть вас около себя... – сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

– А как дошло до дела, – испугались вы и отгородились от меня... Каяться стали... Жизнь плохая! И что вы всё на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек – жизнь, и, кроме человека, никакой еще жизни нет... А вы еще какое-то чудовище выдумали... это вы – для отвода глаз, для оправдания себя... Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и – стонать! «Ах, жизнь! Ох, жизнь!» А не сами вы ее делали? И, себя жалобами прикрывая, – других смущаете... Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, – мне плохо, пусть и тебе будет плохо, – на же! Так, что ли? Эх вы! Красоту вам бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.

– Красивый человек и жить хорошо должен... А про вас вон говорят... – Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил: – Прощайте!

– Прощайте!... – тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

– Может, я обидное что сказал – простите! Все-таки я... люблю вас... – Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась...

– Нет, вы не обидели меня... Идите с богом!

– Ну, так прощайте! – повторил Фома еще тише.

– Да... – так же тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера; они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство, – сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть...

Уж ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, а от деревьев – причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю...

«Что она теперь делает?» – думал Фома, представляя себе женщину одинокую, в углу тесной комнаты, среди краснова-

того сумрака...

«Лучше мне забыть про нее...» – решил он. Но забыть нельзя было, она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей... Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней; оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадыю составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, точно стена загроживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут... И сам он тоже не знает, куда идет... Ему представился свой дом – шесть больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет... Дома – Иван, дворник, Секлетей – старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, с тупым, как у сома, рылом. И собака тоже старая...

«Пожалуй, надо жениться...» – вздохнув, подумал Фома.

Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтоб он сватал невесту, и – месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять!» – и она пойдет... Скажет: «Пойдем спать!» – тоже пойдет... Захочется

ей целовать его – и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей «не хочу, уйди!» – она обидится...

О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей... Как это, должно быть, стыдно и неловко, когда девушка становится женой... И – что говорят друг другу молодые, после венца, в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов... Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, наверное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами... Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения...

Тут его мысль остановилась на жалобах Любви. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, – говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна – все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей.

«Что это значит? – думалось ему. – Что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то, кроме людей, и оно мешает им жить».

Жуткое чувство страха охватило парня; он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо; темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам следом за Фомой двигалась его тень.

– Извозчик! – громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.

VII

Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни и ночи образ ее неотступно стоял пред Фомой, вызывая в сердце ноющее чувство. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желанья снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил, в ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился...

Работа и тоска о женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожное чувство, – он не умел рассуждать; но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительное чувство к ним. Они были ловки, хитры и умны – он это видел; в делах с ними всегда нужно было держаться осторожно; он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их

и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб...

Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему:

– Ананий приехал... Зовет тебя... Ты вечером сходи к нему, да, смотри, язык-то свой попридержи... Ананий будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил... Хитрый, старый черт... Преподобная лиса... возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит да кошель-то и вытащит... Поостерегись!..

– Должны мы ему? – спросил Фома.

– А как же! За баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно... Ежели будет все сразу просить – не давай... Рубль – штука клейкая: чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет...

– Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?

– А пускай он плачет – просит, ты же реви – да не давай!

Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты... Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот «лесо-вик» разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фо-

ме, что Щуров в молодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в огороде, в бане, каторжника и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, – убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города, – все они будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное – сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет.

Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен, – одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку-нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка... Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него.

Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, – он увидел, что старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что

длинная белая борода лежит на коленях, Но, и согнувшись, он был велик...

– Кто вошел? – не поднимая головы, спросил Ананий сиплым и сердитым голосом.

– Я. Здравствуйте, Ананий Саввич...

Старик медленно поднял голову и, прищутив большие глаза, взглянул на Фому.

– Игнатов сын, что ли?

– Он самый...

– Ну... Садись вон к окну, – поглядим, каков ты! Чаем, что ли, попить?

– Я бы выпил...

– Коридорный! – крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже исподлобья смотрел на него.

Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный, тонкий нос, загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые, острые зубы. На нем была надета розовая рубаша из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем...

– А мальчишкой-то ты больше на отца был похож!.. – вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил: – Помнишь отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться! – продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. – Великий грешник был Игнат... и умер без покаянья... в одночасье... великий грешник!

– Не грешнее, чай, других-то, – хмуро ответил Фома, обиженный за отца.

– Кого – к примеру? – строго спросил Щуров.

– Мало ли грешников!

– Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле – окаянный фармазон, твой крестный Яшка... – отчеканил старик.

– Вы это верно знаете? – осведомился Фома, усмехаясь.

– Я? Я знаю! – уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. – Я сам тоже предстану пред господом... не налегке... Понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо его... Я сам тоже тешил дьявола... только я в милость господню верую, а Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай... Яшка в бога не верит... это я знаю! И за то, что не верит, – на земле еще будет наказан!

– И это вы знаете? – спросил Фома.

– И это... Ты не думай – я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня... Какой-де прозорливец! Но человек, который много согрешил, – всегда умен... Грех – учит... Оттого Маякин Яшка и умен на редкость...

Слушая сильный и уверенный голос старика, Фома подумал:

«Смерть, видно, чувствует...»

Коридорный, маленький человек с бледным, стертым лицом, внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому:

– Дерзок ты... И взгляд у тебя – темный... Раньше светлоглазых людей больше было... раньше души светлее были... Раньше все было проще – и люди и грехи... а теперь пошло все мудреное... эхе-хе!

Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал:

– В твои годы отец твой... водоливом тогда был он и около нашего села с караваном стоял... в твои годы Игнат ясен был, как стекло... Взглянул на него и – сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу – не вижу – что ты? Кто ты такой? И сам ты, парень, этого не знаешь... оттого и пропадешь... Все теперешние люди – пропасть должны, потому – не знают себя... А жизнь – бурелом, и нужно уметь найти в ней свою дорогу... где она? И все плутают... а дьявол – рад... Женился ты?

– Нет еще, – сказал Фома.

– Вот и это... не женат, а уж, чай, давно поган... Ну, а работаешь в деле твоём много?

– Приходится... я с крестным пока...

– Какая теперь у вас работа? – качая головой, говорил

старик, и глаза его все играли, то темнея, то снова проясняясь. – Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил... в метель, ночью... едет! Разбойники ждали его на дороге и убивали... умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои... Теперь в вагоне едут... депеши рассылают... а то вон, слышь, так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно... тут уж не без дьяволова ума!.. Сидит человек... не двигается... и грешит оттого, что скучно ему, делать нечего: машина за него делает все... Труда ему нет, а без труда – гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает – хорошо! Ан она, машина-то, – дьяволов капкан тебе! В труде для греха нет времени, а при машине – свободно! От свободы – погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на солнце... От свободы человек погибнет!

И, произнося отдельно и утвердительно слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебряные волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уже забыл все то, что знал о старике и во что еще недавно верил как в правду.

Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова и чей страх, чья боль радовали его...

– И все вы, теперешние, погибнете от свободы... Дьявол

поймал вас... он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины и депеши... Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, да! Оттого и пьют и развратничают с бабами...

– Ну, – тихо сказал Фома, – развратничали и пьянствовали и прежде не меньше...

– Молчал бы! – крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. – Тогда силы у человека больше было... по силе и грехи! Тогда люди – как дубы были... И суд им от господа будет по силам их... Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их... и увидят ангелы божии, что не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела... понимаешь? Волка не осудит господь, если волк овцу пожрет... но если крыса мерзкая повинна в овце – крысу осудит он!

– Откуда людям знать, как бог осудит человека? – задумчиво спросил Фома. – Видимый суд нужен...

– Пошто – видимый?

– Чтобы понимать людям...

– А кто, кроме бога, судья мне?

Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сожженный Щуровым, он снова верил, что это так и было. И женщин – жен и любовниц – этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях его длинных, жилистых рук. И вот

теперь он, ожидая смерти, которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит: «Кто, кроме бога, судья мне?»»

«Боится он или нет?» – спросил себя Фома и задумался, исподлобья рассматривая старика.

– Да, парень! Думай... – покачивая головой, говорил Щуров. – Думай, как жить тебе... О-о-хо-хо! как я давно живу! Деревья выросли и срублены, и дома уже построили из них... обветшали даже дома... а я все это видел и – все живу! Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: «Неужто один человек столько сделать мог? Неужто я все это изжил?...» – Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк...

Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко трещало; шум колес и глухой говор людей несся снизу, с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит...

– Трудно тебе жить без отца-то? – раздался его голос.

– Привыкаю... – ответил Фома.

– Богат ты... Яков умрет – еще богаче будешь, все тебе откажет. Одна дочь у него... и дочь тебе же надо взять... Что она тебе крестовая и молочная – не беда! Женился бы... а то что так жить? Чай, таскаешься по девкам?

– Нет...

– Говори! Э-эхе-хе!.. Помирает купец... Сказывал мне один лесничий, – врет ли, нет ли, – что-де раньше все собаки

волками были и выродились в собак... Так вот и наше звание – тоже скоро все собаками будем... Науки изучим, модные шляпы на башки воткнем, и всё там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять... И ничем нас от других людей не отличишь... Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать... И купцов, и дворян, и мещан – всех под один колер подгоняют... Оденут в серое и учат всех одной науке... растят человека, как дерево... Зачем это? Никому не известно... И полено одно от другого хоть сучком, да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были... Скоро нам, старикам, крышка... да-а! Может, никто уж и не поверит через пятьдесят эдак лет, что на свете я жил... Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров... так-то! И что я, Ананий, кроме бога, никого не боялся... И что был я в молодости мужик, а земли имел две с четыю десятины, а под старость накопил одиннадцать тысяч десятин и всё под лесом... да денег, может, два миллиона...

– Вот всё говорят – деньги? – сказал Фома с неудовольствием. – А какая от них радость человеку?

– Мм... – промычал Щуров. – Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь...

– Кто ее понимает? – спросил Фома.

– Я! – уверенно сказал Щуров. – И всякий умный человек... Яшка понимает... Деньги? Это, парень, много! Ты разложи их пред собой и подумай – что они содержат в себе? Тогда поймешь, что все это – сила человеческая, все это –

ум людской... Тысячи людей в деньги твои жизнь вложили. А ты можешь все их, деньги-то, в печь бросить и смотри, как они гореть будут... И будешь ты в ту пору владыкой себя считать...

– Этого не делают...

– Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают в дело... около дела народ кормится... а ты надо всем тем народом – хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек ему молился... Он один был, и было ему одному-то скучно... ну, захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию его, то человек власти хочет... А что, кроме денег, власть дает?.. Так-то... Ну, а ты – деньги принес мне?

– Нет... – ответил Фома. От речей старика в голове у него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор перешел, наконец, на деловую почву.

– Это напрасно! – сказал Щуров, строго нахмутив брови. – Срок прошел – надо платить...

– Получите завтра половину...

– Зачем половину? Все давай!

– Уж очень нам теперь нужны деньги-то...

– А их нет? Однако и мне нужны...

– Подождите!

– Э, брат, ждать не буду! Ты не отец... ваш брат, молоко-сос, народ ненадежный... в месяц можешь ты все дело спутать... а я от того убыток понесу... Ты мне завтра всё подай,

а то векселя протестую... У меня это живо!

Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе... И лицо и глаза у него тогда другие были, – а теперь он смотрел жестко, безжалостно, и на щеках, около ноздрей, жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что, если не заплатить ему в срок, – он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей...

– Что, видно, плохи дела-то? – усмехнулся Щуров. – Ну, говори начисто – где отцовы деньги рассыпал?

Фоме захотелось испытать старика.

– Дела не очень веселые... – сказал он, хмурясь, – поставок нет... задатков не получили... ну, и трудновато.

– Та-ак!.. Пособить, что ли?

– Сделайте милость... отсрочьте платежи-то, – попросил Фома, скромно опустив глаза.

– Мм... али из дружбы к отцу пособить? Пожалуй, пособию...

– А на сколько времени отсрочите? – осведомился Фома.

– На полгода...

– Покорно благодарю...

– Не на чем... Одиннадцать тысяч шестьсот за тобой... Ты вот что: перепиши мне векселя на пятнадцать, уплати проценты с этой суммы вперед... а в обеспечение я с тебя закладную на две твои баржи возьму...

Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил:

– Завтра пришлите векселя... я их вам оплачу полностью...

Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почесывая грудь, сказал:

– И так хорошо...

– Спасибо... за ласку!

– Не даешься ты... а то я бы тебя приласкал! – лениво проговорил старик, оскаливая зубы.

– Н-да! попадешь вам в руки...

– Тепло будет...

– Нагреете, что говорить...

– Ну, однако, паренек, будет! – сурово сказал Щуров. – Хоть ты и думаешь про себя, что неглуп... только рано это... Сыграл вничью, да уж и хвастаться стал!.. А ты у меня выиграй... тогда и пляши от радости... Прощай-ка... Да денежки завтра припаси...

– Не беспокойтесь... Прощайте!

– С богом!

Выйдя за дверь номера, Фома услышал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сиповатым басом:

– «Ми-ило-осердия двери отверзи нам... благословенная богородице...»

Фома унес с собой от старика двойственное чувство! Щуров и нравился ему, и в то же время был противен.

Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры

его в милосердие бога, и – старик возбуждал в нем чувство, близкое к уважению.

«И этот тоже про жизнь говорит... и вот – грехи свои знает, а не плачется, не жалуется... Согрешил – подержу ответ... А та?..» – Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось тоской. «А та – кается... не поймешь у ней – нарочно она или в самом деле у нее сердце болит...»

Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызвало в нем отвращение к старику, он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался.

– Ну, был я у Щурова!.. – сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол.

Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках нетерпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил:

– Наливай ему чаю, Любава! Рассказывай, Фома... Мне к девяти в думу надо, рассказывай скорей.

Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя.

– Э-эх! – с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасович. – Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу! Дернула меня нелегкая послать тебя! Мне самому бы пойти... Я бы его вокруг пальца обернул!

– Ну, едва ли! Он говорит: «Я дуб...»

– Дуб? А я – пила... Дуб – дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны... И выходит, что дуб – глуп...

– Да ведь все равно платить надо...

– С этим не торопятся... умные люди! А ты – готов бегом бежать, чтобы деньги отдать... купец!

Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай:

– Сахар подвинь мне, видишь – не достану...

Лицо Любви было бледно, глаза мутны, и руки у нее двигались вяло, неловко... Фома посмотрел на нее и подумал:

«Смирная какая при отце-то...»

– О чем он говорил с тобой? – спросил его Маякин.

– Насчет грехов...

– Ну конечно! Всякому человеку свое дело дорого... а он – фабрикант грехов... Давно о нем и на каторге и в аду плачут – тоскуют, ждут – не дождутся...

– Увесисто говорит он, – задумчиво сказал Фома, помещивая чай в стакане.

– Меня ругал? – осведомился Маякин, ехидно искривив лицо.

– Было...

– А ты что?

– А я... слушал...

– Мм... что же слышал?

– «Сильному, говорит, простится, – а слабому нет проще-

ния...»

– Премудрость, подумаешь!.. Это и блохи знают...

Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал:

– А вас он не любит...

– Меня, брат, никто не любит! – с гордостью сказал Маякин. – И любить меня не за что, я не девка... Но зато – уважают меня... А уважают только тех, кого побаиваются...

И старик хвастливо подмигнул крестнику.

– Говорит он увесисто... – повторил Фома. – Жалуется... «Вымирает, говорит, настоящий купец... Всех, говорит, людей одной науке учат... чтобы все были одинаковы... на одно лицо...»

– Считает так, что – не годится это? Дурак! – презрительно сказал Маякин.

– А почему это хорошо? – спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного.

– Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение, – должны мы признать, что это умно... Потому – что такое человек в государстве? Не больше как простой кирпич, а все кирпичи должны быть одной меры, – понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса, – как я хочу, так и положу...

– Кому же приятно кирпичом-то быть, – хмуро сказал Фома.

– Речь не о приятном, а о деле... Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом... А башка лопнет – что поделаешь? Слаба, значит, была...

– Говорил он также насчет труда... «Всё, говорит, машины работают, а люди от этого балуются...»

– Поехала кума, неведомо куда! – пренебрежительно махнул рукой Маякин. – Удивительно мне – какой у тебя аппетит на всякую пустяковину! «Машина»! Он бы, старый пень, подумал – какая она, машина-то? Железная! – стало быть, ее не жалко, завел – она и кует тебе рубли... без всяких слов, без хлопот... пустил, она и вертится! А человек – он беспокойный и жалкий... он очень жалок порой бывает! Воет, ноет, плачет, просит... пьян напивается... в нем лишнего для меня – ах, как много! А в машине, как в аршине, – ровно столько содержания, сколько требуется для дела... Ну, я пойду одеваться... пора.

Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови:

– Леший разве разберет все это... один говорит так, другой – этак...

– Вот и в книгах тоже, – тихо сказала Любовь.

Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь. И она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало, печально...

– Все читаешь? – спросил Фома.

– Да-а... – уныло ответила девушка.

– И тоскуешь?

– Тошно... Одна потому что... Слова не с кем сказать...

– Плохо твое дело...

Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца.

– Шла бы замуж... – сказал Фома, чувствуя, что ему жалко ее.

– Отстань, пожалуйста... – некрасиво наморщив лоб, ответила Любовь.

– Чего отстань? Ведь пойдешь же...

– Вот! – со вздохом и тихо воскликнула девушка. – Вот я и думаю – надо... А как пойдешь? Ты знаешь ли – я такое чувствую теперь, – как будто между мною и людьми туман стоит... густой, густой туман!..

– От книг, – уверенно вставил Фома.

– Подожди! И я перестаю понимать, что делается... Все мне не нравится, все чужое стало... Все не так, как надо, все не то... Я понимаю это, а сказать, что не так и почему, – не могу!..

– «Не так, не так...» – забормотал Фома. – Это у тебя от книг... Хотя я и сам тоже чувствую, что не так... Это, может, и оттого, что еще молоды мы...

– Мне сначала казалось, – не слушая его, говорила Любовь, – что я в книгах все понимаю...

– Бро-ось ты их! – посоветовал Фома пренебрежительно.

– Ах, полно! Разве это можно бросить? Ты знаешь – сколько разных мыслей на свете! О, господи! И есть такие, что голову жгут... В одной книге сказано, что все существующее на земле разумно...

– Все? – спросил Фома.

– Все! А в другой – напротив.

– Погоди! Разве это не чепуха?

– О чем разговор? – спросил Маякин, являясь в дверях, одетый в длинный сюртук и с какими-то медалями на шее и груди.

– Так... – хмуро сказала Любовь.

– Насчет книг, – добавил Фома.

– Каких книг?

– Да вот она читает... прочитала, что все на земле – разумно...

– Ну!

– Ну, а я говорю – враки!

– Н-да... – Яков Тарасович задумался, пощипывая бородку и прищурив глаза. – Это что за книга? – спросил он у дочери, помолчав.

– Маленькая такая... желтая... – неохотно сказала Любовь.

– Ты ее положи-ка на стол мне... Это неспроста тоже сказано – все на земле разумно! Ишь... догадался какой-то!.. Н-да... это очень даже ловко выражено... И кабы не дураки – то совсем бы это верно было... Но как дураки всегда не

на своем месте находятся, – нельзя сказать, что все на земле разумно... Прощай, Фома! Посидишь, али подвезти?..

– Посижу еще...

Любовь и Фома снова остались вдвоем.

– Какой он у тебя, – кивнув головой вслед крестному, сказал Фома.

– Какой?

– На все откликается, все своим словом покрыть хочет...

– Да-а... умный!.. А вот не понимает, как тяжело мне жить... – печально сказала Любовь.

– Я тоже не понимаю... выдумываешь ты много...

– Что я выдумываю? – раздраженно крикнула девушка.

– Да – все это... не твои ведь мысли-то, – чужие!..

– Чужие... чужие...

Она хотела сказать что-то резкое, но оборвалась и замолчала. Фома смотрел на нее и, поставив рядом с нею Медынскую, грустно подумал:

«Какое все разное... и люди и женщины... и чувствуешь всегда разное...»

На улице темнело, а в комнате уже было совсем темно. Ветер качал липы, сучья их царапались о стены дома, точно холодно им было и они просились в комнаты...

– Люба! – тихо сказал Фома.

Она подняла голову и посмотрела на него.

– Знаешь... я ведь поссорился с Медынской-то...

– Из-за чего? – оживляясь, спросила Любовь.

– А – так уж!.. Она обидела меня...

– Ну, это хорошо, что поссорился, – одобритительно сказала девушка, – а то бы она тебя завертела... она – дрянь, кокетка... ух, какие я про нее вещи знаю!

– Совсем она не дрянь, – угрюмо сказал Фома. – И ничего ты не знаешь... Всё вы врете!

– Ну уж, извини!

– Нет... вот что, Люба, – тихо и просительно сказал Фома, – ты не говори мне про нее худо... Я все знаю... ей-богу! Она сама сказала...

– Са-ама?! – удивленно воскликнула Люба. – Какая... странная! Что же она сказала?..

– Виновата... – с усилием выговорил Фома и криво усмехнулся.

– Только? – В вопросе девушки звучало разочарование.

Фома услышал его и с надеждой спросил:

– Мало разве?

– Очень ты любишь ее?

Фома помолчал, посмотрел в окно и смущенно ответил:

– Не знаю... Кажется... что теперь больше, чем прежде...

– Удивляюсь я, как можно любить такую? – пожав плечами, спросила девушка.

– Еще как можно! – воскликнул Фома.

– Не понимаю... Нет, это только потому ты привязался к ней, что лучше ее не видал...

– Не видал! – согласился Фома и, помолчав, нерешитель-

но сказал: – Может, лучше и нет... Она для меня – очень нужна! – задумчиво и тихо продолжал он. – Боюсь я ее, – то есть не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала... Иной раз – тошно мне! Подумаешь – кутнуть разве, чтобы все жилы зазвенели? А вспомнишь про нее и – не решишься... И во всем так – подумаешь о ней: «А как она узнает?» И побоишься сделать...

– Да-а, – задумчиво протянула девушка, – значит, ты ее любишь... Я бы тоже... если б любила, то думала бы о нем... что он скажет?

– И все у нее – особенное, – рассказывал Фома. – Говорит она по-своему... красива как, господи! И такая маленькая... как ребенок...

– Что же у вас вышло? – спросила Любовь.

Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные им Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова.

– Я ей: «Эх ты! Играла ты со мной – зачем?» – гневно и с упреком говорил он.

А Люба, с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его:

– Вот – хорошо! Ну, а она?

– Молчит! – тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. – То есть она говорила... да что в том?

Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже. А тьма в комнате все сгущалась, в окна смотрело что-то мутное.

– Зажгла бы ты огонь!.. – предложил Фома.

– Какие мы с тобой оба несчастные... – сказала Люба и вздохнула.

Фоме не понравилось это.

– Я – не несчастный... – твердо возразил он. – Я просто не привык еще жить...

– Человек, который не знает, что он сделает завтра, – несчастный! – с грустью говорила Люба. – Я – не знаю. И ты тоже... У меня сердце никогда не бывает спокойно – все дрожит в нем какое-то желание...

– Это и у меня есть, – сказал Фома. – Эх!.. Надо, однако, идти в клуб...

– Не уходи... – попросила Люба.

– Надо, там ждет меня один... Прощай!

– До свиданья! – Она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его.

– Спать ляжешь? – спросил Фома, крепко пожимая ее руку.

– Почитаю немножко...

– Ты к этому – как пьяница к водке... – с сожалением сказал он.

– Что же есть лучше?

Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них

увидал лицо Любы, такое же неясное, как все, что говорила девушка, как ее желания. Фома кивнул ей головой и подумал:

«Тоже заплуталась, как и та...»

При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги.

Холодный, бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя сор, бросая пыль в лицо прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал:

«Ежели теперь встретится мне женщина – значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по-старому... Завтра пойду к ней... А ежели мужчина – не пойду завтра, – погожу еще...»

Встретилась ему собака, и это так раздражило его, что ему захотелось ткнуть палкой собаку...

А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он, стоя около двери, беседовал с каким-то толстым и усатым человеком, но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь и говоря:

– Здравствуйте, скромный миллионщик!

Он нравился Фоме за свой веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его:

– А почему вы знаете, что я скромный?

– Он спрашивает! Человек, который живет, как отшель-

ник, не пьет, не играет, не любит женщин... ах, да! Вы знаете, Фома Игнатьевич? Наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на все лето.

– Софья Павловна? – медленно спросил Фома.

– Ну да! Заходит солнце моей жизни... а может быть, и вашей?

Ухтищев состроил комически-коварную гримасу и заглянул в лицо Фомы.

А тот стоял перед ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь и он не может помешать этому...

– Уезжает Медынская? – раздался жирный басовой голос. – Славно! Я рад...

– Позвольте – почему? – воскликнул Ухтищев.

Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека – собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова:

– А по-отому, что в городе одной кокоткой будет меньше...

– Фи, Мартын Никитич! – укоризненно сказал Ухтищев, наморщивая брови.

– Почему вы знаете, что она кокетка? – угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину.

Тот окинул его пренебрежительным взглядом, отворотился в сторону и, дрыгнув ляжкой, протянул:

– Я не сказал – ко-окетка...

– Нельзя, Мартын Никитич, говорить так о женщине, которая... – заговорил Ухтищев убедительным голосом, но Фома перебил его.

– Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое, – какое он слово сказал?

И, проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед, отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид... Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся...

– Господа! – тихо воскликнул Ухтищев.

– Я сказал – ко-ко-тка... – произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. – А если вы не понимаете этого – мо-огу пояснить...

– Да уж, – глубоко вздыхая, сказал Фома, не сводя с него глаз, – вы объясните...

Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них...

– Кокотка, если вам угодно знать, – продажная женщина... – вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме свое большое, толстое лицо.

Фома тихо зарычал и, прежде чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и все большое, грузное тело, а левую руку поднял вверх и глухим голосом приговаривал в такт трепки:

– За глаза – не ругайся – а ругайся – в глаза прямо – в глаза – прямо в глаза....

Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как смешно размахивают в воздухе толстые руки и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркают по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опыненный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганьем. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ноге, но он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь под его рукой... Наконец его оторвали, навалились на него, и, как сквозь красноватый дым, он увидел пред собой, на полу, у ног своих, избитого им человека. Растрепанный, взъерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь встать; двое черных людей держали его под мышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья, и он, клопочущим от рыданий голосом, кричал Фоме:

– Меня бить... нельзя! Нельзя! Я имею орден... подлец! О, подлец! У меня дети... меня все знают! Мер-рзавец!.. Дикарь... о-о-о! Дуэль!

А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме:

– Пойдемте! Голубчик, бога ради...

– Погоди, я дам ему в рожу пинка... – попросил Фома.

Но его потащили куда-то. В ушах его звенело, сердце билось быстро, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на подъезде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь:

– Здорово я ему задал, а?

– Слушайте! – возмущенно воскликнул веселый секретарь. – Это, извините, дико! Это, черт возьми... я первый раз вижу!

– Милый человек! – ласково сказал Фома. – Аль он не стоит трепки? Не подлец он? Как можно за глаза сказать такое? Нет, ты к ней поди и ей скажи... самой ей, прямо!..

– Позвольте, – дьявол вас возьми! Да ведь не за нее же только вы его отдули?

– То есть как не за нее? А за кого? – удивился Фома.

– За кого? Я не знаю... очевидно, у вас были счеты! Фу, господи! Вот сцена! Вовеки не забуду!

– Он, этот самый, кто такой? – спросил Фома и вдруг засмеялся. – Как он кричал, – дурак!

Ухтищев пристально взглянул в лицо и спросил его:

– Скажите – вы в самом деле не знаете, кого били? И действительно за Софью Павловну только?

– Вот – ей-богу! – побожился Фома.

– Черт знает что такое!.. – Он остановился, с недоумением пожал плечами, махнув рукой, вновь зашагал по тротуару,

искоса поглядывая на Фому. – Вы за это поплатитесь, Фома Игнатьич...

– К мировому он меня?..

– Дай боже, чтобы так... Он вице-губернатора зять...

– Н-ну-у?! – протянул Фома, и лицо у него вытянулось.

– Н-да-с. Говоря по совести, он и мерзавец и мошенник...

Исходя из этого факта, следует признать, что трепки он стоит... Но принимая во внимание, что дама, на защиту коей вы выступили, тоже...

– Барин! – твердо сказал Фома, кладя руку на плечо Ухтищева. – Ты мне всегда очень нравился... и вот идешь со мной теперь... Я это понимаю и могу ценить... Но только про нее не говори мне худо. Какая бы она по-вашему ни была, – по-моему... мне она дорога... для меня она – лучшая! Так я прямо говорю... уж если со мной ты пошел – и ее не тронь... Считаю я ее хорошей – стало быть, хороша она...

Ухтищев услышал в голосе Фомы большое волнение, взглянул на него и задумчиво сказал:

– Любопытный вы человек, надо сознаться...

– Я человек простой... дикий! Побил вот, и – мне весело... А там будь что будет...

– Боюсь – нехорошо будет... Знаете, – откровенность за откровенность, – и вы мне нравитесь... хотя – гм! – опасно с вами... Найдет этакий... рыцарский стих, и получишь от вас выволочку...

– Ну уж! Чай, я еще первый раз это... не каждый день

бить людей буду... – сконфуженно сказал Фома. Его спутник засмеялся.

– Экое вы – чудовище! Вот что – драться дико... скверно, извините меня... Но, скажу вам, – в данном случае вы выиграли удачно... Вы побили развратника, циника, паразита... и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказанным.

– Вот и слава богу! – с удовольствием выговорил Фома. – Вот я его и наказал немножко...

– Немножко? Ну, хорошо, положим, что это немножко... Только вот что, дитя мое... позвольте мне дать вам совет... я человек судейский... Он, этот Князев, подлец, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не преступит границы уложения о наказаниях... Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать... Вы же – уж, пожалуйста, потерпите...

– А скоро он вам попадется в руки-то? – наивно спросил Фома.

– Н-неизвестно... Так как он малый неглупый, то, вероятно, никогда не попадется... И будет по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства пред законом... О боже, что я говорю! – комически вздохнул Ухтищев.

– Секреты выдаешь? – усмехнулся Фома.

– Не то чтобы секреты, а... не надлежит мне быть лег-

комысленным... Ч-черт! А ведь... меня эта история оживила... Право же, Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто лягается, как лошадь...

Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.

– А началось это ведь с того, – медленно и глухо договорил Фома, – что вы сказали – уезжает Софья Павловна...

– Да, уезжает... Ну-с!

Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него. Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.

– Идемте?

Фома пошел, равнодушно говоря:

– Ну и пусть уезжает...

Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.

– Не проживу я без нее? – спросил Фома, глядя куда-то пред собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно: – Еще как...

– Слушайте! – воскликнул Ухтищев, – я дам вам хороший совет... человек должен быть самим собой... Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр...

– Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь, – сказал Фома, внимательно прослушав его речь.

– Попроще? Я хочу сказать – бросьте вы думать об этой

даме... Она для вас – пища ядовитая...

– Вот и она говорила то же, – угрюмо вставил Фома.

– Говорила?.. – переспросил Ухтищев. – Гм... Вот что...

А не пойти ли нам поужинать?

– Пойдем, – согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими. – Пойдем, так пойдем! И так я завинчу... так я, после всего этого, раскачаюсь – держись!

– Ну, зачем же? Мы – скромненько...

– Нет, погоди! – тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. – Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт... А мне – скучно... Все довольны собой, а что они жалуются – врут, сволочи! Это так они, – притворяются для красоты... Мне притворяться нечего – я дурак... Я, брат, ничего не понимаю... Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой – другое... А она... эх! Знал бы ты... я ведь на нее надеялся... я от нее ждал... чего я ждал?.. Не знаю!.. Но она – самая лучшая... И я так верил – скажет она мне однажды такие слова... особенные... глаза, брат, у нее больно хороши! Господи!.. Смотреть в них стыдно... Ведь я не то что с любовью к ней, – я к ней со всей душой... Я думал, что, коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком!

Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысли, и чувствовал за этой сумятицей слов

большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фома. Все, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни, – он не скоро нашел их.

– Э, батенька! – заговорил он, ласково взяв Фома под руку. – Так – нельзя! Только что вступили вы в жизнь и – уж философствуете! Нет, так нельзя! Жизнь – для жизни нам дана! Значит – живи и жить давай другим... Вот философия! А женщина эта – ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки! О, за-амечательный бабец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпическое. И красива, – Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару! Ах, черт! Право же, это блестящая идея, – я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать...

– Мне совестно... – угрюмо и тоскливо сказал Фома. – Пока она жива – я на баб смотреть не могу даже...

– Такой здоровый, свежий человек – хо-хо! – воскликнул Ухтищев и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже. – Это будет великолепно, и это необходимо вам – поверьте! А совесть, – вы меня извините! Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а – робость! Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете все это... и вот это чувство принимаете за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи, – при чем тут совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?

Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Кажалось – ей конца нет и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно-ласковый голос Ухтищева одностонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желания остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещаниям спутника – и чего ради сопротивлялся бы он?..

– Живут однажды, – говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, – и не мешает поэтому торопиться жить... Ей-богу, так! Да что тут говорить – вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедемте сейчас в один дом... живут там две сестрицы... ах, как они живут! Решайте!

– Что ж? Я поеду... – сказал Фома спокойно и зевнул. – Не поздно ли? – спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.

– К ним никогда не поздно! – весело воскликнул Ухтищев.

VIII

На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам... Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем – маленькие, круглые, холодные – постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.

Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей

над тем, что он, склоняясь к плечу ее, шептал ей в ухо.

А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно, – она себя считала первой здесь.

Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол, и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин... В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе перед ними стояли вина и фрукты.

Утомленная двухдневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и, по-вешнему, бодро молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена – сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна

за другой против течения, – точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток – как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось, что при малейшем дуновенье ветра они поплывут, причудливо-красивые, по зеркальному лону реки...

Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела:

Вдоль по Волге ре-ке
Легка лодка плы-э-ве-от...

Брюнетка, презрительно прищутив свои большие, строгие глаза, сказала, не глядя на нее:

– Нам и без этого скучно...

– Не тронь, пусть поет! – добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая.

– Давайте хором петь!.. – предложил господин с бакенбардами.

– Нет, пускай вот они две споют! – оживленно восклик-

нул Ухтищев. – Вера, спой эту, – знаешь? «На заре пойду...»
Павленька, спойте!

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:

– Можно спеть, Саша?

– Я сама буду петь! – заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей: – Васса, пой!

Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила:

Хорошо-о тому на свете жить,
У кого нету заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!

Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-еви-цы...

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала:

Как былинка, сердце высохло-о-о!

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, соч-

ным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — низкий и мужественный — могуче тек в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струей, и от каждого слова веяло мезтью.

Уж я ему это выплачу... —

жалобно пела Васса, закрыв глаза.

За-азноблю его, по-овысушу... —

уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки... И вдруг, изменив темп песни и повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы:

Суше ветра, су-уше буйного,
Суше той травы коше-оние...
Ой, коше-ные, просушенные...

Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные, полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспоминал ее ласки

и думал:

«И откуда она, такая? Даже боязно с ней...»

Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бабенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородастое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости.

Эх, – ты восчувствуй, добрый молодец! —

тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра, еще выше вскинув голову, закончила песню:

Какова тоска любо-овная-а-а!

Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой.

– Что, хороша песня?..

– Славная! – сказал Фома, улыбаясь ей.

– Bravo-o! Bravo, Александра Савельевна! – кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони.

Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила:

– Вот ты мне и подари что-нибудь за песню...

– Ладно, я подарю... – согласился Фома.

– Что?

– Ты скажи...

– Скажу в городе... И, если подаришь, что я хочу, – о, как я тебя любить буду!

– За подарок-то? – спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. – А ты бы просто...

Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала:

– Просто – рано... Я лгать не буду, прямо говорю – люблю за деньги, за подарки... Можно и так любить... да. Ты подожди, – я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно... А пока – не обессудь... мне, по моей жизни, много денег надо...

Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос Званцева:

– Я не могу понять красот этой прославленной русской песни... Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое... Э... это собачьи немощи... Нет веселья, нет шика... Вы послушайте, что и как поет француз! Или – итальянец...

– Позвольте, Иван Николаевич... – возмущенно кричал Ухтищев.

– Я должен с этим согласиться – русская песня однообразна и тускла... – прихлебывая вино, говорил человек с бакенбардами.

Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросало на темную, холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роem темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее – никто не интересовал его из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему...

– Ты чего глазеешь, а? – услышал он строгий возглас Ухтищева.

Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал:

– Я – барыню послушать подошел...

– Хорошо поет?

– Что и говорить! – с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. – Бо-ольшая сила голосу в грудях у них!

Его слова вызвали смех и двусмысленные речи мужчин.

Саша спросила мужика:

– Ты – поешь?

– Как мы поем! – махнул он рукой.

– Какие песни знаешь?..

– Да всякие... я петь люблю... – И он виновато усмехнулся.

– Давай споем со мной.

– Куда нам! Разве вы мне – пара?

– Ну, запевай!

– Как это весело! – воскликнул Званцев, сморщив лицо.

– Если вам скучно – утопитесь!.. – сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами.

– Нет, холодна вода... – ответил Званцев, ежась под ее взглядом.

– А уж пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилым вашим телом...

– Фи, как остроумно! – воскликнул юноша и с презрением добавил: – В России даже кокотки грубы...

Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. Павленька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина.

– Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке, – жалобно говорил Званцев соседу.

Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его.

Он ласково поглядывал на свою подругу, – нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня.

Мужик, стоя около нее, говорил:

– Барыня! Ты бы поднесла мне для-ради храбрости?!

– Фома, поднеси ему стакан!

И, когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала:

– Начинай...

Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул:

Мне не пье-отся и-эх-ни-глотатся-а-а...

Женщина трепетно подхватила:

Ви-ина душа-а не прима-ат...

Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот:

О э-мне пришла-а-а пора-а-а проща-ться-а-а...

А женщина застонала и заплакала:

Ой со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а...

Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел-сказал:

Эх и в чужу сто-рону надоть мне идти...

Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и свежесть вечера, – вокруг стало как будто теплее и лучше; все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба, – сами слезы увлажнили воздух. Тоска души, измученной в борьбе страдания от ран, нанесенных: человеку железной рукой нужды, – все было вложено в простые, грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха.

Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством, близким испугу, песня кипящей волной вливалась ему в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши, – неподвижные, они казались ему огромными и становились все больше. И ему казалось, что поют не двое людей – все вокруг поет, рыдает и трепещет в муках скорби, все живое обнялось крепким объятием отчаяния.

Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался.

– Что – тронуло? – спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика, – он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, как будто не понимал – что случилось?

Было тихо. Все сидели неподвижно, молча.

– Ах, господи! – вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. – Эх, Саша! Мужик! Кто ты такой? – почти крикнул он.

– Степан... – виновато улыбаясь, ответил мужик.

– Как ты поешь, а? – с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте.

– Э-эх, ваше степенство! – вздохнул мужик. – Горе заставит – бык соловьем запоет... А вот барыня с чего поет, так... это уж богу одному известно... а поет она – ложись и помир-рай! Н-ну, – барыня!

– Спет-то очень хорошо! – сказал Ухтищев пьяным голосом.

– Черт знает что! – раздраженно и почти со слезами закричал вдруг Званцев, вскакивая из-за стола. – Я приехал гулять, – я хочу веселиться, а меня отпевают!.. Что за безобразие! Я не хочу больше, – я уезжаю!

– Жан! Я тоже уезжаю... – заявил господин с бакенбардами.

– Васса! – кричал Званцев. – Одевайся!..

– Да, пора ехать, – спокойно сказала Ухтищеву его рыжая

дама. – Холодно... И скоро будет темно...

– Степан! Собирай все, – командовала Васса.

Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недоумевающими глазами и все вздрагивал. Люди, покачиваясь, ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг другу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи.

– Степан! Крикни лошадей...

– А я – выпью еще коньяку, – кто хочет коньяку со мной? – тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку.

Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать.

Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. А они всё расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец поднявшись, объявила:

– Ну, я пьяна...

Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым му-

жик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух и ловя.

– Ах, как это пошло! – раздался капризный возглас Званцева.

Фома почувствовал, что ненавидит его, – его и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство удивления перед нею и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное.

– С-скотина! – визгливо крикнул Званцев.

Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в сторону...

– Ду-урак! – шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев.

Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал:

– Ты! Не тронь его!

– Что-о? – обернулся Званцев к нему.

Фома приподнял плечи, шагнул к нему... И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана:

– В трех местах звено счалено?

– В трех, как же!

– Руби связи...

– А они?..

– Молчи! Руби...

– Да ведь...

– Руби! Тише, – чтобы не заметили!

Мужик взял в руки топор, не торопясь подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и, несколько раз стукнув топором, воротился к Фоме.

– Я, ваше степенство, не в ответе, – сказал он.

– Не бойся...

– Поехали!.. – прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязнью.

Люди на плоту всё еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде.

– Ежели их на караван снесет, – шептал мужик, – на пыжи ткнутся – разобьет вдрызг...

– Молчи... Лодку подашь, догонишь...

– Вот!.. Все-таки люди.

Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по плотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми на плоту из груди его как бы уплывало все тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вды-

хал свежий воздух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом... Воспоминание о ней укололо его, и он громким насмешливым голосом крикнул:

– Эй вы! Прощайте...

Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему и сбились в кучу на середине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание...

И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков, визгливых, полных животного страха, противно-жалобных, а выше всех и всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Званцева:

– Спа-асите...

Кто-то – должно быть, солидный господин с бакенбардами – ревел басом:

– Топят... топят людей...

– Разве вы люди?! – зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его.

Люди в безумии страха металась по плоту; он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлопает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.

– Кланяйтесь ракам! – кричал Фома. Ему все легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше.

– Фома Игнатьевич, – нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев, – смотрите, это опасная шутка!.. Я буду жаловаться!..

– Когда утонешь? Жалуйся! – весело ответил Фома.

– Ты – убийца!.. – рыдая, вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел, – по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами...

Инстинктивно Фома бросился грудью на бревна плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд... Холодные, мокрые пальцы схватили его за руки, темные глаза блеснули перед ним...

Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему...

– Холодно! – сказала Саша, вздрогнув.

Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было

горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.

– Утопить меня хотел? – говорила она, крепко прижимаясь к нему.

– Как это ты хорошо сделала, – бормотал Фома на бегу.

– Ну, и ты не худо выдумал... хоть с виду смирный...

– А те – всё орут!

– Черт с ними! Утонут – мы с тобой в Сибирь пойдем... – сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.

С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались темные человеческие фигуры.

Ночь надвигалась на них.

IX

Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.

– Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!

Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.

– Был бы Фомка сын мой родной – я б его вышколил!

Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношение к отцу становилось теплее. Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.

– Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына – убил бы он Фомку! – говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. – Ведь как расписали? Срам!

– За дело! – сказала Любовь.

– Я не говорю – зря! Облаяли, как и следовало... И кто это разошелся?

– Не все ли вам равно? – спросила девушка.

– Любопытно... Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение... Видимо – сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был...

– Н-ну, он не станет с Фомой гулять! – убежденно сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.

– Ишь ты! Ха-арошие знакомства у тебя, Любка! – юмористически-ядовито сказал Маякин. – Ну, кто это писал?

Ей не хотелось говорить, но отец настаивал, и голос его становился все суше и сердитей. Тогда она беспокойно спросила его:

– А вы ему ничего не сделаете?

– Я? Я ему – голову откушу! Ду-реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ... Сила, черти! А я не губернатор... да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может... Они, как мыши, – грызут помаленьку... н-да! Ну, так кто же это?

– А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой...

– Видал, как же! Так это он? Мышонок!.. И в ту пору видно уже было, что выйдет из него – непутевое... Надо бы мне тогда заняться им... может, человеком стал бы...

Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спро-

сила:

– А разве тот, кто в газетах пишет, не человек?

Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабанил пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:

– Это не люди, а – нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи... Нарвало их везде и все больше нарывает... Порча крови – отчего? От медленности движения... Комары откуда? От болота... В стоячей воде всякая нечисть заводится... И в неустроенной жизни то же самое...

– Вы не то говорите, папаша! – мягко сказала Любовь.

– Это как же – не то?

– Писатели – люди самые бескорыстные... это – светлые личности! Им ведь ничего не надо – им только справедливости, – только правды! Они не комары...

Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.

– Э-эх ты! – со вздохом сказал старик, перебивая ее. – Начиталась! Ты мне скажи – кто они? Неизвестно! Ежов вот – что он такое? Нашему богу – бя! Только правды им надо, – скажете?! Ишь, скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, может быть, каждый мол-

ча ищет? Ты мне поверь – бескорыстным человек не может быть... за чужое он не станет биться... а ежели бьется – дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел... за свое кровное... тогда он – добьется! Правда! Я почти сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу... вот пред тобой моя рожа, а предо мной – на самоваре вон – тоже моя, но другая... Вот газеты эти самоварную рожу всему и придают, а настоящей не видят... А ты им веришь... Я знаю – в самоваре моя рожа испорчена.

– Папаша! – тоскливо воскликнула Любовь. – Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.

– А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот те и не защищают твоего интересу! Да и моего не защищают... Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?

– Нет, папаша, это все – не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую – это не так! – говорила Любовь почти с отчаянием.

– То самое! – твердо сказал старик. – Смутилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось! Все набекрень живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет... Орут только все на разные голоса. А кому чего надо – никто не понимает! Туман на всем... туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено – от этого человек не живет, а гниет и воняет...

– Что же надо делать? – спросила Любовь, облакачиваясь на стол и наклоняясь к отцу.

– Все! – азартно крикнул старик. – Все делай!.. Валяй, кто во что горазд! А для того – надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он – все может и сотворен для полного распоряжения жизнью, – дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, – зарвется человек выше своих ушей и пером полетит – и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испускать...

Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:

– А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и – вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? – И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь: – Ну, так теперь вы, такие-сякие, – молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе-хе-хе!

Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то...

– Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, – жизнь на свой лад, по-умному и устроят... Не шаля-валя пойдет дело, а – как по нотам! Не доживешь до этого, жаль!..

На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, – падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.

– Папаша! – вдруг спросила она старика, повинувшись внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. – Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?

Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:

– Это что за разговор?

– Разве нельзя говорить про него? – тихо и смущенно сказала Любовь.

– Не хочу я о нем говорить... И тебе не советую! – Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову.

Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:

– Тараска – тоже нарыв... Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас – муть в башках... Тараска... Лет за тридцать ему теперь... пропал он для меня!.. Тупорылый поросенок...

– Что он сделал? – спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика...

– А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может... ежели умен стал... А должно – стал-таки умником... не глупого отца сын... и потерпел немало... Балуют их, нигилистов!.. Мне бы их – я бы им указал дело... В пустыни! В пустынные места – шагом марш!.. Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков... Ну-те-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили – чему вы научились? Пожалуйте должок... Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы – отдай! Человеком пренебрегать нельзя, – в тюрьму его посадить – мало! Ты переступил закон да и барин? Нет, ты мне поработай... От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без поль-

зы пропадад – нельзя этого допускать!.. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет – так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек – никогда не дрянь... Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы... Вот теперь Фомка... Кто это там лезет, взгляни-ка!

Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан «Ермака». Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:

– Что случилось?

– Так что – я к вам! – сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.

– Ну, вижу, ко мне... В чем дело? Где пароход?

– Пароход – там! – Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.

– Где, черт? Говори – что случилось? – гневно закричал старик.

Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:

– Баржу № 9 разбили. Человеку спину перешибли, – а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп.

– Та-ак! – зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. – Н-ну, Ефимушка, сдери же я с тебя шкуру...

– Это не я! – быстро сказал Ефим.

– Не ты? – крикнул старик и весь затрясся. – Кто?

– Сами хозяин...

– Фомка?! А ты, ты что?

– Я – в люке лежал...

– А-а! Ты ле-жал...

– Связанный...

– Что-о? – взвизгнул старик тонким голосом.

– Позвольте по порядку... Так что они были выпимши и кричат: «Ступай прочь! я сам буду командовать!» Я говорю: «Не могу! Как я – капитан...» – «Связать, говорят, его!» И, связавши, спустили меня в люк, к матросам... А как сами были выпимши, то и захотели пошутить... Встречу нам шел воз... шесть порожних барж под «Черногорцем». Фома Игнатич и загородили им путь... Свистали те... не раз... надо говорить правду – свистали!

– Н-ну?

– Ну, и не справились... две передние навалило на нас... как они вдарили в борт нашей, мы и вдребезги... И они обе разбились... А нам куда горше пришлось...

Маякин встал со стула и засмеялся дребезжащим злым смехом. А Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:

– Характер у них очень уж крупный... Тверезые они больше всё молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины – и взовьются... Так что – в ту пору они и себе и делу не хозяин, а лютый враг – извините! Я хочу уйти,

Яков Тарасович! Мне без хозяина – не свично, не могу я без хозяина жить...

– Молчать! – сурово сказал Маякин. – Где Фома?

– Там, на месте... Они тотчас опосля этого случая пришли в себя и тут же послали за рабочими... Поднимать будут баржу... чай, уж и начали...

– Один он там? – спросил Маякин, опуская голову.

– Не... совсем... – тихо ответил Ефим, искоса посмотрев на Любовь. – Барыня при них... черная такая... Вроде как не в своем уме женщина... – вздыхая, сказал Ефим. – Все поет... очень хорошо поет... соблазн большой!

– Я тебя про нее не спрашиваю! – злобно закричал Маякин. Морщины лица его болезненно сморщились, и Любви показалось, что отец заплачет сейчас...

– Успокойтесь, папаша! – ласково попросила она. – Может быть, убыток невелик...

– Невелик? – звонко крикнул Яков Тарасович. – Что ты, дура, понимаешь! Разве баржа разбилась?! Эх ты! Человек разбился! Вот оно что! А ведь он – нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!

Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому...

...Фома в это время был верст за четыреста в деревенской избе, на берегу Волги. Он только что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена, смотрел угрюмо в окно, на небо, покрытое серыми, лохматыми тучами.

Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят, – ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое... и в себе он чувствовал такое же... Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы.

Ему казалось, что он упал в мутный, горячий поток, его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, – охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день – новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду, и кто-то целовал ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, как лягушки... Целовал и с плачем просил не убивать... Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней... Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела:

Так будем же жить, пока можно...

А там – хоть трава-а не расти!

...Все эти люди, как и он, охвачены тою же темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им – боязно, должно

быть, заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено-сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже все это делал. Теперь ему казалось, что делал он все это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни.

Среди сутолоки кутежей, в толпе людей, смятенных буйными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя, — одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом, и все ее движения были одинаково уверенны, точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж; она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково: с извозчиком, лакеем и матросом тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими и с ним, Фомой. Она была красивее и моложе Пелагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны... Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза.

Как-то раз Фома сказал ей:

— Однако сколько мы с тобой денег-то посеяли.

Она взглянула на него и спросила:

– А куда их беречь?

«Куда, в самом деле?» – подумал Фома, удивленный тем, что она так просто рассуждает.

– Ты кто такая? – спросил он ее в другой раз.

– Разве забыл, как меня зовут?

– Ну, вот еще!

– Так чего ж тебе надо?

– Я насчет происхождения спрашиваю...

– А! Ну, ярославская я, – из Углича, мещанка... Арфистка... Что же, – слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?

– Разве я узнал? – усмехаясь, спросил Фома.

– Мало тебе! А больше – я ничего не скажу... На что? Все из одного места родом – и люди и скоты... Пустяки все эти разговоры... Ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня?

В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское и все страшно напились. Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней «русскую», устал, бросился за борт и едва не утонул.

Теперь, вспоминая это, – и многое другое, – он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые, тягучие мысли. Как будто все, что он пережил за это время, скрутилось

в нем в клубок тяжелый и сырой, и вот теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие, серые нити.

«Что это со мной происходит? – думал он. – Кто я такой?»

Его поразил этот вопрос, и он остановился над ним, пытаясь додуматься – почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут? Ему стало еще более совестно от этой мысли, он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.

– Тише!.. – сквозь сон сказала она.

– Ну, ладно, не велика барыня! – пробормотал Фома.

– Что?

– Ничего...

Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнув, заговорила лениво:

– Видела во сне, будто опять арфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая, грязная собака, оскалила зубы и ждет, когда я кончу... А мне – страшно ее... и знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь... и вот я все пою, пою... и вдруг будто не хватает у меня голоса... Страшно! А она – щелкает зубами... К чему это?..

– погоди болтать! – угрюмо остановил ее Фома. – Ты вот что скажи: что ты про меня знаешь?

– А вот знаю, что проснулся ты, – не поворачиваясь к нему, ответила она.

– Это верно – проснулся я, – задумчиво молвил Фома и,

закинув руки за голову, продолжал: – Оттого тебя и спрашиваю – какой я, по-твоему, человек?

– Похмельный, – зевнув, ответила Саша.

– Александра! – просительно воскликнул Фома. – Не бабуй! Ты скажи по совести, что ты обо мне думаешь?

– Ничего не думаю! – сухо ответила она.

Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим, равнодушным голосом:

– Скажи ему! С какой это стати стану я думать о всяком? Мне о себе подумать и то – некогда... А может, не хочется...

Фома сухо засмеялся и сказал:

– Мне бы не хотеть ничего!..

Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря:

– Мудришь ты... Смотри – добра от этого тебе не будет... Ничего я не могу сказать про тебя... Ну, вот скажу я тебе – других ты лучше... Что же из этого будет?

– А почему лучше? – задумчиво спросил Фома.

– Да – так! Песню хорошую поют – плачешь ты... подлость человек делает – бьешь его... С женщинами – прост, не охальничаешь над ними... Ну, и удалым можешь быть...

Все это не удовлетворяло Фому.

– Не то ты говоришь! – тихо сказал он.

– Ну, я не знаю, чего тебе надо... Баржу поднимут – что будем делать?

– Что нам делать? – спросил Фома.

– В Нижний поедem или в Казань?

– Зачем?

– Кутнем...

– Не хочу я больше кутить...

Оба они долго молчали, не глядя друг на друга.

– Тяжелый у тебя характер, – заговорила Саша. – Скучный.

– Пьянствовать я больше не буду! – твердо сказал Фома.

– Врешь! – возразила Саша спокойно.

– Вот увидишь! Ты что думаешь – хорошо так жить?

– Увижу.

– Нет, ты скажи – хорошо?

– А – что лучше?

Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал:

– Экие у тебя слова – противные!..

– И тут не угодила! – усмехнувшись, молвила Саша.

– Нар-род! – говорил Фома, болезненно сморщив лицо. – Живут тоже... а как? Лезут куда-то... Таракан ползет – и то знает, куда и зачем ему надо, а ты – что? Ты – куда?..

– погоди! – спокойно остановила его Саша. – Тебе до меня какое дело? Ты от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!

– В ду-ушу! – презрительно протянул Фома. – В какую душу?

Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную

одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.

– Душа! – воскликнул он, добиваясь своего. – Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе – огонь горит... стыд в ней...

Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.

– Что смотришь? – спросил Фома.

– Ты это зачем говоришь? – ответила она ему, не спуская с него глаз.

В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость пред ней и уже без задора в голосе сказал:

– Как же не говорить?

– Э-эх ты! – вздохнула Саша и снова принялась одеваться.

– А что я?

– Да так... Ровно ты от двух отцов родился... Знаешь ты, что я заметила за людьми?

– Ну?

– Который человек сам за себя отвечать не может, значит – боится он себя, значит – грош ему цена!

– Это ты про меня? – спросил Фома, помолчав.

Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким, глухим голосом человеку,

лежавшему у ног ее:

– О душе моей ты не смеешь говорить... Нет тебе до нее дела! Я – могу говорить! Я бы, захотевши, сказала всем вам – эх как! Есть у меня слова про вас... как молотки! Так бы по башкам застукала я... с ума бы вы посходили... Но – словами вас не вылечишь... Вас на огне жечь надо, вот как скоророды в чистый понедельник выжигают...

Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и, когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее, – женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала:

– Не смотри, что я гулящая! И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет... Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас! От злобы и молчу... потому – боюсь, что, если скажу ее, – пусто в душе будет... жить нечем будет!..

Теперь она снова нравилась ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице сказал ей:

– И я тоже чувствую – растет у меня в душе что-то... Эх, заговорю и я своими словами, придет время.

– Против кого это? – небрежно спросила Саша.

– Против всех! – воскликнул Фома, вскакивал на ноги. – Против фальши!.. Я спрошу...

– Спроси-ка: самовар готов? – равнодушно приказала ему Саша.

Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:

– Пошла к черту! Спрашивай сама...

– Чего ты лаешь?

И она ушла из избы...

...Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрытая бурыми волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:

– Идет – идет – идет!

У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромаждены лесами из толстых бревен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:

– Идет – идет – идет!

К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, везде мелькали большие руки с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бод-

рый шум: пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо кряхтели бревна, раненные топорами; болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.

– Ре-ебя-а-тушки, бе-ерем, давай!

– Разуда-алый еще-о разок!.. – просительно выводил кто-то высоким голосом...

Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать – заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам – никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтоб подогнать их, показать им пример.

Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шуточки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и

деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

«Счастливым, должно быть...» – думал Фома. Эта мысль вызывала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу; все были бодро-веселы и – жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что ведь вот – для него все это делается, а, однако, он тут ни при чем...

«Где же мое место? – угрюмо думалось ему. – Где мое дело?..»

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью в словах:

– Всё изготовили, Фома Игнатьич, всё теперь как следоват... Благословясь – начать бы!..

– Начинай... – кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону от пронизательного взгляда узких глаз мужика.

– Вот и слава тебе, господи! – сказал подрядчик, неторопливо застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно поворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко

крикнул: – По-о местам, ребятаушки!

Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки.

– Смотри, ребята! – раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика. – Всё ли как быть надо? Придет пора бабе родить – рубах неколи шить... Ну – молись богу!

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знаменем креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:

– Господи, благослови!.. Пресвятая богородица... Никола Угодник...

Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему, как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:

– Попросить бы и вам господа-то...

– Ты знай свое дело, – меня не учи! – сердито взглянув на него, ответил Фома.

Чем дальше шло дело – тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно-уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтоб их постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в голове его мелькала

злая мысль:

«Может, еще цепи порвутся...»

– Слушай! – кричал подрядчик. И вдруг, всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал: – По-о-оше-о-ол!

Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбужденно и с напряжением закричали:

– По-оше-ол! Иде-от...

Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рев рабочих покрывал собой все звуки.

– Ве-есь по-ошел, весь пошел – поше-ол... – пели они стройно и торжествуя.

А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика:

– Ребят-ушки-и! Разо-ом... разо-ом...

Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими

прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.

– Разо-ом! Разо-ом!.. – кричал он диким голосом.

Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его все растет. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шел навстречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки. Каждый шаг вперед все больше возбуждал его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь, – опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими:

– Ве-есь по-ошел, весь пошел, поше-ол...

– Сто-ой! Крепи! Стой, ребята!..

Фому толкнуло в грудь и откинуло назад...

– С благополучным окончанием, Фома Игнатьич! – по-

здравлял его подрядчик, и морщины дрожали на лице его радостными лучами. – Слава тебе, господи! Устали?

Холодный ветер дул в лицо Фомы. Довольный, хвастливый шум носился вокруг него; ласково переругиваясь, веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его. Он растерянно улыбался: возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны.

– Сто семьдесят тысяч пуд ровно редьку из грядки выдернули!

Фома, стоя на гряде каната, смотрел через головы рабочих и видел: среди барж, борт о борт с ними, явилась третья, черная, скользкая, опутанная цепями. Всю ее покорило, она точно вспухла от какой-то страшной болезни и, немощная, неуклюжая, повисла над водой между своих подруг, опираясь на них. Сломанная мачта печально торчала посреди нее; по палубе текли красноватые струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубе лежали груды железа, мокрые обломки дерева.

– Подняли? – спросил Фома, не зная, что ему сказать при виде этой безобразной тяжелой массы, и снова чувствуя обиду при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять из воды эту грязную, разбитую уродину, он так вскипел душой, так обрадовался... – Что она?.. – неопределенно сказал Фома подрядчику.

– Ничего! Разгрузить скорее да человечков двадцать ар-

тельку плотников на нее спустить – они ее живо в образ приведут! – утешающим голосом говорил подрядчик.

А русский парень, широко и весело улыбаясь в лицо Фомы, спрашивал:

– Водчонка-то будет?

– Успеешь! – сурово сказал ему подрядчик. – Видишь – устал человек...

Тогда мужики заговорили:

– Как не устать!

– Легкое ли дело!

– С непривычки, известно, устанешь...

– С непривычки и кашу есть трудно...

– Не устал я... – хмуро сказал Фома, и снова раздались почтительные возгласы мужиков, все плотнее обступавших его:

– Работа, ежели в охоту кому, – дело приятное.

– Та же игра...

– Вроде как с бабой побаловаться...

Только русский парень твердо стоял на своем:

– Ваше степенство! На ведерчко бы, а? – говорил он, улыбаясь и вздыхая.

Фома смотрел на бородатые лица пред собой и чувствовал в себе желание сказать им что-нибудь обидное. Но в голове его все как-то спуталось, он не находил в ней никаких мыслей и наконец, не отдавая себе отчета в словах, сказал с сердцем:

– Вам бы все пьянствовать только! Вам все равно, что ни делать! А вы бы подумали – зачем? К чему?.. Эх вы! Понимать надо...

На лицах людей, окружавших его, выразилось недоумение; синие и красные бородатые фигуры начали вздыхать, почесываться, переминаясь с ноги на ногу. Иные, безнадежно посмотрев на Фома, отворотились в сторону.

– Н-да! – вздохнув, сказал подрядчик. – Это... не мешает! То есть – чтобы подумать! Это слова... от ума!

– Разве наше дело понимать? – сказал русский парень, тряхнув головой. Ему уже скучно стало говорить с Фомой; он заподозрил его в нежелании дать на водку и сердился немножко.

– Вот то-то! – поучительно сказал Фома, довольный тем, что парень уступил ему, и не замечая косых, насмешливых взглядов. – А кто понимает... тот чувствует, что нужно – вечную работу делать!

– Для бога, значит! – пояснил подрядчик, оглядывая мужиков, и, благочестиво вздохнув, добавил: – Это верно, – ох, верно это!

А Фома воодушевлялся желанием говорить что-то правильное и веское, после чего бы все эти люди отнеслись к нему как-нибудь иначе, – ему не нравилось, что все они, кроме русого, молчат и смотрят на него недружелюбно, исподлобья, такими скучными, угрюмыми глазами.

– Нужно такую работу делать, – говорил он, двигая бро-

вьями, – чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это богородские мужики сделали... да!..

Русый парень с удивлением взглянул на Фому и спросил:

– Волгу, что ли, нам выпить? – А потом фыркнул, покачал головой и заявил: – Не сможем мы этого, – полопаемся все!..

Фома сконфузился от его слов и посмотрел вокруг себя: мужики улыбались хмуро, пренебрежительно. Эти улыбки кололи его, как иглы.

Какой-то серьезный мужик с большой сивой бородой, до этой поры не открывавший рта, вдруг открыл его, подвинулся к Фоме и медленно выговорил:

– А ежели нам и Волгу досуха выпить да еще вот этой горой закусить – и это забудется, ваше степенство. Все забудется, – жизнь-то длинна... Таких делов, чтобы высоко торчали, – не нам делать...

Сказал и, сплюнув под ноги себе, равнодушно отошел от Фомы, войдя в толпу, как клин в дерево. Его речь окончательно пришибла Фому; он чувствовал, что мужики считают его глупым и смешным. И, чтобы спасти свое хозяйское значение в их глазах, чтобы снова привлечь к себе уже утомленное внимание мужиков, он напыжился, смешно надул щеки и внушительным голосом бухнул:

– Жертвую, – на три ведра!

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное впечатление. Мужики почтительно расступились перед Фомой, низко кланяясь ему и с веселыми, бла-

годарными улыбками благодаря его за щедрость дружным, одобрительным гулом.

– Перемахните-ка меня на берег, – сказал Фома, чувствуя, что вновь возникающее возбуждение недолго продержится в нем. Какой-то червь сосал его сердце.

– Тошно мне! – сказал он, придя в избу, где Саша, в нарядном красном платье, хлопотала около стола, расставляя на нем вина и закуски. – Александра! Хоть бы ты что-нибудь сделала со мной, что ли... а?

Она внимательно посмотрела на него и, севши на лавку плечом к плечу с ним, сказала:

– Коли тошно – значит, хочется чего-нибудь... Чего тебе надо?

– Не знаю я! – грустно качнув головой, ответил Фома.

– А ты подумай...

– Не умею я думать...

– Эх ты, дитяtko! – тихо и пренебрежительно сказала Саша, отодвигаясь от него. – Лишняя тебе голова-то...

Фома не уловил ее тона, не заметил движения. Упираясь руками в лавку, он наклонился вперед, смотрел в пол и говорил, качаясь всем корпусом:

– Иной раз думаешь, думаешь... всю тебе душу мысли, как смолой, облепят... И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то... В душе тогда – как в погребке темно. Даже страшно... как будто ты не человек, а овраг бездонный...

Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво запела:

Эх, и дунет ветер – туман со моря пойдет...

– Кутить я не хочу... Все одно и то же: и люди, и забавы, и вино... Злой я становлюсь – так бы всех и бил... Не нравятся мне люди... Никак не поймешь – зачем живут?

Ой, и тошно без тебя мне, милый, жить... —

пела Саша, глядя в стену перед собой. А Фома все качался и говорил:

– Однако – все живут, шумят, а я только глазами хлопаю... Мать, что ли, меня бесчувственностью наградила? Крестный говорит – она как лед была... И все ее тянуло куда-то... Пошел бы к людям и сказал: «Братцы, помогите! Жить не могу!» Оглянешься – некому сказать... Все – сволочи!

Фома крепко, неприлично выругался и умолк. Саша, оборвав песню, отодвинулась еще дальше от него. Бушевал ветер, бросая пыль в стекла окон. На печи тараканы шуршали, ползая в лучине. На дворе жалобно мычал теленок.

Саша с усмешкой взглянула на Фому и сказала:

– Вон еще один несчастненький мычит... Шел бы ты к нему; может, споетесь... – И, положив руку на его кудрявую голову, она шутливо толкнула ее. – Чего ты скрипишь? Гулять тошно – делом займись...

– Господи, – качнул головой Фома, – трудно говорить так, чтобы понимали тебя... трудно! – И с раздражением он почти закричал: – Какое дело? Что оно, дело? Только звание одно – дело, а так, ежели вглубь, в корень посмотреть, – бес-тоlochь! Какой прок в делах? Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой... Обман один – дела эти все... Вижу я дельцов – ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было... Прячутся, дьяволы... Ну-ка освободи их от суеты этой, – что будет? Как слепые, начнут соваться туда и сюда... с ума посходят! Ты думаешь, есть дело – так будет от него человеку счастье? Нет, врешь! Тут – не все еще!.. Река течет, чтобы по ней ездили, дерево растет для пользы, собака – дом стережет... всему на свете можно найти оправдание! А люди – как тараканы – совсем лишние на земле... Всё для них, а они для чего? В чем их оправдание?

Фома торжествовал. Ему показалось, что он нашел что-то хорошее для себя и сильное против людей. Он громко смеялся.

– Голова у тебя не болит? – заботливо спросила Саша, испытующим взглядом глядя в лицо ему.

– Душа у меня болит! – азартно воскликнул Фома. – И оттого болит, что – не мирится! Давай ей ответ, как жить? Для чего? Вот – крестный, – он с умом! Он говорит – жизнь делай! А все говорят – заела нас жизнь!

– Слушай! – серьезно сказала Саша. – По-моему, надо те-

бе жениться – вот и все!

– Зачем? – передернув плечами, спросил Фома.

– Хомут тебе надо...

– Ладно! Живу с тобой... Чай, ведь все вы одинаковы?

Одна другой не слаще... До тебя была у меня одна, – из таких же. Нет, та по своей охоте... понравился я ей, она и... Хорошая была... А впрочем, – все одно, то же самое, совсем как у тебя, хоша ты ее краше... Но – барыня одна приглянулась мне... настоящая барыня, дворянка! Говорили, гуляет... До нее не достиг... Н-да-а... Умная, образованная, в красоте жила... Я, бывало, думал – вот где отведаю настоящего-то!.. Не достиг... Может, если бы удалось, – другой бы оборот все приняло... Тянуло меня к ней... А теперь вот – залил ее вином – забываю... И это нехорошо... Эх ты, человек! Подлец ты, если по совести сказать...

Фома замолчал, задумался. А Саша встала со скамьи и прошлась по избе, покусывая губы. Потом остановилась против него и, закинув руки на голову, сказала:

– Знаешь что? Уйду я от тебя...

– Куда? – спросил Фома, не поднимая головы.

– Не знаю... все равно! Лишнее ты говоришь... Скучно с тобой...

Фома поднял голову, взглянул на нее и уныло засмеялся:

– Ну-у? Неужто?

– Я тоже из таких... тоже – придет мое время, – задумаюсь... И тогда пропаду... Но теперь мне еще рано... Нет, я

еще поживу... а потом уж – будь что будет!

– А я – тоже пропаду? – равнодушно спросил Фома, уже утомленный своими речами.

– А как же! – спокойно и уверенно ответила Саша. – Такие люди пропадают...

Они с минуту молчали, глядя в глаза друг другу.

– Что же будем делать? – спросил Фома.

– Обедать надо.

– Нет, вообще? Потом?

– Н-не знаю...

– Так уходишь ты?

– Уйду... Давай еще покутим на прощанье! Поедем в Казань да там – с дымом, с полымем – и кутнем. Отпою я тебя...

– Это можно! – согласился Фома. – На прощанье – следует!.. Эх ты... дьявол! Житье! Слушай, Сашка, про вас, гулящих, говорят, что вы до денег жадные и даже воровки...

– Пускай говорят... – спокойно сказала Саша.

– Разве тебе не обидно это? – с любопытством спросил Фома. – Вот ты – не жадная, – выгодно тебе со мной, богатый я, а ты – уходишь... Значит – не жадная...

– Я-то? – Саша подумала и сказала, махнув рукой: – Может, и не жадная – что в том? Я ведь еще не совсем... низкая, не такая, что по улицам ходят... А обижаться – на кого? Пускай говорят, что хотят... Люди же скажут, а мне людская святость хорошо известна! Выбрали бы меня в судьи – только мертвого оправдала бы!.. – И, засмеявшись нехоро-

шим смехом, Саша сказала: – Ну, будет пустяки говорить... садись за стол!..

...На другой день утром Фома и Саша стояли рядом на трапе парохода, подходившего к пристани на Устье. Огромная черная шляпа Саши привлекала общее внимание публики ухарски изогнутыми полями и белыми перьями; Фоме было неловко стоять рядом с ней и чувствовать, как по его смущенному лицу ползают любопытные взгляды. Пароход шипел и вздрагивал, подваливая бортом к конторке, усеянной ярко одетой толпой народа, и Фоме казалось, что он видит среди разнообразных лиц и фигур кого-то знакомого, кто как будто все прячется за спины других, но не сводит с него глаз.

– Пойдем в каюту! – беспокойно сказал он своей подруге.

– А ты не учишь грехи от людей прятать, – усмехаясь, ответила Саша. – Знакомого, что ли, увидал?

– Кто-то караулит меня...

Всмотревшись в толпу на пристани, он изменился в лице и тихо добавил:

– Это крестный...

У борта пристани, втиснувшись между двух грузных женщин, стоял Яков Маякин и с ехидной вежливостью помахивал в воздухе картузом, подняв кверху иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лысина блестела, и глазки сверлили Фому, как буравчики,

– Н-ну, ястреб! – пробормотал Фома, тоже сняв картуз и

кивая головой крестному.

Его поклон доставил Маякину, должно быть, большое удовольствие, – старик как-то весь извился, затопал ногами, и лицо его осветилось ядовитой улыбкой.

– Видно, будет мальчику на орешки! – подзадоривала Саша.

Ее слова вместе с улыбкой крестного точно угли в груди Фомы разожгли.

– Поглядим, что будет... – сквозь зубы сказал он и вдруг оцепенел в злом спокойствии.

Пароход пристал, люди хлынули волной на пристань. За-тертый толпою Маякин на минуту скрылся из глаз и снова вынырнул, улыбаясь торжествующей улыбкой. Фома, сдвинув брови, в упор смотрел на него и подвигался навстречу ему, медленно шагая по мосткам. Его толкали в спину, навалились на него, теснили – все это еще более возбуждало. Вот он столкнулся со стариком, и тот встретил его вежливым поклоном и вопросом:

– Куда изволите путешествовать, Фома Игнатьич?

– По своим делам, – твердо ответил Фома, не здороваясь с крестным.

– Похвально, сударь мой! – весь просияв, сказал Яков Тарасович. – Барынька-то с перьями как вам приходится?

– Любовница, – громко сказал Фома, не опуская глаз под острым взглядом крестного.

Саша стояла сзади него и из-за плеча спокойно разгляды-

вала маленького старичка, голова которого была ниже подбородка Фомы. Публика, привлеченная громким словом Фомы, посматривала на них, чуя скандал. Маякин, тотчас же почуяв возможность скандала, сразу и верно определил боевое настроение крестника. Он поиграл морщинами, пожевал губами и мирно сказал Фоме:

– Надо мне с тобой побеседовать... В гостиницу пойдём?

– Могу... ненадолго...

– Некогда, значит? Видно, еще баржу разбить торопишься? – не стерпев, сказал старик.

– А что ж их не бить, если бьются? – задорно, но твердо возразил Фома.

– А конечно!.. Не ты наживал – тебе ли жалеть? Ну, пойдём... Да нельзя ли барыньку-то... хоть утопить на время? – тихо сказал Маякин.

– Поезжай, Саша, в город, возьми номер в Сибирском подворье, – я скоро приеду! – сказал Фома и, обратясь к Маякину, с удалством объявил: – Готов!..

До гостиницы оба шли молча. Фома, видя, что крестный, чтоб не отстать от него, подпрыгивает на ходу, нарочно шагал шире, и то, что старик не может идти в ногу с ним, поддерживало и усиливало в нем буйное чувство протеста, которое он и теперь уже едва сдерживал в себе.

– Человечек! – ласково сказал Маякин, придя в зал гостиницы и направляясь в отдаленный угол. – Поддай-ка мне клюквенного квасу бутылочку...

– А мне – коньяку, – приказал Фома.

– Во-от... При плохих картах всегда с козыря ходи! – насмешливо посоветовал ему Маякин.

– Вы моей игры не знаете! – сказал Фома, усаживаясь за стол.

– Полно-ка! Многие так играют.

– Я так играю, что – или башка вдребезги, или стена пополам! – горячо сказал Фома и пристукнул кулаком по столу...

– Не опохмелялся еще нынче? – спросил Маякин с улыбочкой.

Фома сел на стуле плотнее и с искаженным лицом заговорил:

– Папаша крестный!.. Вы умный человек... я уважаю вас за ум...

– Спасибо, сынок! – поклонился Маякин, привстав и опершись руками о стол.

– Я хочу сказать, что мне уже не двадцать лет... Я не маленький.

– Еще бы те! – согласился Маякин. – Не мал век ты прожил, что и говорить! Кабы комар столько время жил – с курицу бы вырос...

– Погодите шутки шутить!.. – предупредил Фома и сделал это так спокойно, что Маякина даже повело всего и морщины на его лице тревожно задрожали. – Вы зачем сюда приехали? – спросил Фома.

– А... набезобразил ты тут... так я хочу посмотреть – мно-

го ли? Я, видишь ли, родственником тебе довожусь... и один я у тебя...

– Напрасно вы беспокоитесь... Вот что, папаша... Или вы дайте мне полную волю, или все мое дело берите в свои руки, – все берите! Все, до рубля!

Это вырвалось у Фомы совершенно неожиданно для него; раньше он никогда не думал ничего подобного. Но теперь, сказав крестному эти слова, он вдруг понял, что, если б крестный взял у него имущество, – он стал бы совершенно свободным человеком, мог бы идти, куда хочется, делать, что угодно... До этой минуты он был опутан чем-то, но не знал своих пут, не умел сорвать их с себя, а теперь они сами спадают с него так легко и просто. В груди его вспыхнула тревожная и радостная надежда, он бессвязно бормотал:

– Это всего лучше! Возьмите все и – шабаш! А я – на все четыре стороны!.. Я этак жить не могу... Точно гири на меня навешаны... Я хочу жить свободно... чтобы самому все знать... я буду искать жизнь себе... А то – что я? Арестант... Вы возьмите все это... к черту все! Какой я купец? Не люблю я ничего... А так – ушел бы я от людей... работу какую-нибудь работал бы... А то вот – пью я... с бабой связался...

Маякин смотрел на него, внимательно слушал, и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменело. Над ними носился трактирный, глухой шум, проходили мимо них какие-то люди, Маякину кланялись, но он ничего не видал, упорно разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбав-

шеся растерянно, радостно и в то же время жалобно...

– Э-эх, ежевика ты моя, кисла ягода! – вздохнув, сказал он, перебивая речь Фомы. – Заплутался ты. Плетешь – несуразное... Надо понять – с коньяку ты это или с глупости?

– Папаша! – воскликнул Фома. – Ведь было так... бросали всё имение люди!

– Не при мне было... Не близкие мне люди! – сказал Ма-якин строго. – А то бы я им – показал!

– Многие угодниками стали, как ушли...

– Мм... У меня не ушли бы!.. И зачем я с тобой серьезно говорю? Тьфу!..

– Папаша! Почему вы не хотите? – с сердцем воскликнул Фома.

– Ты слушай! Если ты трубочист – лезь, сукин сын, на крышу!.. Пожарный – стой на каланче! И всякий род человека должен иметь свой порядок жизни... Телятам же – помедвежьи не реветь! Живешь ты своей жизнью и – живи! И не лопочи, не лезь, куда не надо! Делай жизнь свою – в своем роде!

Из темных уст старика забила трепетной, блестящей струей знакомая Фоме уверенная, бойкая речь. Он не слушал, охваченный думой о свободе, которая казалась ему так просто возможной. Эта дума впиалась ему в мозг, и в груди его все крепло желание порвать связь свою с мутной и скучной жизнью, с крестным, парходами, кутежами – со всем, среди чего ему было душно жить.

Речь старика долетала до него как бы издали; она сливалась со звоном посуды, с шарканьем ног лакеев по полу, с чьим-то пьяным криком.

– И вся эта чепуха в башке у тебя завелась – от молодой твоей ярости! – говорил Маякин, постукивая рукой по столу. – Удальство твое – глупость; все речи твои – ерунда... Не в монастырь ли пойти тебе?

Фома слушал и молчал. Шум, кипевший вокруг него, как будто уходил куда-то все дальше. Он представлял себя в середине огромной, суетливой толпы людей, которые неизвестно для чего мнут, лезут друг на друга... глаза у них жадно вытаращены, люди орут, падают, давят друг друга, все толкуются на одном месте. Ему оттого плохо среди них, что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова. И если вырваться из середины их на свободу, на край жизни, да оттуда посмотреть на них, – тогда все поймешь и увидишь, где среди них твое место.

– Я ведь понимаю, – уже мягче говорил Маякин, видя Фому задумавшимся, – хочешь ты счастья себе... Ну, оно скоро не дается... Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо над ним спину поломать... да и найдя, – гляди – не поганка ли?

– Так освободите вы меня? – вдруг подняв голову, спросил Фома, и Маякин отвел глаза в сторону от его горящего взгляда. – Дайте вздохнуть... дайте мне в сторону отойти от всего! Я присмотрюсь, как все происходит... и тогда уж... А так – сопыюсь я...

– Не говори пустяков! Что юродствуешь? – сердито крикнул Маякин.

– Ну, – хорошо! – спокойно ответил Фома. – Не хотите вы этого? Так – ничего не будет! Все спущу! И больше нам говорить не о чем, – прощайте! Примусь я теперь за дело! Дым пойдет!..

Фома был спокоен, говорил уверенно; ему казалось, что, коли он так решил, – не сможет крестный помешать ему. Но Маякин выпрямился на стуле и сказал – тоже просто и спокойно:

– А знаешь ты, как я могу с тобой поступить?

– Как хотите! – махнув рукой, сказал Фома.

– Вот. Теперь я так хочу – приеду в город и буду хлопотать, чтобы признали тебя умалишенным и посадили в сумасшедший дом...

– Разве это можно? – недоверчиво, но уже с испугом в голосе спросил Фома.

– У нас, друг милый, все можно!

Фома опустил голову и, исподлобья посмотрев в лицо крестного, вздрогнул, думая: «Посадит... не пожалеет...»

– Если ты серьезно дуришь – я тоже должен серьезно поступать с тобой... Я отцу твоему дал слово – поставить тебя на ноги... И я тебя поставлю! Не будешь стоять – в железо закую... Тогда устоишь... Я знаю – все это у тебя с перепоею... Но ежели ты отцом нажитое озорства ради губить будешь – я тебя с головой накрою... Колокол солью над то-

бой... Шутить со мной очень неудобно!

Морщины на щеках Маякина поднялись кверху, глазки улыбались из темных мешков насмешливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили какой-то странный узор, поднимаясь до лысины. Непреклонно и безжалостно было его лицо.

– Стало быть – нет мне ходу? – угрюмо спросил Фома. – Запираете вы мне пути?

– Ход есть – иди! А я тебя направлю... Как раз на свое место придешь...

Эта самоуверенность, эта непоколебимая хвастливість взорвали Фому. Засунув руки в карманы, чтобы не ударить старика, он выпрямился на стуле и в упор заговорил, стиснув зубы:

– Что вы всё хвалитесь? Чем тебе хвалиться? Сын-то твой где? Дочь-то твоя – что такое? Эх ты... устроитель жизни! Ну, умен ты, – все знаешь: скажи – зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?..

Морщины Маякина дрогнули и опустились книзу, отчего лицо его приняло болезненное, плачущее выражение. Он открыл рот, но ничего не сказал, глядя на крестника с удивлением, чуть ли не с боязнью.

– Молчать, щенок! – тихо сказал он.

Фома встал со стула, кинул картуз на голову себе и с ненавистью оглянул старика.

– Кутить буду! Все прокучу!..

– Ладно, – увидим!..

– Прощай! Герой!.. – усмехнулся Фома.

– До скорого свиданья! – сказал Маякин тихо и как будто задыхаясь.

Яков Маякин остался в трактире один. Он сидел за столом и, наклонясь над ним, рисовал на подносе узоры, макая дрожащий палец в пролитый квас. Острая голова его опускалась все ниже над столом, как будто он не мог понять того, что чертил на подносе его сухой палец.

На лысине у него блестели капли пота, и, по обыкновению, морщины на щеках вздрагивали частой, тревожной дрожью...

Поманив кивком головы пологого, Яков Тарасович спросил его особенно внушительно:

– Что с меня следует?

Х

До ссоры с Маякиным Фома кутил от скуки, полуравнодушно, – теперь он загулял с озлоблением, почти с отчаянием, полный мстительного чувства и какой-то дерзости в отношении к людям, – дерзости, порою удивлявшей и его самого. Он видел, что люди, окружавшие его, трезвые – несчастны и глупы, пьяные – противны и еще более глупы. Никто из них не возбуждал в нем интереса; он даже не спрашивал их имен, забывал, когда и где знакомился с ними, и всегда чувствовал желание сказать и сделать что-нибудь обидное для них. В дорогих, шикарных ресторанах его окружали какие-то проходимцы, куплетисты, фокусники, актеры, разорившиеся на кутежах помещики. Эти люди сначала относились к нему покровительственно, хвастаясь пред ним тонкими вкусами, знанием вин и кушаний, потом подлизывались к нему, занимали деньги, которые он уже занимал под векселя. В дешевых трактирах около него вились ястребами парикмахеры, маркеры, какие-то чиновники, певчие; среди этих людей он чувствовал себя лучше, свободнее, – они были менее развратны, проще понимались им, порою они проявляли здоровые, сильные чувства, и всегда в них было больше чего-то человеческого. Но, как и «чистая публика», – эти тоже были жадны до денег и нахально обирали его, а он видел это и грубо издевался над ними.

Разумеется – были женщины. Физически здоровый, Фома покупал их, дорогих и дешевых, красивых и дурных, дарил им большие деньги, менял их чуть не каждую неделю и в общем – относился к ним лучше, чем к мужчинам. Он смеялся над ними, говорил им заторные и обидные слова, но никогда, даже полупьяный, не мог избавиться от какого-то стеснения пред ними. Все они – самые нахальные и бесстыдные – казались ему беззащитными, как малые дети. Всегда готовый избить любого мужчину, он никогда не трогал женщин, хотя порой безобразно ругал их, раздраженный чем-либо. Он чувствовал себя неизмеримо сильнее женщины, женщина казалась ему неизмеримо несчастнее его. Те, которые развратничали с удальством, хвастаясь своей распущенностью, вызывали у Фомы стыдливое чувство, от которого он становился робким и неловким. Однажды одна из таких женщин, пьяная и озорная, во время ужина, сидя рядом с ним, ударила его по щеке коркой дыни. Фома был полупьян. Он побледнел от оскорбления, встал со стула и, сунув руки в карманы, свирепым, дрожащим от обиды голосом сказал:

– Ты, стерва! Пошла прочь! Другой бы тебе за это голову расколол... А ты знаешь, что я смирен с вами и не поднимается рука у меня на вашу сестру... Выгоните ее к черту!

Саша через несколько дней по приезде в Казань поступила на содержание к сыну какого-то водочного заводчика, кутившему вместе с Фомой. Уезжая с новым хозяином куда-то на Каму, она сказала Фоме:

– Прощай, милый человек! Может, встретимся еще, – одна у нас дорога! А сердцу воли, советую, не давай... Гуляй себе без оглядки, а там – кашку слопал – чашку о пол... Прощай!

Она крепко поцеловала его в губы, причем глаза ее стали еще темнее.

Фома был рад, что она уезжает от него: надоела она ему, и пугало его ее холодное равнодушие. Но тут в нем что-то дрогнуло, он отвернулся в сторону от нее и тихо молвил:

– Может, – не уживешься... тогда опять ко мне приезжай!..

– Спасибо, – ответила она ему и почему-то засмеялась необычным для нее, хрипящим смехом...

Так жил Фома день за днем, лелея смутную надежду отойти куда-то на край жизни, вон из этой сутолоки. Ночами, оставаясь один на один с собой, он, крепко закрыв глаза, представлял себе темную толпу людей, страшную огромностью своей. Столпившись где-то в котловине, полной пыльного тумана, эта толпа в шумном смятении кружилась на одном месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жернов, скрытый под ногами ее, молот ее и люди волнообразно двигались под ним, не то стремясь вниз, чтоб скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жернова.

Фома видел среди толпы знакомые ему лица: вот отец ломит куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всех на пу-

ти своим, прет на все грудью и громогласно хохочет... и исчезает, проваливаясь под ноги людей. Вот, извиваясь ужом, то прыгая на плечи, то проскальзывая между ног людей, работает всем своим сухим, но гибким и жилистым телом крестный... Любовь кричит и бьется, следуя за отцом, то отставая от него, то снова приближаясь. Пелагея быстро и прямо идет куда-то... Вот Софья Павловна стоит, бессильно опустив руки, как стояла она тогда, последний раз – у себя в гостиной... Глаза у нее большие, и страх светится в них. Саша, равнодушная, не обращая внимания на толчки, идет прямо в самую гущу, спокойно глядя на все темными глазами. Шум, вой, смех, пьяные крики, азартный спор слышит Фома; песни и плач носятся над огромной, суевой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи один другому, суются, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носясь, как летучие мыши, над головами людей, и люди жадно протирают к ним руки, брякает золото и серебро, звенят бутылки, хлопают пробки, кто-то рыдает, и тоскливый женский голос поет:

Так будем любить, пока можно-о,
А там – хоть тра-ава не расти!

Эта картина укрепилась в голове Фомы и каждый раз все более яркая, огромная, живая возникала пред ним, возбуж-

дая в груди его неопределимое чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба, и еще многое. Все это вскипало в груди до напряженного желания, – от силы которого он задышался, на глазах его являлись слезы, и ему хотелось кричать, выть зверем, испугать всех людей – остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету жизни что-то свое, сказать какие-то громкие, твердые слова, направить их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывать друг от друга, избить одних, других же приласкать, укорять всех, осветить их каким-то огнем...

Ничего в нем не было – ни нужных слов, ни огня, было в нем только желание, понятное ему, но невыполнимое... Он представлял себя вне котловины, в которой кипят люди; он видел себя твердо стоящим на ногах и – немым. Он мог бы крикнуть людям:

«Как живете? Не стыдно ли?»

Но если они, услышав его голос, спросят:

«А – как надо жить?»

Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям, к жернову. И смехом проводили бы его гибель.

Порой ему казалось, что он сходит с ума от пьянства, – вот почему лезет ему в голову это страшное. Усилием воли он гасил эту картину, но, лишь только оставался один и был не очень пьян, – снова наполнялся бредом, вновь изнемогал под

тяжестью его. Желание свободы все росло и крепло в нем. Но вырваться из пут своего богатства он не мог.

Маякин, имевший от него полную доверенность на управление делом, действовал так, что Фоме чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащих на нем обязанностей. К нему то и дело обращались за платежами, предлагали ему сделки по перевозке грузов, служащие обращались с такими мелочами, которые раньше не касались его, выполняемые ими на свой страх. Его отыскивали в трактирах, расспрашивали его о том, как и что нужно делать; он говорил им, порой совсем не понимая, так это нужно делать или иначе, замечал их скрытое пренебрежение к нему и почти всегда видел, что они делают дело не так, как он приказал, а иначе и лучше. В этом он чувствовал ловкую руку крестного и понимал, что старик теснит его затем, чтоб поворотить на свой путь. И в то же время замечал, что он – не господин в своем деле, а лишь составная часть его, часть неважная. Это раздражало и еще дальше отталкивало от старика, еще сильнее возбуждало его стремление вырваться из дела, хотя бы ценой его гибели. Он с яростью разбрасывал деньги по трактирам и притонам, но это продолжалось недолго – Яков Тарасович закрыл в банках текущие счета, выбрав все вклады. Вскоре Фома почувствовал, что и под векселя дают ему уже не так охотно, как сначала давали. Это задело его самолюбие и совсем возмутило, испугало его, когда он узнал, что крестный пустил в торговый мир слух о том, что он, Фома, –

не в своем уме и что над ним, может быть, придется учредить опеку. Фома не знал пределов власти крестного и не решился посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу; он был уверен, что в торговом мире старик – сила и может сделать все, что захочет. Сначала ему было жутко чувствовать над собой руку Маякина, но потом он помирился с этим и продолжал свою бесшабашную, пьяную жизнь, в которой только одно утешало его – люди. С каждым днем он все больше убеждался, что они – бессмысленнее и всячески хуже его, что они – не господа жизни, а лакеи ее и что она вертит ими, как хочет, гнет и ломает их, как ей угодно.

Так он и жил – как будто шел по болоту, с опасностью на каждом шагу увязнуть в грязи и тине, а его крестный – выюном вился на сухоньком и твердом местечке, зорко следя издали за жизнью крестника.

После ссоры с Фомой Маякин вернулся к себе угрюмо-задумчивым. Глазки его блестели сухо, и весь он выпрямился, как туго натянутая струна. Морщины болезненно съежились, лицо как будто стало еще меньше и темней, и когда Любовь увидала его таким – ей показалось, что он серьезно болен. Молчаливый старик нервно метался по комнате, бросая дочери в ответ на ее вопросы сухие, краткие слова, и, наконец, прямо крикнул ей:

– Отстань! Не до тебя...

Ей стало жалко его, когда она увидала, как тоскливо и уныло смотрят острые, зеленые глаза, и, когда он сел за обе-

денный стол, порывисто подошла к нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая в лицо, ласково и тревожно спросила:

– Папаша! Вам нездоровится – скажите!

Ее ласки были крайне редки; они всегда смягчали одинокого старика, и хотя он не отвечал на них почему-то, но – все ж таки ценил их. И теперь, передернув плечами и сбросив с них ее руки, он сказал ей:

– Иди, иди на свое место... Ишь разбирает тебя Евин зуд...

Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая в глаза его, она с обидой в голосе спросила:

– Почему вы, папаша, всегда так говорите со мной, – точно я маленькая или очень глупая?

– Потому что ты большая, а не очень умная... Н-да! Вот те и весь сказ! Иди, садись и ешь...

Она отошла и молча села против отца, обиженно поджав губы. Маякин ел против обыкновения медленно, подолгу шевыряя ложкой в тарелке щей и упорно рассматривая их.

– Кабы засоренный ум твой мог понять отцовы мысли! – вдруг сказал он, вздыхая с каким-то свистом.

Любовь отбросила в сторону свою ложку и чуть не со слезами в голосе заговорила:

– Зачем обижать меня, папаша? Ведь видите вы – одна я! всегда одна! Ведь понятно вам, как тяжело мне жить, – а никогда вы слова ласкового не скажете мне... И вы ведь

одинок, и вам тяжело...

– Вот и Валаамова ослица заговорила! – усмехнувшись, сказал старик. – Н-ну? Что же дальше будет?

– Горды вы очень, папаша, вашим умом...

– А еще что?

– Это нехорошо!.. Зачем вы меня отталкиваете? Ведь у меня никого нет, кроме вас...

У нее на глазах появились слезы; отец заметил их, и лицо его вздрогнуло.

– Кабы ты не девка была! – воскликнул он. – Кабы у тебя ум был, как... у Марфы Посадницы, примерно, – эх, Любовь! Наплевал бы я на всех... на Фомку... Ну, не реви!

Она вытерла глаза и спросила:

– Что же Фома?

– Бунтует... Ха-ха! Говорит: «Возьмите у меня все имущество, отпустите меня на волю...» Спасаться хочет... в кабаках!.. Вот он что задумал, наш Фома...

– Что же это?.. – нерешительно спросила Любовь.

– Что это? – горячась и вздрагивая, заговорил Маякин. – А это у него или с перепоею, или – не дай бог! – материно... староверческое... И если это кулугурская закваска в нем, – много будет мне с ним бою! Он – грудью пошел против меня... дерзость большую обнаружил... Молод, – хитрости нет в нем... Говорит: «Все пропью!» Я те пропью!

Маякин поднял руку над головой и, сжав кулак, яростно погрозил им.

– Как смеешь? Кто нажил дело, кто его оборудовал? Ты? Отец твой... Сорок лет труда положено, а ты его разрушить хочешь? Мы все должны где дружно стеной, где осторожно, гуськом, один за другим, идти к своему месту... Мы, купцы, торговые люди, веками Россию на своих плечах несли и теперь несем.... Петр Великий был царь божеского ума – он нам цену знал! Как он нас поддерживал? Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу... Вон у меня его повелением напечатанная книга Полидора Виргилия Урбинского об изобретателях вещей... в семьсот двадцатом году печатана... да! Это надо понять!.. Он дал нам ход... А теперь – мы на своих ногах стоим... Ходу нам дайте! Мы фундамент жизни закладывали – сами в землю вместо кирпичей ложились, – теперь нам этажи надо строить... позвольте нам свободы действий! Вот куда наш брат должен курс держать... Вот где задача! Фомка этого не понимает... Должен понять и – продолжать... У него отцовы средства... Я издохну – мои присоединятся: работай, щенок! А он колобродит. Нет, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!

Старик задыхался от возбуждения и сверкающими глазами смотрел на дочь так яростно, точно на ее месте Фома сидел. Любовь пугало его возбуждение.

– Проложен путь отцами – и ты должен идти по нем. Пятьдесят лет я работал – для чего?.. Дети мои! Где у меня дети?

Старик уныло опустил голову, голос его оборвался, и так глухо, точно он говорил куда-то внутрь себя, он сказал:

– Один – пропал... другой – пьяница!.. Дочь... Кому же я труд свой перед смертью сдам?.. Зять был бы... Я думал – перебродит Фомка, наточится, – отдам тебя ему и с тобой всё – на! Фомка негоден... А другого на место его – не вижу... Какие люди пошли!.. Раньше железный был народ, а теперь – никакой прочности не имеют... Что это? Отчего?

Маякин с тревогой смотрел на дочь, она молчала.

– Скажи, – спросил он ее, – чего тебе надо? Как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала – что тебе нужно?

Вопросы сыпались на голову Любви неожиданно для нее, она смутилась. Она и довольна была тем, что отец спрашивает ее об этом, и боялась отвечать ему, чтоб не уронить себя в его глазах. И вот, вся как-то подобравшись, точно собираясь прыгнуть через стол, она неуверенно и с дрожью в голосе сказала:

– Чтобы все были счастливы... и довольны... все люди – равны... свобода нужна всем... так же, как воздух... и во всем – равенство!

Отец со спокойным презрением сказал ей:

– Так я и знал: дура ты позлащенная!

Она поникла головой, но тотчас же вскинула ее и с тоской воскликнула:

– Вы же сами говорите: свобода...

– Молчи уж! – грубо крикнул на нее старик. – Даже того не видишь, что из каждого человека явно наружу прет... Как

могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть? Даже нищий свою гордость имеет и пред другими чем-нибудь всегда хвастается... Мал ребенок – и тот хочет первым в товарищах быть... И никогда человек человеку не уступит – дураки только это думают... У каждого – душа своя... только тех, кто души своей не любит, можно обтесать под одну мерку... Эх ты!.. Начиталась, нажралась дряни...

Горький укор, ядовитое презрение выразились на лице старика. С шумом оттолкнув от стола свое кресло, он вскочил с него и, заложив руки за спину, мелкими шагами стал бегать по комнате, потряхивая головой и что-то говоря про себя злым, свистящим шепотом... Любовь, бледная от волнения и обиды, чувствуя себя глупой и беспомощной пред ним, вслушивалась в его шепот, и сердце ее трепетно билось.

– Один остался... Как Иов... О, господи!.. Что сделаю? Я ли – не умен? Я ли – не хитер?

Девушке стало до боли жалко старика; ее охватило страшное желание помочь ему; ей хотелось быть нужной для него.

Горячими глазами следя за ним, она вдруг сказала ему тихонько:

– Папаша... милый! Не тоскуйте... ведь еще Тарас жив... может быть, он...

Маякин вдруг остановился, как вкопанный, и медленно поднял голову.

– Молодым дерево покривилось, не выдержало, – в старо-

сти и подавно разломится... Ну, все-таки... и Тарас теперь мне соломина... Хоть едва ли цена его выше Фомы... Есть у Гордеева характерец... есть в нем отцово дерзновение... Много он может поднять на себе... А Тараска... это ты во-время вспомнила...

И старик, за минуту пред тем упавший духом до жалоб, в тоске метавшийся по комнате, как мышь в мышеловке, теперь с озабоченным лицом, спокойно и твердо снова подошел к столу, тщательно уставил около него свое кресло и сел, говоря:

– Надо будет пощупать Тараску... в Усолье он живет, на заводе каком-то... Слышал я от купцов – соду, что ли, работают там... Узнаю подробно...

– Позвольте, я напишу ему, папаша? – вздрагивая от радости и вся красная, тихо попросила Любовь...

– Ты? – спросил Маякин, мельком взглянув на нее, потом помолчал, подумал и сказал: – Можно! Это даже – лучше! Напиши... Спроси – не женат ли? Как, мол, живешь? Что думаешь?... Да я тебе скажу, что написать, когда придет время...

– Вы скорее, папаша!.. – сказала девушка.

– Скорее-то надо вот замуж тебя выдавать... Я тут при-смаатриваюсь к одному, рыженькому, – парень как будто не дурак... Заграничной выделки, между прочим...

– Это Смолин, папаша? – с тревогой и любопытством спросила Любовь.

– А хоть бы и он – что же? – деловито осведомился Яков Тарасович.

– Ничего... Я его не знаю... – неопределенно ответила Любовь.

– Познакомим... Пора, Любовь, пора! На Фому надежда плоха... хоть я и не отступлюсь от него...

– Я на Фому не рассчитывала...

– Это ты напрасно... Кабы умнее была – может, он бы не свихнулся!.. Я, бывало, видя вас вдвоем, думал: «Прикормит девка моя парня к себе!» Ан – прогадал...

Она задумалась, слушая его внушительную речь. За последнее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила в голову мысль о замужестве, – иного выхода из своего одиночества она не видела. Желание бросить отца и уехать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать, – она давно уже пережила, как пережила одиноко в себе много других желаний, столь же неглубоких. От разнообразных книг, прочитанных ею, в ней остался мутный осадок, и хотя это было нечто живое, но живое как протоплазма. Из этого осадка в девушке развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремление к личной независимости, желание освободиться от тяжелой опеки отца, – но не было ни сил осуществить эти желания, ни представления о том, как осуществляются они. А природа внушала свое, и девушка при виде молодых матерей с детьми на руках чувствовала тоскливое и обидное томление. Порою, останавливаясь пе-

ред зеркалом, она с грустью рассматривала полное, свежее лицо с темными кругами около глаз, и ей становилось жаль себя: жизнь обходит, забывает ее в стороне где-то. Теперь, слушая речь отца, она представляла себе – каким может быть этот Смолин? Она встречала его еще гимназистом, он тогда был весь в веснушках, курносый, чистенький, степенный и скучный. Танцевал он тяжело и неуклюже, говорил неинтересно... С той поры прошло много времени: он был за границей, учился там чему-то, – каков он теперь? От Смолина мысль ее перескочила к брату, и она с замиранием сердца подумала: что-то он ответит ей на письмо? Каков он? Образ брата, каким она представляла его себе, заслонил пред ней и отца и Смолина, и она уже говорила себе, что до встречи с Тарасом ни за что не согласится выйти замуж, как вдруг отец крикнул ей:

– Эй, Любавка! Что задумалась? Над чем больше?

– Так, – быстро все идет... – улыбнувшись, ответила Люба.

– Что – быстро?

– Да все... неделю тому назад говорить с вами о Тарасе нельзя было, а теперь вот...

– Нужда, девка! Нужда – сила, стальной прут в пружину гнет, а сталь – упориста! Тарас? Поглядим! Человек ценен по сопротивлению своему силе жизни, – ежели не она его, а он ее на свой лад крутит, – мое ему почтение! Э-эх, стар я! А жизнь-то теперь куда как бойка стала! Интересу в ней – с

каждым годом все прибавляется, – все больше смаку в ней! Так бы и жил все, так бы все и действовал!..

Старик вкусно почмокивал губами, потирал руки, и глазки его жадно поблескивали.

– А вы вот – жидкой крови людишки! Еще не выросли, а уж себя переросли и дряблые живете, как старая редька... И то, что жизнь все краше становится, – недоступно вам... Я шестьдесят семь лет на сей земле живу и уже вот у гроба своего стою, но вижу: когда я молод был, и цветов на земле меньше было и не столь красивые цветы были... Все украшается! Здания какие пошли! Орудие разное, торговое... Пароходищи! Ума во всё бездна вложено! Смотришь – думаешь: «Ай да люди, молодцы!» Все хорошо, все приятно, – только вы, наследники наши, – всякого живого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишка из мещан и то бойчее вас... Вон этот... Ежов-то – что он такое? А изображает собою судью даже надо всей жизнью – одарен смелостью! А вы – тьфу! Нищими живете... Содрать бы с вас шкуры да посыпать по живому мясу солью – запрыгали бы!

Яков Тарасович, маленький, сморщенный и костлявый, с черными обломками зубов во рту, лысый и темный, как будто опаленный жаром жизни, прокоптевший в нем, весь трепетал в пылком возбуждении, осыпая дребезжащими, презрительными словами свою дочь – молодую, рослую и полную. Она смотрела на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и в сердце ее росло уважение к живому и стойко-

му в своих желаниях старику...

...А Фома все кутил и колобродил. В одном из дорогих ресторанов города он попал в приятельски радостные объятия сына водочного заводчика, который взял на содержание Сашу.

– Вот это встреча! А я здесь третий день проедаюсь в тяжком одиночестве... Во всем городе нет ни одного порядочно-го человека, так что я даже с газетчиками вчера познакомился... Ничего, народ веселый... сначала играли аристократов и всё фыркали на меня, но потом все вдребезги напились... Я вас познакомлю с ними... Тут один есть фельетонист – этот, который вас тогда возвеличил... как его? Увеселительный малый, черт его дери!

– А что Александра? – спросил Фома, немного оглушенный громкой речью этого высокого, развязного парня в пестром костюме.

– Н-ну, знаете, – поморщился тот, – эта ваша Александра – дрянная женщина! Какая-то – темная... скучно с ней, черт ее возьми! Холодная, как лягушка, бррр! Нет, я ей дам отставку...

– Холодная – это верно, – сказал Фома и задумался.

– Каждый человек должен делать свое дело самым лучшим образом! – поучительно сказал сын водочного заводчика. – И если ты поступаешь на содержание, так тоже должна исполнять свою обязанность как нельзя лучше, – коли ты

порядочная женщина... Ну-с, водки выпьем?

Выпили. И, разумеется, напились.

К вечеру в гостинице собралась большая и шумная компания, и Фома, пьяный, но грустный и тихий, говорил заплетаящимся языком:

– Я так понимаю: одни люди – черви, другие – воробьи... Воробьи – это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они – нужны... А я и все вы – ни к чему... Мы живем без оправдания... Совсем не нужно нас... Но и те... и все – для чего? Это надо понять... Братцы!.. На что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтобы я умер... хочу, чтобы я умер...

Он плакал обильными, пьяными слезами. К нему подсел какой-то маленький черный человечек, о чем-то напоминал ему, лез целоваться с ним и кричал, стуча ножом по столу:

– Молчать! Слово сырю! Дайте слово слонам и мамонтам неустройства жизни! Говорит святые речи сырая русская совесть! Рычи, Гордеев! Рычи на все!..

И он снова цеплялся за плечи Фомы и лез на грудь к нему, поднимая к его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, неустанно вертевшуюся на его плечах во все стороны, так что Фома не мог рассмотреть его лица, сердился на него за это и все отталкивал его от себя, раздраженно вскрикивая:

– Не лезь! Где у тебя рожа?

Вокруг них стоял оглушающий, пьяный хохот, и, задыха-

ьясь от него, сын водочного заводчика хрипло ревел кому-то:
– Иди ко мне! Сто рублей в месяц, стол и квартиру! Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету – я дороже дам!

И все качалось из стороны в сторону плавными, волнообразными движениями. Люди то отдалялись от Фомы, то приближались к нему, потолок опускался, а пол двигался вверх, и Фоме казалось, что вот его сейчас расплющит, раздавит. Затем он почувствовал, что плывет куда-то по необъятно широкой и бурной реке, и, шатаясь на ногах, в испуге начал кричать:

– Куда плывем? Где капитан?

Ему отвечал громкий, бессмысленный смех пьяных людей и резкий, противный крик черного человечка:

– Верно-о! Где капитан?

...Фома очнулся от этого кошмара в маленькой комнатке с двумя окнами, и первое, на чем остановились его глаза, было сухое дерево. Оно стояло под окном; толстый ствол его с облезлой корой преграждал свету доступ в комнату, изогнутые и черные ветви без листьев бессильно распростерлись в воздухе и, покачиваясь, жалобно скрипели. Шел дождь, по стеклам лились потоки воды, было слышно, как она течет с крыши на землю и всхлипывает. К этому плачущему звуку примешивался другой, тонкий, то и дело прерывавшийся, торопливый скрип пера по бумаге и какое-то отрывистое

ворчание.

С трудом поворотив на подушке тяжелую голову, Фома увидал маленького черного человечка, он, сидя за столом, быстро царапал пером по бумаге, одобрительно встряхивал круглой головой, вертел ею во все стороны, передергивал плечами и весь – всем своим маленьким телом, одетым лишь в подштанники и ночную рубаху, – неустанно двигался на стуле, точно ему было горячо сидеть, а встать он не мог по-чему-то. Левая его рука, худая и тонкая, то крепко потирала лоб, то делала в воздухе какие-то непонятные знаки; босые ноги шаркали по полу, на шее трепетала какая-то жила, и даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось к Фоме – Фома видел тонкие губы, что-то шептавшие, острый нос, редкие усики; эти усики прыгали вверх каждый раз, когда человечек улыбался... Лицо у него было желтое, морщинистое, и черные, живые, блестящие глазки казались чужими на нем.

Устав смотреть на него, Фома стал медленно водить глазами по комнате. На большие гвозди, вбитые в ее стены, были воткнуты пучки газет, отчего казалось, что стены покрыты опухолями. Потолок был оклеен когда-то белой бумагой; она вздулась пузырями, полопалась, отстала и висела грязными клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бумага... Вся комната производила такое впечатление, точно ее ошпарили кипятком.

Человечек бросил перо, наклонился над столом, бойко за-

барабанил по краю его пальцами рук и тихонько слабеньким голоском запел:

Бе-ери барабан – и не бойся!
Це-луй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший науки,
Вот смысл философии все-ей!

Фома тяжело вздохнул и сказал:

– Зельтерской бы выпить...

– Ага! – воскликнул человек и, спрыгнув со стула, очутился у дивана, на котором лежал Фома. – Здорово, товарищ! Зельтерской? С коньяком или просто?

– Лучше с коньяком... – сказал Фома, пожимая протянутую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь в лицо человека...

– Егоровна! – крикнул тот к двери и, обратясь к Фоме, спросил: – Не узнаешь, Фома Игнатьевич?

– Помню... что-то... будто встречались...

– Четыре года продолжалась эта встреча... но это давно было! Ежов...

– Господи! – воскликнул Фома с изумлением, привстав на диване. – Да разве это ты?

– Я, брат, сам порой не верю в это, но факт – есть нечто такое, от чего сомнение отскакивает, как резиновый мяч от железа...

Лицо Ежова смешно исказилось, и руки для чего-то нача-

ли ощупывать грудь.

– Н-ну-у! – протянул Фома. – Вот так постарел ты! Сколько ж тебе лет-то?

– Тридцать...

– А – как пятьдесят... сухой, желтый!.. Видно, не сладко жил?

Фоме было жалко видеть веселого и бойкого школьного товарища таким изношенным, живущим в этой конуре. Он смотрел на него, грустно мигал глазами и видел, как лицо Ежова подергивается, а глазки пылают раздражением. Ежов откупоривал бутылку с водой и, занятый этим, молчал, сжав бутылку коленями и тщетно напрягаясь, чтобы вытащить из нее пробку. И это его бессилие тоже трогало Фому.

– Н-да, обсосала тебя жизнь-то... А учился... – задумчиво говорил он.

– Пей! – сказал Ежов, даже побледневший от усталости, подавая ему стакан. Затем он потер лоб, сел на диван к Фоме и заговорил: – Науку – оставь! Наука есть божественный напиток... но пока он еще негоден к употреблению, как водка, не очищенная от сивушного масла. Для счастья человека наука еще не готова, друг мой... и у людей, потребляющих ее, только головы болят... вот как у нас с тобой теперь... Ты что это как неосторожно пьешь?

– А что мне делать? – спросил Фома, усмехаясь.

Ежов пытливо, прищуренными глазами посмотрел на Фому и сказал:

– Сопоставляя твой вопрос со всем тем, что ты вчера мол-
лол, чую душой, что ты, друг, тоже не от веселой жизни ве-
селишься...

– Эх! – тяжело вздохнул Фома, вставая с дивана. – Какая
жизнь? Так что-то... несуразное... Живу один... ничего не
понимаю... плюнуть на все хочется и провалиться бы куда-
нибудь! Бежать бы от всего... Тоска!

– Это любопытно! – сказал Ежов, потирая руки и весь вер-
таясь. – Это любопытно, если это верно, ибо доказывает, что
святой дух недовольства жизнью проник уже и в купеческие
спальни... в мертвецкие душ, утопленных в жирных щах, в
озерах чая и прочих жидкостях... Ты мне изложи все по по-
рядку... Я, брат, тогда роман напишу...

– Мне говорили, что ты и то уж написал про меня что-
то? – с любопытством спросил Фома и еще раз внимательно
осмотрел старого товарища, не понимая, что может написать
он, такой жалкий.

– Написал! А ты читал?

– Нет, не довелось...

– А что же тебе говорили?

– Здорово будто изругал ты меня.

– Гм... А тебе не интересно самому прочитать? – допра-
шивал Ежов, в упор рассматривая Гордеева.

– Я прочитаю! – обнадежил его Фома, чувствуя, что нелов-
ко ему перед Ежовым и что Ежова как будто обижает такое
отношение к его писаниям. – В самом деле, – ведь интерес-

но, ежели про меня написано... – добавил он, добродушно улыбаясь товарищу.

Эта встреча родила в нем тихое, доброе чувство, вызвав воспоминания о детстве, и они мелькали теперь в памяти его, – мелькали, как маленькие скромные огоньки, пугливо светя ему из дали прошлого.

Ежов подошел к столу, на котором уже стоял кипящий самовар, молча налил два стакана густого, как деготь, чая и сказал Фоме:

– Иди, пей чай... Рассказывай!

– Мне нечего рассказывать... Пустая у меня жизнь! Лучше ты мне про себя расскажи... ты все-таки, поди, больше моего знаешь...

Ежов задумался, не переставая вертеться и крутить головой. В задумчивости – только лицо его становилось неподвижным, – все морщинки на нем собирались около глаз и окружали их как бы лучами, а глаза от этого уходили глубже под лоб...

– Н-да, я, брат, кое-что видел... – заговорил он, встряхивая головой. – И знаю я, пожалуй, больше, чем мне следует знать, а знать больше, чем нужно, так же вредно для человека, как и не знать того, что необходимо. Рассказать тебе, как я жил? Попробую. Никогда никому не рассказывал о себе... потому что ни в ком не возбуждал интереса... Преобидно жить на свете, не возбуждая в людях интереса к себе!..

– Уж я по лицу да и по всему вижу, что нехорошо тебе

жилось! – сказал Фома, чувствуя удовольствие от того, что и товарищу жизнь не сладка.

Ежов залпом выпил свой чай, швырнул стакан на блюдо, поставил ноги на край стула и, обняв колени руками, положил на них подбородок. В этой позе, маленький и гибкий, как резина, он заговорил:

– Студент Сачков, бывший мой учитель, а ныне доктор медицины, винтёр и холоп, говорил мне, бывало, когда я хорошо выучу урок: «Молодец, Коля! Ты способный мальчик. Мы, разночинцы, бедные люди, с заднего двора жизни, должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всех... Россия нуждается в умных и честных людях, старайся быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом общества. На нас, разночинцах, покоятся теперь лучшие надежды страны, мы призваны внести в нее свет, правду...» И так далее. Я ему, скотине, верил... И вот с той поры прошло около двадцати лет – мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и света в жизнь не внесли. Россия по-прежнему страдает своей хронической болезнью – избытком мерзавцев, и мы, разночинцы, с удовольствием пополняем собой их толпы. Мой учитель, повторяю, – лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказывает, а я – паяц на службе обществу. Меня, брат, здесь в городе преследует слава... Иду по улице и слышу – извозчик говорит своему товарищу: «Вон Ежов идет! Здорово лается, едят его мухи!» Н-да! Этого тоже достичь надо...

Лицо Ежова сморщилось в едкую гримасу, он беззвучно, одними губами, засмеялся. Фоме была непонятна его речь, и он, чтоб сказать что-нибудь, сказал наобум:

– Не туда, значит, попал, куда метил...

– Да, я думал, что вырасту покрупнее... И вырос бы!

Фельетонист вскочил со стула и забегал по комнате, с визгом восклицая:

– Но, чтоб сохранить себя цельным для жизни, – нужны огромные силы! Они были... Была у меня гибкость, ловкость... я все это прожил для того, чтоб научиться чему-то... что теперь совсем не нужно мне. Я и многие со мной – ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни... Подумай, – желая сделать из себя человека ценного, я всячески обесценивал свою личность... Чтобы учиться и не издохнуть с голода, я шесть лет кряду обучал грамоте каких-то болванов и перенес массу мерзостей со стороны разных папаш и мамаш, без всякого стеснения унижавших меня... Зарабатывая на хлеб и чай, я не имел времени заработать на сапоги и обращался в благотворительные общества с покорнейшими просьбами о ссудах... Если б только благотворители могли подсчитать, сколько духа в человеке убивают они, поддерживая жизнь тела! Если б они знали, что в каждом рубле, который они дают на хлеб, – содержится на девяносто девять копеек яда для души! Если б их разорвало от избытка их доброты и гордости, почерпаемой ими из своей священной деятельности! Нет на земле человека гаже и противнее

подающего милостыню, нет человека несчастнее принимающего ее!

Ежов бегал по комнате, как охваченный безумием, бумага под ногами его шуршала, рвалась, летела клочьями. Он скрипел зубами, вертел головой, его руки болтались в воздухе, точно надломленные крылья птицы. Фома смотрел на него со странным, двойственным чувством: он и жалел Ежова, и приятно было ему видеть, как он мучается.

А в горле Ежова что-то взвизгивало, как несмазанная петля.

– Отравленный добротой людей, я погиб от роковой способности каждого бедняка, выбивающегося в люди, – от способности мириться с малым в ожидании большего... О! ты знаешь? – от недостатка самооценки гибнет больше людей, чем от чахотки, и вот почему вожди масс, быть может, служат в околоточных надзирателях!

– Черт с ними, с околоточными! – сказал Фома, махнув рукой. – Ты про себя валяй...

– Про себя! Я – весь тут! – воскликнул Ежов, остановившись среди комнаты и ударяя себя в грудь руками. – Все, что мог, – я уже совершил... достиг степени увеселителя публики и – больше ничего не могу!

– Ты погоди-ка! – оживился Фома. – Ты скажи-ка – а что нужно делать, чтобы спокойно жить... то есть чтобы собой быть довольным?

– Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дур-

ной болезни, даже возможности быть довольным собой!

Для Фомы эти слова прозвучали пусто, не шелохнув в сердце его никакого чувства, не зародив в голове ни одной мысли.

– Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь не доступное тебе... Человек становится выше ростом оттого, что тянется кверху...

Теперь, бросив говорить о себе, Ежов заговорил иным тоном, спокойнее. Голос его звучал твердо и уверенно, лицо стало важно и строго. Он стоял среди комнаты, подняв руку с вытянутым пальцем, и говорил, точно читал:

– Самодовольный человек – затвердевшая опухоль на груди общества... Он набивает себя грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости, и существует, как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно не нужный ей, ни на что не годный... Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнет вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений... и никто не хочет заметить, что убеждения для них – только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: «спокойствие и умеренность», – фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, – на ней изображено: «ограничен-

ность и туподушие»!..

Сколько видел я таких людей! – с гневом и ужасом вскричал Ежов. – Сколько развелось этих мелочных лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, – но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, – приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое... Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости... И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, – везет воз мусора за город и – несчастная! – довольна своей судьбой...

– Тоже, значит, лишние люди... – сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

– Нет, они не лишние, о нет! Они существуют для образца – для указания, чем я не должен быть. Собственно говоря – место им в анатомических музеях, там, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные уклонения от гармоничного... В жизни, брат, ничего нет лишнего... в ней даже я нужен! Только те люди, у которых в груди на месте умершего сердца – огромный нарыв мерзейшего самообожания, – только они – лишние... но и они нужны, хотя бы для

того, чтобы я мог излить на них мою ненависть...

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, – заражали, вызывая у парня боевое чувство. Но порой в нем вспыхивало недоверие к Ежову, и однажды он прямо спросил его:

– Ну... а в глаза людям можешь ты так говорить?

– При всяком удобном случае... И каждое воскресенье – в газете... Хочешь – почитаю?

Не дожидаясь ответа Фомы, он сорвал со стены несколько листов газеты и, продолжая бегать по комнате, стал читать ему. Он рычал, взвизгивал, смеялся, оскаливал зубы и был похож на злую собаку, которая рвется с цепи в бессильной ярости. Не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно, точно его в жаркой бане вениками парили...

– Ловко! – восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу. – Здорово пущено!

То и дело пред ним мелькали знакомые фамилии купцов и именитых горожан, которых Ежов язвил то смело и резко, то почтительно, тонким, как игла, жалом.

Одобрения Фомы и его горящие удовольствием глаза вдохновляли Ежова еще более, он все громче выл и рычал, то в изнеможении падая на диван, то снова вскакивая и подбегая к Фоме.

– Ну-ка, про меня прочитай! – вскричал Фома.

Ежов порылся в грудe газет, вырвал из нее лист и, взяв его в обе руки, встал перед Фомой, широко расставив ноги, а Фома развалился в кресле с продавленным сиденьем и слушал, улыбаясь.

Заметка о Фоме начиналась описанием кутежа на плотях, и Фома при чтении ее стал чувствовать, что некоторые отдельные слова покусывают его, как комары. Лицо у него стало серьезнее, он наклонил голову и угрюмо молчал. А комаров становилось все больше...

– Уж очень ты разошелся! – сказал он наконец смущенно и недовольно. – Ведь одним тем, что опозорить человека умеешь, перед богом не выслужишься...

– Молчи! Подожди! – кратко бросил ему Ежов и продолжал чтение.

Установив в своей статье, что купец в деле творчества безобразий и скандалов несомненно возвышается над представителями других сословий, Ежов спрашивал: отчего это? – и отвечал:

«Мне кажется, что эта склонность к диким выходкам вытекает из недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избытком энергии и бездельем. Не может быть сомнения в том, что наше купечество – за малыми исключениями – сословие наиболее богатое здоровьем и в то же время наименее трудящееся...»

– Вот это верно-о! – воскликнул Фома, ударив кулаком

по столу. – Это так! У меня силы – на быка, а работы – на воробья.

«Куда же девать купцу свою энергию? На бирже ее много не истратишь, и вот он расточает избыток мускульного капитала в кабаках на кутежи, не имея представления об иных, более продуктивных и ценных для жизни пунктах приложения силы. Он – еще зверь, а жизнь для него уже стала клеткой, и ему тесно в ней при его добром здоровье и склонности к широкому размаху. Стесненный культурой, он нет-нет да и надбоширит. Купеческий дебош – всегда бунт пленного зверя. Разумеется – это дурно... Но – ах! – будет еще хуже, когда этот зверь к своей силе прикопит немножко ума и дисциплинирует ее! Поверьте – он и тогда не перестанет производить скандалы, но – это уже будут исторические события. Избави нас, боже, от таких событий! Ибо они проистекут из стремления купца ко власти, их целью будет всемогущество одного сословия и – не постеснится купец в средствах ради этой цели...»

– Ну, что скажешь, – верно? – спросил Ежов, дочитав газету и бросая ее в сторону.

– Конца я не понимаю... – ответил Фома. – А вот о силе – верно!

Он торопливо и горячо выбросил пред Ежовым привычные свои мысли о жизни, о людях, о своей душевной спутанности и замолчал, опрокинувшись на диван.

– Н-да-а! – протянул Ежов. – Вот ты до чего долез!.. Это,

брат, дело доброе! Ты – как насчет книжек? Читаешь какие-нибудь?

– Нет, не люблю! Не читывал...

– Оттого и не любишь, что не читал...

– Я даже боюсь читать... Видел я – тут одна... хуже заоя у нее это! И какой толк в книге? Один человек придумает что-нибудь, а другие читают... Коли так ладно... Но чтобы учиться из книги, как жить, – это уж что-то несуразное! Ведь человек написал, не бог, а какие законы и примеры человек установить может сам для себя?

– А Евангелие? Его написали люди же.

– То – апостолы... Теперь их нет...

– Ничего, – возразил дельно! Верно, брат, апостолов нет...

Остались только Иуды, да и то дрянненькие.

Фома чувствовал себя хорошо, видя, что Ежов слушает его слова внимательно и точно взвешивает каждое слово, сказанное им. Первый раз в жизни встречаясь с таким отношением к себе, Фома смело и свободно изливал пред товарищем свои думы, не заботясь о словах и чувствуя, что его поймут, потому что хотят понять.

– А любопытный ты парень! – сказал ему Ежов дня через два после встречи. – И хоть тяжело говоришь, но чувствуется в тебе большая дерзость сердца! Кабы тебе немножко знания порядков жизни! Заговорил бы ты тогда... довольно громко, я думаю... да-а!

– Словами себя не освободишь!.. – вздохнув, заметил Фо-

ма. – Ты вот как-то говорил про людей, которые притворяются, что всё знают и могут... Я тоже знаю таких... Крестный мой, примерно... Вот против них бы двинуть... их бы уличить!.. Довольно вредный народ!..

– Не представляю я, Фома, как ты будешь жить, если сохранишь в себе то, что теперь носишь... – задумчиво сказал Ежов.

Он тоже пил, этот маленький, ошпаренный жизнью человек. Его день начинался так: утром за чаем он просматривал местные газеты, почерпая в них материал для фельетона, который писал тут же, на углу стола. Затем бежал в редакцию и там резал иногородние газеты, составляя из вырезок «Провинциальные картинки». В пятницу он должен был писать воскресный фельетон. За все это ему платили сто рублей в месяц; работал он быстро и все свободное время посвящал «обозрению и изучению богоугодных учреждений». Вместе с Фомой он шлялся до глубокой ночи по клубам, гостиницам, трактирам, всюду черпая материал для своих писаний, которые он называл «щетками для чистки общественной совести». Цензора он именовал «заведующим распространением в жизни истины и справедливости», газету называл «сводней, занимающейся ознакомлением читателя с вредоносными идеями», а свою в ней работу – «продажей души в розницу» и «поползновением к дерзновению против божественных учреждений».

Фома плохо понимал, когда Ежов шутит и когда он гово-

рит серьезно. Обо всем он говорил горячо и страстно, все резко осуждал – это нравилось Фоме. Но часто, начав речь со страстью, он так же страстно возражал сам себе и опровергал себя или заканчивал ее какой-нибудь смешной выходкой. Тогда Фоме казалось, что у этого человека нет ничего, что бы он любил, что крепко сидело бы в нем и управляло им. Только о себе самом он говорил каким-то особым голосом, и чем горячее говорил о себе, тем беспощаднее ругал всех и всё. К Фоме отношение его было двойственным – то он ободрял его, говоря ему с жаром и трепетом:

– Опровергай и опрокидывай все, что можешь! Дороже человека ничего нет, так и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы!..

А когда Фома, загораясь от жгучих искр его речи, начал мечтать о том, как он начнет опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотят расширить жизнь, – Ежов часто обрывал его:

– Брось! Ничего ты не можешь! Таких, как ты, – не надо... Ваша пора, – пора сильных, но неумных, – прошла, брат! Опоздал ты... Нет тебе места в жизни...

– Нет?.. Врешь! – кричал Фома, возбужденный противоречием.

– Ну, что ты можешь сделать?

– А вот – убью тебя! – злобно говорил Фома, сжимая кулак.

– Э, чучело! – пожимая плечами, убедительно и с сожалением

нием произносил Ежов. – Разве это дело? Я и так изувечен до полусмерти...

И вдруг, воспламененный тоскливой злостью, он весь подергивался и говорил:

– Обидела меня судьба моя! Зачем я работал, как машина, двенадцать лет кряду? Чтобы учиться... Зачем я двенадцать лет без отдыха глотал в гимназии и университете сухую и скучную, ни на что не нужную мне противоречивую ерунду? Чтоб стать фельетонистом, чтоб изо дня в день балаганить, увеселяя публику и убеждая себя в том, что это ей нужно, полезно... Расстрелял я весь заряд души по три копейки за выстрел... Какую веру приобрел я себе? Только веру в то, что все в сей жизни ни к черту не годится, все должно быть изломано, разрушено... Что я люблю? Себя... и чувствую предмет любви моей не достойным любви моей...

Он почти плакал и все как-то царапал тонкими, слабыми руками грудь и шею себе.

Но иногда им овладевал прилив бодрости, и он говорил в ином духе:

– Ну, нет, еще моя песня не спета! Впитала кое-что грудь моя, и – я свистну, как бич! Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дело и напишу одну маленькую книгу... Я назову ее – «Отходная»: есть такая молитва – ее читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу как мускус.

Следя за ним и сравнивая его речи, Фома видел, что и Ежов такой же слабый и заплутавшийся человек, как он сам. Но речи Ежова обогащали язык Фомы, и порой он с радостью замечал за собой, как ловко и сильно высказана им та или другая мысль.

Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, которые, казалось ему, все знали, все понимали и всему противоречили, во всем видели обман и фальшь. Он молча присматривался к ним, прислушивался к их словам; их дерзость нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, чем на улице и в гостиницах. У них были особые комнатные разговоры, комнатные слова, жесты, и все это – вне комнаты заменялось самым обыкновенным, человеческим. Иногда в комнате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был среди них самой яркой головней, но блеск этого костра слабо освещал тьму души Фомы Гордеева.

Как-то раз Ежов сказал ему:

– Сегодня – кутим! Наши наборщики устроили артель и берут у издателя всю работу сдельно... По этому поводу будут спрыски, и я приглашен, – это я им посоветовал... Идем? Угостишь их хорошенько...

– Могу... – сказал Фома. Ему было безразлично, с кем проводить время, тяготившее его.

Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей

с серыми лицами, за городом, у опушки рощи. Наборщиков было человек двенадцать; прилично одетые, они держались с Ежовым просто, по-товарищески, и это несколько удивляло и смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то вроде хозяина или начальника для них, а они – только слуги его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя, когда Ежов знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, что рады видеть его... Он лег в сторонке, под кустом орешника, и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, замечая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал также, что маленький фельетонист как будто подыгрывался под тон наборщиков, – суетился вместе с ними около костра, откупоривал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всегда одевался.

– Эх, братцы! – восклицал он с удальством. – Хорошо с вами! Ведь я тоже невеличка-птичка... всего только сын судейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова!

«На что это он говорит? – думал Фома. – Мало ли кто чей сын... Не по отцу почет, а по уму...»

Заходило солнце, в небе тоже пылал огромный огненный костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сыростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой соломенной шляпе, наигрывал на гармонике, другой,

с черными усами и в картузе на затылке, вполголоса подпевал ему. Еще двое тянулись на палке, пробуя силу. Несколько фигур возилось у корзины с пивом и провизией; высокий человек с полуседою бородой подбрасывал в костер сучья, окутанный тяжелым, беловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, жалобно пищали и потрескивали, а гармоника задорно выводила веселую мелодию, и фальцет певца подкреплял и дополнял ее бойкую игру.

В стороне ото всех, у обрыва небольшой промоины, улеглись трое молодых парней, а пред ними стоял Ежов и звонко говорил:

– Вы несете священное знамя труда... и я, как вы, рядовой той же армии, мы все служим ее величеству прессе и должны жить в крепкой, прочной дружбе...

Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвлеченный другим разговором. Говорили двое: один высокий, чухоточный, плохо одетый и смотревший сердито, другой молоденький, с русыми волосами и бородкой.

– По-моему, – угрюмо и покашливая говорил высокий, – глупо это! Как можно жениться нашему брату? Пойдут дети – разве хватит на них? Жену надо одевать... да еще какая попадется...

– Девушка она славная... – тихо сказал русский.

– Ну, это теперь хороша... Одно дело невеста, другое – жена... Да не в этом суть... А только – средств не хватит... и сам надорвешься в работе, и ее заездишь... Совсем невоз-

можное дело женитьба для нас... Разве мы можем семью поднять на таком заработке? Вот видишь, – я женат... всего четыре года... а уж скоро мне – конец!

Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда перестал, то сказал товарищу, задыхаясь:

– Брось... ничего не выйдет...

Тот грустно опустил голову, а Фома подумал:

«Дельно говорит...»

Невнимание к нему немножко обижало его и в то же время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них не заискивал пред ним, не лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных знакомых, товарищей по кутежам. Это нравилось ему...

«Ишь какие... – думал он, внутренне усмехаясь, – имеют свою гордость...»

– А вы, Николай Матвейч, – раздался чей-то как будто укоряющий голос, – вы не по книжке судите, а по живой правде...

– По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваших собратьей?..

Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали:

– Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев!

Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и высоких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо ему. Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил:

– Можно и поближе... А что – к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылку с десятью... на всякий случай...

– Ого! Видать – вы сурьезный купец... Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту!..

И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом.

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба... Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак...

Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра; Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел перед собою ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Все это для Фомы имело какой-то

особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный общим славным настроением, и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе...

– Братцы! – крикнул толстый парень. – Давайте грянем студенческую... ну, раз, два!..

Быстры, ка-ак во-олны...

Кто-то загудел басом:

Д-дни-и нашей...

– Товарищи! – сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы.

Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы...

– Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов... от сердца... Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас... Это потому, что вы – люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается... В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравлен-

ному жизнью человеку...

Голос Ежова дрогнул, зазвенел, и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом:

– Я – не один... нас много таких, загнанных судьбой, разбитых и больных людей... Мы – несчастнее вас, потому что слабее и телом и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием... которое нам некуда приложить... Мы все с радостью готовы прийти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить... больше нам нечего делать! Без вас мы – без почвы, вы без нас – без света! Товарищи! Мы судьбой самую созданы для того, чтоб дополнять друг друга!

«Чего это он у них просит?» – думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.

– Будущее – ваше, друзья мои! – говорил Ежов нетвердо и грустно покачивал головой, точно сожалея о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. – Будущее принадлежит людям честного труда... Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру... Я – ваш по плоти и духу, сын солдата – предлагаю: выпьем за ваше будущее! Ур-ра-а!

Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный воз-

глас, и в воздухе прокатился гремющий, сильный крик, сотрясая листву на деревьях.

– Теперь песню! – снова предложил толстый парень.

– Давай! – поддержали его два-три голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.

– Братцы! – вдруг снова крикнул он. – Ответьте мне... ответьте парой слов на мой привет вам...

Снова – хотя и не сразу – все замолчали, глядя на него – иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:

– Здесь двое нас... отверженных от жизни, – я и вот этот... Мы оба хотим... одного и того же... внимания к человеку... счастья чувствовать себя нужными людям... Товарищи! И этот большой и глупый человек...

– А вы, Николай Матвеич, не обижайте гостя! – раздался чей-то густой и недовольный голос.

– Да, это лишнее! – подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. – Зачем обидные слова?

Третий голос громко и отчетливо сказал:

– Мы собрались повеселиться... отдохнуть...

– Глупцы! – слабо засмеялся Ежов. – Добрые глупцы!.. Вам жалко его? Но – знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут у вас кровь...

– Будет, Николай Матвеич! – крикнули Ежову.

И все загудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападков Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что, если Ежов заметит это, – больно будет ему. И, чтоб отвлечь товарища в сторону от возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:

– Ну ты, ругатель, – выпьем, что ли? А то, может, домой пора?

– Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей? – спросил Ежов и снова закричал: – Товарищи!

Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:

– Уйдем отсюда!..

– Ну, идем... Хотя я бы еще посидел... Любопытно... Благодарно они, черти, ведут себя... ей-богу!

– Я не могу больше: мне холодно...

Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись наборщикам, громко и весело сказал:

– Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте!

Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса:

– Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а?

– Нет, надо идти... вот и товарищу одному неловко... провозу... Весело вам пировать!

– Эх, подождали бы вы!.. – воскликнул толстый парень и

тихо шепнул: – Его можно одного проводить...

Чахоточный тоже сказал тихонько:

– Вы оставайтесь... А мы его до города проводим, там на извозчика и – готово!

Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно чего-то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его пальто, пробормотал:

– Иде-ем... черт с ними!

– До свидания, господа! Пойду! – сказал Фома и пошел прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожаления.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на двадцать. – Провожают с прискорбием, а сами рады, что я ушел... Я им мешал превратиться в скотов...

– Это верно, что мешал... – сказал Фома. – На что ты речи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у них... Им от этого скука...

– Молчи! Ты ничего не понимаешь! – резко крикнул Ежов. – Ты думаешь – я пьян? Это тело мое пьяно, а душа – трезва... она всегда трезва и все чувствует... О, сколько гнусного на свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди...

Ежов остановился и, схватившись за голову руками, постоял с минуту, пошатываясь на ногах.

– Н-да-а! – протянул Фома. – Очень они не похожи на других... Вежливы... Господа вроде... И рассуждают правиль-

но... С понятием... А ведь просто – рабочие!..

Во тьме сзади их громко запели хоровую песню. Нестройная сначала, она все росла и вот полилась широкой, бодрой волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем.

– О, боже мой! – вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо. – К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой?..

– Эти простые люди, – медленно и задумчиво говорил Фома, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими думами, – они, ежели присмотреться к ним, – ничего! Даже очень... Любопытно... Мужики... рабочие... ежели их так просто брать – все равно как лошади... Везут себе, пыхтят...

– Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! – с раздражением воскликнул Ежов. – Везут, как лошади... покорно, тупо... И эта их покорность – наше несчастье, наше проклятие...

Он, пошатываясь, долгое время шел молча и вдруг каким-то глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой:

Я жизнью жестоко обманут,
И столько я бед перенес...

– Это, брат, мои стихи, – сказал он, остановившись и грустно покачивая головой. – Как там дальше? Забыл... Э-

эх!

В груди никогда не воспрянут
Рои погребенных в ней грез...

Брат! Ты счастливее меня, потому что – глуп...

– Не скули! – с раздражением сказал Фома. – Вот слушай,
как они поют...

– Не хочу слушать чужих песен... – отрицательно качнув
головой, сказал Ежов. – У меня есть своя...

И он завыл диким голосом:

В душ-ше никогда не воспря-анут
Р-рои погр-ребенных в ней грез...
Их мно-ого та-ам!

Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было
жалко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо,
он сказал:

– Перестань! Пойдем... Экий ты, брат, слабый...

Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнутое
тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел:

Их мно-ого та-ам!
Склеп им так те-есен!
Я в саваны рифм их оде-ел...
И много над ними я песен
Печальных и грустных про-опе-ел!

– О, господи! – с отчаянием вздохнул Фома.

Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот острый, режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смотрел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг него. Стена леса была – как грудь, а костер – словно кровавая рана в ней. Охваченные густою тьмой со всех сторон, люди на фоне леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горели, облитые пламенем костра, взмахивали руками и пели свою песню громко, сильно.

А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим голосом:

Про-опел – и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна...
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!
Она-а безнаде-ежно-о больна-а!..
Господь... упокой мо-ою душу...

Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фельетонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети...

– Николай! – говорил Фома, поднимая его за плечи. – Перестань, – что такое? Будет... как не стыдно!

Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги – крепко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и все плакал...

– Ну, ладно! – говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы. – Будет, милый...

И возмущенный страданием измученного теснотою жизни человека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, густым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во тьме сверкали огни города:

– О, черти... анафемы!

XI

– Любавка! – сказал однажды Маякин, придя домой с биржи. – Сегодня вечером приготовься – жениха привезу! Закусочку нам устрой посOLIDнее... Серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фруктов тоже вынь... Чтобы в нос ему бросился наш стол! Пускай видит, у нас что ни вещь – редкость!

Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе.

– Зачем все это, папаша? – с неудовольствием и обидой спросила она.

– А – для соуса, для вкуса!.. И для порядка... Потому – девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь...

Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды, взглянула на отца... и, снова взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку; глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую, сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романтические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, – были задушены в ней непреклон-

ным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя как на что-то лучшее и высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что – пора, и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины, и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что может сказать она, – сердце отца ее не услышит.

А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался...

– Тэк-с!.. «Суди меня, боже, и рассуди прю мою... от человека неправедна и льстива избави мя...» Н-да-а... Материны изумруды надень, Любовь...

– Будет, папаша! – воскликнула девушка с тоской. – Оставьте, пожалуйста...

– А ты не брыкайся! Слушай, чему учат...

И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя пред лицом.

– Тридцать пять процентов выходит... жулик-парень!.. «Посли свет тво-ой и истину твою...»

– Папаша! – уныло и с боязнью воскликнула Любовь!

– Ась?

– Вы... вам он нравится?

– Кто?

– Смолин...

– Смолин? Н-да... он – ше-ельма... дельный парень... Ну

– я ушел... Так ты того, – вооружись!..

Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полная горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх пред будущим и безмолвно молилась:

«О, боже мой! О, господи!.. Если б он был порядочный человек!.. Сделай, чтоб он был порядочный... сердечный... О, боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя... и на долгие годы берет себе... Как это позорно и страшно... Боже мой, боже!.. Посоветоваться бы с кем-нибудь... Одна... Тарас хоть бы...»

При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать повидаться с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец – умница и может все понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней.

Две недели она с трепетом ждала ответа, и когда, получив, прочитала его, – то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток; в нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно; она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным, твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца.

На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь вострепнулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился к дочери:

– Ну-ко, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаем, как умники пишут... Где очки-то? «Дорогая сестра!» Н-да...

Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо, задумчиво постукал пальцами по столу и изрек:

– Ничего, – писание основательное... без лишних слов... Что ж? Может, и в самом деле окреп человек на холоде-то... Холода там сердитые... Пускай приедет... Поглядим... Любопытно... Н-да... В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратится врагу моему вспять...» – забыл, как дальше-то...

«Врагу оскудеша оружия в конец... и погиге память его с шумом...» Ну, мы с ним без шума потолкуем...

Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно.

– Ты ему еще напиши, Любавка... валяй, мол, смело приежай!

Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат? Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни, – теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми... Вот придет он и спросит ее:

«Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж?»

Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца: убрала стол старинным серебром, надела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды – фамильную драгоценность князей Грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе вместе со

множеством других редких вещей.

Глядя в зеркало на свое взволнованное лицо, на котором крупные и сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее, как лишнее, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине – что это за человек?

Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастье быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белил и пудры, Любви показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру... Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, – красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность; она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену.

Отец и Смолин уже пришли.

Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурилась и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гиб-

ком теле Смолина... Он мало изменился – такой же рыжий, гладко стриженный, весь в веснушках; только усы выросли у него длинные и пышные да глаза стали как будто больше.

– Каков стал, а? – крикнул Маякин дочери, указывая на жениха.

А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном:

– Смею надеяться – вы не забыли старого товарища?

– Вы после поговорите, – сказал старик, ощупывая дочь глазами. – Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй...

– Вы извините меня, Любовь Яковлевна? – ласково спросил Смолин.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, – сказала Любовь.

«Вежлив!» – отметила она и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно.

– Так вот, – я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на зарубежных рынках. Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно – ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время – удешевить его... Товар их возмутительно плох и до-

рог... Они повинны пред Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще – мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, – стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, – такой производитель – несчастье страны, паразит ее торговли...

Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, это ее задело.

– Мм... – промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. – Так, значит, твое теперь намерение – взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всем другим – гроб и крышка?

– О, нет! – воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. – Моя цель – поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар... Торговая честь страны...

– Много ли, говоришь, капитала-то требуется? – задумчиво спросил Маякин.

– Около трехсот тысяч...

«Столько отец не даст за мной», – подумала Любовь.

– Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле, в виде чемоданов, обуви, сбри, ремней...

– А о каком ты проценте мечтаешь? – спросил старик.

– Я – не мечтаю, я – высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях, – внушительно сказал

Смолин. – Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину... Нужно принимать в расчет трение каждого самонаименьшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России...

– Ишь ты! – усмехнулся Маякин. – Принеси записочку, – любопытно! Видать – ты в Европах недаром время проводил... А теперь – поедим чего-нибудь, по русскому обычаю...

– Как поживаете, Любовь Яковлевна? – спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой.

– Она у меня скучно живет... – ответил за дочь Маякин. – Домоправительница, все хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-то...

– И негде, нужно добавить, – сказала Люба. – Купеческих балов и вечеринок я не люблю...

– А театр? – спросил Смолин.

– Тоже редко бываю... не с кем...

– Театр! – воскликнул старик. – Скажите на милость – зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? Очень это смешно, но – непонятно, потому – неправда! Какой я дурак, ежели в думе я – хозяин, в торговле – хозяин, да и театришко-то мой?.. Смотришь на театре купца и видишь – несообразно с жизнью! Конечно, ежели историческое представляют – примерно. «Жизнь за царя» с пе-

нием и пляской али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису» – тут правды не требуется, потому – дело прошлое и нас не касается... Верно или неверно – было бы здорово... Но ежели современность представляешь, – так уж ты не ври! И показывай человека как следует...

Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любви такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:

– А все-таки, папаша, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико...

– Н-да, – утвердительно кивнув головой, молвил Смолин. – К сожалению, – это печальная истина... А в обществах вы ни в каких не участвуете? Ведь у вас тут много разных обществ...

– Да, – вздохнув, сказала Любовь. – Но я как-то в стороне от всего живу...

– Хозяйство! – вставил отец. – Вон сколько разной дребедени у нас... требуется содержать все на счету, в чистоте и порядке...

Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку, полки которой ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел все это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любви; она в его взгляде уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренне с робкой радостью

сказала про себя:

«Слава богу!..»

Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлей.

– А мне нравится наш старый, славный город! – говорил Смолин, с ласковой улыбкой глядя на девушку. – Такой он красивый, бойкий... есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду... сама его картинность возбуждает как-то... В нем хочется жить широкой жизнью... хочется работать много и серьезно... И притом – интеллигентный город... Смотрите – какая дельная газета издается здесь... Кстати – мы хотим ее купить...

– Кто это – вы? – спросил Маякин.

– Да вот я... Урванцов, Щукин.

– Это – похвально! – ударив рукой по столу, сказал старик. – Пора им глотку заткнуть – давно пора! Особенно Ежов там есть... пила такая зубастая... Вот его вы и приструньте! Да хорошенько!..

Смолин снова бросил Любове улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно дрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренне адресуясь к жениху:

– Насколько я понимаю Африкана Дмитриевича, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите...

– А куда ее? – спросил старик, пожав плечами. – Одно пустозвонство и смута от нее... Конечно, ежели деловой народ,

сам купец возьмется в ней писать...

– Издание газеты, – поучительно заговорил Смолин, перебивая речь старика, – рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень прибыльным делом. Но помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель – это защита прав личности и интересов промышленности и торговли...

– Вот я и говорю, – ежели сам купец будет руководствовать ей, газетой, тогда – она нужна...

– Позвольте, папаша, – сказала Любовь.

Она чувствовала потребность высказаться пред Смолиным; ей хотелось убедить его, что она понимает значение его слов, она – не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет и говорит с ее отцом – первым умником в городе – снисходительным тоном взрослого с малолетним.

«После свадьбы уговорю его свозить меня за границу...» – вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать нелестно для нее.

– Вы, за разговором, совсем забыли предложить гостю вина... – нашлась она после нескольких неприятных секунд молчания.

– Это твое дело: ты хозяйка... – возразил отец.

– О, пожалуйста, не беспокойтесь! – живо воскликнул Смолин. – Я ведь почти не пью...

– Ой ли? – спросил Маякин.

– Уверяю вас! Иногда рюмку, две, в случае утомления, нездоровья... А вино для удовольствия – непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека...

– Барыни, что ли? – подмигнув, спросил старик.

Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал ее отцу:

– Театр, книги, музыка...

Любовь так вся и расцвела при его словах.

А старик исподлобья посмотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил:

– Эх, двигается жизнь-то! Раньше песик корку жрал, – нынче моське сливки жидки... Простите, любезные господа, на кислом слове... слово-то больно уж к месту! Оно – не про вас, а вообще...

Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слышал слов старика... Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдался вперед.

– Так, значит, господин будущий фабрикант, – как ни в чем не бывало заговорил Маякин, – триста тысяч целковых,

и – дело твое заиграет пожаром?

– Через полтора года я выпущу первую партию товара, который у меня оторвут с руками, – с непоколебимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым, холодным взглядом.

– Стало быть: торговый дом Смолин и Маякин и – больше никаких? Тэк-с... Поздно мне будто бы новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан, – ты как думаешь про это?

Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным и холодным смехом, а потом сказал:

– Э, полноте...

Старик вздрогнул при смехе его и пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали.

– Н-да-а... – сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы. – Надо подумать об этом... надобно мне подумать... – Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо: – На минуточку я отойду от вас в кабинетишко к себе...

И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову...

Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь,

взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустил глаза вниз, потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки:

– А... извините меня за нескромность! – должно быть, в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей... ветхозаветен он у вас и – простите – черствуют!

Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему:

– Нелегко, но я привыкла... У него есть свои достоинства...

– О, это несомненно! Но вам, молодой, красивой, образованной, вам с вашими взглядами...

Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий... В комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье.

XII

Фома сидел у Ежова и слушал городские новости из уст своего товарища. Ежов, сидя на столе, заваленном газетами, и болтая ногами, рассказывал:

– Началась выборная кампания, купечество выдвигает в головы твоего крестного, – старого дьявола! Он бессмертен... ему, должно быть, полтора ста лет уже минуло? Дочь свою он выдает за Смолина – помнишь, рыжего! Про него говорят, что это порядочный человек... по нынешним временам порядочными людьми именуют и умных мерзавцев, потому что – людей нет! Африкашка корчит из себя просвещенного человека, уже успел влезть в интеллигентное общество и – сразу встал на виду. По роже судя – жулик первой степени, но, видимо, будет играть роль, ибо обладает чувством меры. Н-да, брат, Африкашка – либерал... Либеральный купец – это помесь волка и свиньи.

– Пес с ними, со всеми! – сказал Фома, равнодушно махнув рукой. – Что мне до них? Ты как – пьешь все?

– Почему же мне не пить?

Полуодетый и растрепанный Ежов был похож на ощипанную птицу, которая только что подралась и еще не успела пережить возбуждения боя.

– Пью, потому что надо мне от времени до времени гасить пламя сердца... А ты, сырой пень, тлеешь понемножку?

– Надо мне идти к старику!.. – сморщив лицо, сказал Фома.

– Дерзай!

– Не хочется...

– Так не ходи!..

– Нужно...

– А тогда – иди!..

– Что ты все балагуришь? – недовольно сказал Фома. –

Будто и в самом деле весело ему...

– Мне, ей-богу, весело! – воскликнул Ежов, спрыгнув со стола. – Ка-ак я вчер-ра одного сударя распатронил в газете! И потом – я слышал один мудрый анекдот: сидит компания на берегу моря и пространно философствует о жизни. А еврей говорит: «Гашпада! И за-ачем штольки много разного шлов? И я вам шкажу все и зразу: жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее море!..»

– Э, ну тебя, – сказал Фома. – Прощай!..

– Иди! Я сегодня высоко настроен, и стонать я с тобой не могу... тем более что ты и не стонешь, а – хрюкаешь...

Фома ушел, оставив Ежова распеваящим во все горло:

Греми в бар-рабан и – не бойся...

«Сам ты барабан...» – с раздражением подумал Фома.

У Маякина его встретила Люба. Чем-то взволнованная и оживленная, она вдруг явилась пред ним, быстро говоря:

– Ты? Боже мой! Ка-акой ты бледный... как похудел... Хорошую, видно, жизнь ведешь!

Потом лицо ее исказилось тревогой и она почти шепотом воскликнула:

– Ах, Фома! Ты не знаешь – ведь... вот! Слышишь? Звонят! Может быть – он...

И девушка бросилась из комнаты, оставив за собой в воздухе шелест шелкового платья и изумленного Фому, – он не успел даже спросить ее – где отец? Яков Тарасович был дома. Он, парадно одетый, в длинном сюртуке, с медалями на груди, стоял в дверях, раскинув руки и держась ими за косяки. Его зеленые глазки щупали Фому; почувствовав их взгляд, он поднял голову и встретился с ними.

– Здравствуйте, господин хороший! – заговорил старик, укоризненно качая головой. – Откуда изволили прибыть? Кто это жирок-то обсосал с вас? Али – свинья ищет, где лужа, а Фома – где хуже?

– Нет у вас других слов для меня? – угрюмо спросил Фома, в упор глядя на старика.

Вдруг он увидал, что крестный вздрогнул, ноги его затряслись, глаза учащенно заморгали и руки вцепились в косяки. Фома двинулся к нему, полагая, что старику дурно, но Яков Тарасович глухим и сердитым голосом сказал:

– Посторонись... отойди!..

Фома отступил назад и очутился рядом с невысоким, круглым человеком, он, кланяясь Маякину, хриплым голо-

сом говорил:

– Здравствуйте, папаша!

– Здра-авствуй, Тарас Яковлевич, здравствуй... – не отнимая рук от косяков, говорил и кланялся старик, криво улыбаясь, – ноги его дрожали.

Фома отошел в сторону и сел, окаменев от любопытства.

Маякин, стоя в дверях, раскачивал свое хилое тело, все упираясь руками в косяки, и, склонив голову набок, молча смотрел на сына. Сын стоял против него, высоко подняв голову, нахмутив брови над большими темными глазами. Черная клинообразная борода и маленькие усы вздрагивали на его сухом лице, с хрящеватым, как у отца, носом. Из-за его плеча Фома видел бледное, испуганное и радостное лицо Любы – она смотрела на отца умоляюще, и казалось – сейчас она закричит. Несколько секунд все молчали, не двигаясь, подавленные тем, что ощущали. Молчание разрушил тихий, странно глухой голос Якова Маякина:

– Старенек ты, Тарас...

Сын молча усмехнулся в лицо отцу и быстрым взглядом окинул его с головы до ног.

Отец, оторвав руки от косяков, шагнул навстречу сыну и – остановился, вдруг нахмурившись. Тогда Тарас Маякин одним большим шагом встал против отца и протянул ему руку.

– Ну... – поцелуемся!.. – тихо предложил отец.

Они судорожно обвили друг друга руками, крепко поцеловались и отступили друг от друга. Морщины старшего

вздрагивали, сухое лицо младшего было неподвижно, почти сурово. Любовь радостно всхлипнула. Фома неуклюже завожился на кресле, чувствуя, что у него спирает дыхание.

– Эх – дети! Язвы сердца, – а не радость его вы!.. – звенящим голосом пожаловался Яков Тарасович, и, должно быть, он много вложил в эти слова, потому что тотчас же после них просиял, приободрился и бойко заговорил, обращаясь к дочери: – Ну ты, раскисла от сладости? Айда-ка собери нам чего-нибудь... Угостим, что ли, блудного сына! Ты, чай, старичишка, забыл, каков есть отец-то у тебя?

Тарас Маякин рассматривал родителя вдумчивым взглядом и улыбался, молчаливый, одетый в черное, отчего седые волосы на голове и в бороде его выступали резче...

– Ну, садись! Говори – как жил, что делал?.. Куда смотришь? Это – крестник мой, Игната Гордеева сын, Фома, – Игната помнишь?

– Я все помню, – сказал Тарас.

– О? Это хорошо... коли не хвастаешь!.. Ну, – женат?

– Вдов...

– Дети есть?

– Померли... двое было...

– Жа-аль... Внуки у меня были бы...

– Я закурю? – спросил Тарас у отца.

– Вали!.. Ишь ты, – сигары куришь...

– А вы не любите их?

– Я? Все равно мне... Я к тому, что барственно как-то,

когда сигара... Я просто так сказал, – смешно мне... Этаким солидный старичина, борода по-иностранному, сигара в зубах... Кто такой? Мой сынишка – хе-хе-хе! – Старик толкнул Тараса в плечо и отскочил от него, как бы испугавшись, – не рано ли он радуется, так ли, как надо, относится к этому полуседому человеку? И он пытливо и подозрительно заглянул в большие, окруженные желтоватыми припухлостями, глаза сына.

Тарас улыбнулся в лицо отца приветливой и теплой улыбкой и задумчиво сказал ему:

– Таким вот я и помню вас, веселым, живым... Как будто вы за эти годы ничуть не изменились!..

Старик гордо выпрямился и, ударив себя кулаком в грудь, сказал:

– Я – никогда не изменюсь!.. Потому – над человеком, который себе цену знает, жизнь не властна!

– Ого! какой вы гордый...

– В сына пошел, должно быть! – с хитрой гримасой молвил старик. – У меня, брат, сын семнадцать лет молчал из гордости...

– Это потому, что отец не хотел его слушать... – напомнил Тарас.

– Ладно уж! Богу только известно, кто пред кем виноват... Он, справедливый, скажет это тебе, погоди! Не время нам с тобой об этом теперь разговаривать... Ты вот что скажи – чем ты занимался в эти годы? Как это ты на содовый завод

попал? В люди-то как выбился?

– История длинная! – вздохнув, сказал Тарас и, выпустив изо рта клуб дыма, начал, не торопясь: – Когда я получил возможность жить на воле, то поступил в контору управляющего золотыми приисками Ремезовых...

– Знаю!.. Три брата, – всех знаю! Один – урод, другой – дурак, а третий – скряга...

– Два года прослужил у него, – а потом женился на его дочери... – хрипящим голосом рассказывал Маякин.

– Так. Неглупо...

Тарас задумался и помолчал. Старик взглянул на его грустное лицо.

– С женой, значит, хорошо жил... – сказал он. – Ну, что ж? Мертвому – рай, живой – дальше играй!.. Не так уж ты стар... Давно овдовел?

– Третий год...

– А на соду как попал?

– Это завод тестя...

– Ага-а! Сколько получаешь?

– Около пяти тысяч...

– Кусок не черствый! Н-да-а! Вот те и каторжник!

Тарас взглянул на отца твердым взглядом и сухо спросил его:

– Кстати – с чего это вы взяли, что я в каторге был?

Старик взглянул на сына с изумлением, которое быстро сменилось в нем радостью:

– А – как же? Не был? О, чтоб вам! Стало быть – как же? Да ты не обижайся! Разве разберешь? Сказано – в Сибирь! Ну, а там – каторга!..

– Чтобы раз навсегда покончить с этим, – серьезно и внушительно сказал Тарас, похлопывая рукой по колену, – я скажу вам теперь же, как все это было. Я был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет и все время ссылки жил в Ленском горном округе... в Москве сидел в тюрьме около девяти месяцев – вот и все!

– Та-ак! Однако – что же это? – смущенно и радостно бормотал Яков Тарасович.

– А тут распустили этот нелепый слух...

– Уж подлинно – нелепый! – сокрушился старик.

– И очень насолили мне однажды...

– Но-о? Неужто?

– Да... Я начал свое дело...

Внимательно слушая беседу Маякиных, упорно разглядывая приезжего, Фома сидел в своем углу и недоумевающе моргал глазами. Вспоминая отношение Любви к брату, до известной степени настроенный ее рассказами о Тарасе, он ожидал увидеть в лице его что-то необычное, не похожее на обыкновенных людей. Он думал, что Тарас и говорит как-нибудь особенно и одевается по-своему, вообще – не похож на людей. А пред ним сидел солидный человек, строго одетый, очень похожий лицом на отца и отличавшийся от него только сигарой. Говорит он кратко, дельно, о простых таких

вещах, – где же особенное в нем? Вот он начал рассказывать отцу о выгодности производства соды... В каторге он не был, – наврала Любовь!

Она то и дело появлялась в комнате. Ее лицо сияло счастьем, и глаза с восторгом осматривали черную фигуру Тараса, одетого в такой особенный, толстый сюртук с карманами на боках и с большими пуговицами. Она ходила на цыпочках и как-то все вытягивала шею по направлению к брату. Фома вопросительно поглядывал на нее, но она его не замечала, пробегая мимо двери с тарелками и бутылками в руках.

Случилось так, что она заглянула в комнату как раз в то время, когда ее брат говорил отцу о каторге. Она замерла на месте, держа поднос в протянутых руках, и выслушала все, что сказал брат о наказании, понесенном им. Выслушала и – медленно пошла прочь, не уловив недоумевающего-насмешливого взгляда Фомы. Погруженный в свои соображения о Тарасе, немного обиженный тем, что никто не обращает на него внимания и еще ни разу не взглянул на него, – Фома перестал на минуту следить за разговором Маякиных и вдруг почувствовал, что его схватили за плечо. Он вздрогнул и вскочил на ноги, чуть не уронив крестного.

– Вот – гляди! Вот Маякин! Его кипятили в семи котлах, а он – жив! И – богат! Понял? Без всякой помощи, один – пробился к своему месту! Это значит – Маякин! Маякин – человек, который держит судьбу в своих руках... Понял? Учись! В сотне нет такого, ищи в тысяче... Так и знай: Маякина из

человека ни в черта, ни в ангела не перекуешь...

Ошеломленный буйным натиском, Фома растерялся, не зная, что сказать старику в ответ на его шумную похвальбу. Он видел, что Тарас, спокойно покуривая свою сигару, смотрит на отца и углы его губ вздрагивают от улыбки. Лицо у него снисходительно-довольное, и вся фигура барски гордая. Он как бы забавлялся радостью старика...

А Яков Тарасович тыкал Фому пальцем в грудь и говорил: – Я его, сына родного, не знаю, – он души своей не открывал предо мной... Может, между нами такая разница выросла, что ее не токмо орел не перелетит – черт не перелезет!.. Может, его кровь так перекипела, что и запаха отцова нет в ней... а – Маякин он! И я это чую сразу... Чую и говорю: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко!...»

Старик дрожал в лихорадке ликования, точно приплясывал, стоя пред Фомой.

– Ну, успокойтесь, батюшка! – сказал Тарас, неторопливо встав со стула и подходя к отцу. – Сядем...

Он небрежно усмехнулся Фоме и, взяв отца под руки, повел к столу...

– Я в кровь верю! – говорил Яков Тарасович. – В ней вся сила! Отец мой говорил мне: «Яшка! Ты подлинная моя кровь!» У Маякиных кровь густая, никакая баба никогда не разбавит ее... А мы выпьем шампанского! Выпьем? Говори мне... говори про себя... как там, в Сибири?

И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыс-

лю, старик уставился в лицо сына испытующими глазами. А через несколько минут обстоятельные, но краткие ответы Тараса опять возбудили в нем шумную радость. Фома все слушал и присматривался, смиренно посиживая в своем углу.

– Золотопромышленность, разумеется, дело солидное, – говорил Тарас спокойно и важно, – но все-таки рискованное и требующее крупного капитала... Очень выгодно иметь дело с инородцами... Торговля с ними, даже поставленная кое-как, дает огромный процент. Это совершенно безошибочное предприятие... Но – скучное. Оно не требует большого ума, в нем негде развернуться человеку – человеку крупного почина...

Вошла Любовь и пригласила всех в столовую. Когда Маякины пошли туда, Фома незаметно дернул Любовь за рукав, и она осталась вдвоем с ним, торопливо спрашивая его:

– Ты что?

– Ничего!.. – улыбаясь, сказал Фома. – Хочу спросить тебя – рада?

– Еще бы! – воскликнула Любовь.

– А чему?

– Станный ты! – удивленно взглянув на него, сказала Любовь. – Разве не видишь?

– Э-эх ты! – с презрительным сожалением протянул Фома. – Разве от твоего отца, – разве в нашем купецком быту родится что-нибудь хорошее? А ты врала мне: Тарас – такой, Тарас – сякой! Купец как купец... И брюхо купеческое... –

Он был доволен, видя, что девушка, возмущенная его словами, кусает губы, то краснея, то бледнея.

– Ты... ты, Фома!.. – задыхаясь, начала она и вдруг, топнув ногой, крикнула ему: – Не смей говорить со мной!

На пороге комнаты она обернула к нему гневное лицо и вполголоса кинула:

– У, ненавистник!..

Фома засмеялся. Ему не хотелось идти туда за стол, где сидят трое счастливых людей. Он слышал их веселые голоса, довольный смех, звон посуды и понимал, что ему, с тяжестью на сердце, не место рядом с ними. И нигде ему нет места. Постояв одиноко среди комнаты, Фома решил уйти из дома, где люди радовались. Выйдя на улицу, он почувствовал обиду на Маякиных; все-таки это были единственные на свете люди, близкие ему. Пред ним встало лицо крестного, дрожащие от возбуждения морщины, освещаемые радостным блеском его зеленых глаз.

«В темноте и гнилушка светит», – злостно думал он. Потом ему вспомнилось спокойное, серьезное лицо Тараса и рядом с ним напряженно стремящаяся к нему фигура Любы. Это возбудило в нем зависть и – грусть.

«Кто на меня так посмотрит?..»

Он очнулся от своих дум на набережной, у пристаней, разбуженный шумом труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары; люди двигались спешно, озабоченно, понукали лошадей, раздражаясь, кричали друг на друга, наполняли ули-

цу бестолковой суетой и оглушающим шумом торопливой работы. Они возились на узкой полосе земли, вымощенной камнем, с одной стороны застроенной высокими домами, а с другой – обрезанной крутым обрывом к реке; кипучая жизнь производила на Фому такое впечатление, как будто все они собрались бежать куда-то от этой работы в грязи, тесноте и шуме, – собрались бежать и спешат как-нибудь скорее окончить недоделанное и не отпускающее их от себя. Их уже ждали огромные пароходы, стоя у берегов, выпуская из труб клубы дыма. Мутная вода реки, тесно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берег, точно просила дать и ей минутку покоя и отдыха...

С одной из пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая «дубинушка». Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрых движений, и подгоняли к ним запевку и припев.

В кабаках купцы большие
Пью-ют наливочки густые, —

бойким речитативом рассказывал запевала. Артель дружно подхватывала:

Ой, да дубинушка, ухнем!

И потом басы кидали в воздух твердые звуки:

Идет, идет...

А тенора вторили им:

Идет, идет...

Фома вслушался в песню и пошел к ней на пристань. Там он увидел, что крючники, вытянувшись в две линии, выкатывают на веревках из трюма парохода огромные бочки. Грязные, в красных рубахах с расстегнутыми воротами, в рукавицах на руках, обнаженных по локоть, они стояли над трюмом и шутя, весело, дружно, в такт песне, дергали веревки. А из трюма выносился высокий, смеющийся голос невидимого запевалы:

А мужицкой нашей глотке
Не-е хватает вдоволь водки...

И артель громко и дружно, как одна большая грудь, вздыхала:

Э-эх, ду-убинушка, ухнем!

Фоме было приятно смотреть на эту стройную, как музыка, работу. Чумазые лица крючников светились улыбками, работа была легкая, шла успешно, а запевала находился в ударе. Фоме думалось, что хорошо бы вот так дружно рабо-

тать с добрыми товарищами под веселую песню, устать от работы, выпить стакан водки и поесть жирных щей, изготовленных дородной и разбитной артельной маткой...

– Проворне, ребята, проворне! – раздался рядом с ним неприятный, хриплый голос. Фома обернулся. Толстый человек с большим животом, стучая в палубу пристани палкой, смотрел на крючников маленькими глазками. Лицо и шея у него были облиты потом; он поминутно вытирал его левой рукой и дышал так тяжело, точно шел в гору.

Фома неприязненно посмотрел на этого человека и подумал:

«Люди работают, а он потеет... А я – еще его хуже...»

Из каждого впечатления у Фомы сейчас же выделялась колкая мысль об его неспособности к жизни. Все, на чем останавливалось его внимание, имело что-то обидное для него, и это обидное кирпичом ложилось на грудь ему.

Вечером он снова зашел к Маякиным. Старика не было дома, и в столовой за чаем сидела Любовь с братом. Подходя к двери, Фома слышал сиплый голос Тараса:

– Что же заставляет отца возиться с ним?

При виде Фомы он замолчал, уставившись в лицо его серьезным, испытующим взглядом. На лице Любви ясно выразилось смущение, и она, как бы извиняясь, сказала Фоме:

– А! Это ты...

«Про меня шла речь!» – сообразил Фома, подсаживаясь к столу.

Тарас отвел от него глаза и уселся в кресло поглубже. С минуту продолжалось неловкое молчание, и оно было приятно Фоме.

– Ты на обед пойдешь? – спросила наконец Любовь.

– На какой?..

– Разве не знаешь? Кононов новый пароход освящает...

Молебен будет, а потом поедут вверх по Волге...

– Меня не звали, – сказал Фома.

– Никого не звали... Просто он на бирже пригласил – кому угодно почтить меня, – пожалуйста!

– Мне не угодно...

– Да? Смотри – выпивка будет там грандиозная, – искоса взглянув на него, сказала Любовь.

– Я и на свои напьюсь, коли захочу...

– Знаю! – выразительно кивнув головой, сказала Любовь.

Тарас играл чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывал на них.

– А где крестный? – спросил Фома.

– В банк поехал... Сегодня заседание правления... Выборы будут...

– Опять его выберут?..

– Разумеется...

И снова разговор оборвался. Тарас медленно, большими глотками выпил чай и, молча подвинув к сестре стакан, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стакан и начала усердно мыть его. Потом ее лицо

приняло выражение напряженное, она вся как-то насторожилась и вполголоса, почти благоговейно спросила брата:

– Можно возвратиться к началу разговора?

– Пожалуйста! – кратко разрешил Тарас.

– Ты сказал – я не поняла – как это? Я спросила: «Если все это утопии, по-твоему, если это невозможно... мечты... то что же делать человеку, которого не удовлетворяет жизнь?»

Ее глаза с напряженным ожиданием остановились на спокойном лице брата. Он взглянул на нее, повозился на кресле и, опустив голову, спокойно и внушительно заговорил:

– Надо подумать, из какого источника является неудовлетворенность жизнью?.. Может быть, это от неумения трудиться... от недостатка уважения к труду? Или – от неверного представления о своих силах... Несчастье большинства людей в том, что они считают себя способными на большее, чем могут... А между тем от человека требуется – немного; он должен избрать себе дело по силам и делать его как можно лучше... Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества... Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный стул... И так – во всем... Ты почитай Смайльса – не читала? Очень дельная книга... Здоровая книга... Леббока «Радости жизни» почитай... Вообще помни, что англичане самая трудоспособная нация, чем и объясняется их изумительный успех в области промышленной и торговой... У них труд – почти культ... Высота культуры всегда стоит в прямой

зависимости от любви к труду... А чем выше культура, – тем глубже удовлетворены потребности людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей человека... Счастье – возможно полное удовлетворение потребностей... Вот... И, как видишь, счастье человека обусловлено его отношением к своему труду...

Тарас Маякин говорил так медленно и тягуче, точно ему самому было неприятно и скучно говорить. А Любовь, нахмутив брови и вытянувшись по направлению к нему, слушала речь его с жадным вниманием в глазах, готовая все принять и впитать в душу свою.

– Ну, а ежели человеку все противно?.. – заговорил Фома.

– Что именно противно? – спросил Маякин спокойно и не взглянув на Фому.

Тот наклонил голову, уперся руками в стол и так, быком, продолжал изъясняться:

– Всё – не по душе... Дела... труды... люди... Ежели, скажем, я вижу, что все – обман... Не дело, а так себе – затычка... Пустоту души затыкаем... Одни работают, другие только командуют и потеют... А получают за это больше... Это зачем же так? а?

– Не могу уловить вашу мысль!.. – заявил Тарас, когда Фома остановился, чувствуя на себе пренебрежительный и сердитый взгляд Любви.

– Не понимаете? – с усмешкой посмотрев на Тараса, спросил Фома. – Ну... скажем так: едет человек в лодке по реке...

Лодка, может быть, хорошая, а под ней все-таки глубина... Лодка – крепкая... но ежели человек глубину эту темную под собой почувствует... никакая лодка его не спасет...

Тарас смотрел на Фому равнодушно и спокойно. Смотрел, молчал и тихо постукивал пальцами по краю стола. Любовь беспокойно вертелась на стуле. Маятник часов глухим, вздыхающим звуком отбивал секунды. И сердце Фомы билось медленно и тяжело, чувствуя, что здесь никто не откликнется теплым словом на его тяжелое недоумение.

– Работа – еще не все для человека... – говорил он скорее себе самому, чем этим людям. – Это неверно, что в трудах – оправдание... Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... это как? А трудящиеся – они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... больше ничего!.. Но они имеют перед богом свое оправдание... Их спросят: «Вы для чего жили, а?» Они скажут: «Нам некогда было думать насчет этого... мы всю жизнь работали!» А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать – для чего живешь?

Он помолчал и, вскинув голову, воскликнул глухим голосом:

– Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и – умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился,

пожил и помер – зачем? Нужно сообразить – зачем живем? Толку нет в жизни нашей... Потом – не ровно все – это сразу видно! Одни богаты – на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие – всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях – малая... Иной – без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелки одет...

Охваченный своими мыслями, Фома долго бы излагал их, но Тарас отодвинул свое кресло от стола, встал и со вздохом негромко произнес:

– Нет, спасибо!.. Больше не хочу...

Фома круто оборвал свою речь и повел плечами, с усмешкой взглянув на Любовь.

– Откуда это ты набрался такой философии? – спросила она недоверчиво и сухо.

– Это не философия... Это... наказание! – вполголоса сказал Фома. – Открой глаза и смотри на все – тогда это само в голову ползет...

– Вот кстати, Люба, обрати внимание, – заговорил Тарас, стоя спиной к столу и рассматривая часы, – пессимизм совершенно чужд англосаксонской расе... То, что называют пессимизмом Свифта и Байрона, – только жгучий, едкий протест против несовершенства жизни и человека... А холодного, рассудочного и пассивного пессимизма у них не встретишь...

Затем, как бы вдруг вспомнив о Фоме, он обернулся к

нему, заложил руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказал:

– Вы поднимаете очень важные вопросы. Некоторые считают их детскими... Если они серьезно занимают вас – вам надо почитать книг... В них вы найдете немало ценных суждений о смысле жизни... Вы – читаете книги?

– Нет! – кратко ответил Фома. – Не люблю.

– Но, однако, они могли бы кое в чем помочь вам... – сказал Тарас, и по губам его скользнула улыбка...

– Если люди помочь мне в мыслях моих не могут – книги и подавно!.. – угрюмо проговорил Фома.

Ему стало скучно с этим равнодушным человеком. Он хотел бы уйти, но в то же время ему хотелось сказать Любови что-нибудь обидное об ее брате, и он ждал, не выйдет ли Тарас из комнаты. Любовь мыла посуду; лицо у нее было сосредоточенно и задумчиво, руки двигались вяло. Тарас, расхаживая по комнате, останавливался пред горками с серебром, посвистывал, щелкал пальцами по стеклу и рассматривал вещи, прищуривая глаза. Фома, заметив, что Любовь несколько раз вопросительно, с неприязнью и ожиданием взглянула на него, понял, что он стесняет ее.

– Я у вас ночую... – сказал он, улыбаясь ей. – Надо мне поговорить с крестным. Да и скучно дома одному...

– Так ты поди, скажи Марфуше, чтоб она приготовила тебе постель в угловой... – торопливо посоветовала Любовь.

– Могу...

Он встал и вышел из столовой. И тотчас же услышал, что

Тарас негромко спросил сестру о чем-то.

«Про меня, – подумал он. Вдруг в голове его мелькнула злая мысль: – Послушать, что скажут умные люди...»

Он бесшумно прошел в другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тут не было, лишь узкая лента света из столовой, проходя сквозь непритворенную дверь, лежала на темном полу. Фома тихо, с замиранием в сердце, подошел вплоть к двери и остановился...

– Тяжелый парень... – сказал Тарас.

Пониженно, торопливо заговорила Любовь:

– Он тут все кутил... Безобразничал – ужасно! Вдруг как-то началось у него... Сначала избил в клубе зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтоб загасить скандал. Хорошо еще, что избитый оказался человеком дурной репутации... Однако с лишком две тысячи стоило это отцу... А пока отец хлопотал по поводу одного скандала, Фома чуть не утопил целую компанию на Волге.

– Вот чудовище! И занимается исследованиями о смысле жизни...

– Другой раз ехал на пароходе с компанией таких же, как сам, кутил и вдруг говорит им: «Молитесь богу! Всех вас сейчас пошвыряю в воду!» Он страшно сильный... Те – кричать... А он: «Хочу послужить отечеству, хочу очистить землю от дрянных людей...»

– Это остроумно!

– Ужасный человек! Сколько он натворил за эти годы ди-

ких выходов... Сколько прожил денег!

– Скажи – отец управляет его делом на каких условиях, – не знаешь?

– Не знаю! У него полная доверенность есть... А что?

– Так... Солидное дело! Разумеется, поставлено оно по-русски – отвратительно... И тем не менее – прекрасное дело! Если им заняться как следует...

– Фома совершенно ничего не делает... Всё в руках отца...

– Да?

– Знаешь, порой мне кажется, что у Фомы это... вдумчивое настроение, речи эти – искренни и что он может быть очень... порядочным!.. Но я не могу помирить его скандальной жизни с его речами и суждениями...

– Да и не стоит об этом заботиться... Недоросль и лентяй – ищет оправдания своей лени...

– Нет, видишь ли, иногда он бывает – как ребенок...

– Я и сказал: недоросль. Стоит ли говорить о невежде и дикаре, который сам хочет быть дикарем и невеждой? Ты видишь: он рассуждает так же, как медведь в басне оглобли гнул...

– Очень ты строг...

– Да, я строг! Люди этого требуют... Мы все, русские, отчаянные распустехи... К счастью, жизнь слагается так, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся... Мечты – юношам и девам, а серьезным людям – серьезное дело...

– Иногда мне очень жалко Фому... Что с ним будет?

– Ничего не будет особенного – ни хорошего, ни дурного... Проживет деньги, разорится... Э, ну его! Такие, как он, теперь уж редки... Теперь купец понимает силу образования... А он, этот твой молочный брат, он погибнет...

– Верно, барин! – сказал Фома, появляясь на пороге. Бледный, нахмутив брови, скривив губы, он в упор смотрел на Тараса и глухо говорил: – Верно! Пропаду я и – аминь! Скорее бы только!

Любовь со страхом на лице вскочила со стула и подбежала к Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунув руки в карманы.

– Фома! О! Стыдно! Ты подслушивал, – ах, Фома! – растерянно говорила она.

– Молчи! Овца!

– Н-да, подслушивать у дверей нехорошо-о! – медленно выговорил Тарас, не спуская с Фомы пренебрежительного взгляда.

– Пускай нехорошо! – махнув рукой, сказал Фома. – Али я виноват в том, что правду только подслушать можно?

– Уйди, Фома! Пожалуйста! – просила Любовь, прижимаясь к брату.

– Вы, может быть, имеете что-нибудь сказать мне? – спокойно спросил Тарас.

– Я? – воскликнул Фома. – Что я могу сказать? Ничего не могу!.. Это вы вот – вы всё можете...

– Значит, вам со мной не о чем разговаривать? – снова спросил Тарас.

– Нет!

– Это мне приятно...

Он повернулся боком к Фоме и спросил у Любви:

– Как ты думаешь – скоро вернется отец?

Фома посмотрел на него и, чувствуя что-то похожее на уважение к этому человеку, осторожно пошел вон из дома. Ему не хотелось идти к себе в огромный пустой дом, где каждый шаг его будил звучное эхо, и он пошел по улице, окутанной тоскливо-серыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасе Маякине.

«Твердый... В отца, только не так суетлив... Чай, тоже – выжига... А Любка – чуть ли не святым его считала – дуреха! Как он меня отчитывал! Судья... Она – добрая ко мне!..»

Но все эти мысли не возбуждали в нем ни обиды против Тараса, ни симпатии к Любви.

Вот мимо него промчался рысак крестного. Фома видел маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не возбудила в нем ничего. Фонарщик пробежал, обогнал его, подставил лестницу к фонарю и полез по ней. А она вдруг поехала под его тяжестью, и он, обняв фонарный столб, сердито и громко обругался. Какая-то девушка толкнула Фому узлом в бок и сказала:

– Ах, извините...

Он взглянул на нее и ничего не ответил. Потом с неба по-

сыпалась изморось, – маленькие, едва видимые капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазинов сероватой пылью. От этой пыли стало тяжело дышать...

«К Ежову, что ли, пойти ночевать? Выпить с ним...» – подумал Фома и пошел к Ежову, не имея желания ни видеть фельетониста, ни пить...

У Ежова на диване сидел лохматый человек в блузе, в серых штанах. Лицо у него было темное, точно копченое, глаза неподвижные и сердитые, над толстыми губами торчали щетинистые солдатские усы. Сидел он на диване с ногами, обняв их большими руками и положив на колени подбородок. Ежов уселся боком в кресле, перекинув ноги через его ручку. Среди книг и бумаг на столе стояла бутылка водки, в комнате пахло соленой рыбой.

– Ты что бродишь? – спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: – Гордеев!

Тот взглянул на вошедшего и резким, скрипящим голосом сказал:

– Краснощеков...

Фома сел в угол дивана, объявив Ежову:

– Я ночевать пришел...

– Ну, так что? Говори дальше, Василий...

Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел:

– По-моему, вы напрасно наваливаете так на глупых-то людей – Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в

лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид – тоже дурак, наверно... однако, кабы он не воткнул в себя имперских пик, – швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков! Однако – они герои... А умники-то – трусы... Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он соображает: «А что отсюда выйдет? а как бы даром не пропасть?» И стоит перед делом, как кол... пока не околеет. Дурак – он храбрый! Прямо лбом в стену – хрясь! Разобьет башку – ну что ж? Телячьи головы недороги... А коли он трещину в стене сделает, – умники ее в ворота расковыряют, пройдут и – честь себе припишут!.. Нет, Николай Матвееч, храбрость дело хорошее и без ума...

– Василий, ты говоришь глупости! – сказал Ежов, протягивая к нему руку.

– А, конечно! – согласился Василий. – Где мне лаптем щи хлебать... А все-таки я не слепой... И вот вижу: ума много, а толку нет.

– Подожди! – сказал Ежов.

– Не могу! У меня сегодня дежурство... Я и то, чай, опоздал... Я завтра зайду, – можно?

– Валяй! Я тебя распатроню!

– Такое ваше дело...

Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснул ее.

– Прощайте!

Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь.

– Видал? – спросил Ежов у Фомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.

– Что за человек?

– Помощник машиниста, Васька Краснощеков... Вот возьми с него пример: пятнадцати лет начал грамоте учиться, а в двадцать восемь прочитал черт его знает сколько хороших книг, да два языка изучил в совершенстве... За границу едет...

– Зачем? – спросил Фома.

– Учиться, посмотреть, как там люди живут... А ты вот – киснешь...

– Насчет дураков дельно он говорил! – задумчиво сказал Фома.

– Не знаю, ибо я – не дурак...

– Дельно! Тупому человеку надо сразу действовать... Навалился, опрокинул...

– Пошла писать губерния! – воскликнул Ежов. – Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?

– Правда... А что?

– Ничего!

– По роже твоей видать, есть что-то...

– Знаем мы этого сына – слышали о нем... На отца похож?

– Круглее... серьезности больше... такой холодный!

– Ну, ты, брат, смотри теперь в оба! А то они тебя огложут... Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтяпал...

– Пусть и меня обтяпает, коли хочет. Я ему за это, кроме спасибо, ни слова не скажу...

– Это ты все о старом? Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен... Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб!

Ежов вскочил на ноги и, встав против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя:

– Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чер-рт ее побери! Я б им сказал: «Букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой...»

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожий на освирепевшее хищное животное.

– Я сказал бы им: «Вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и – трусы все вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька». Окунув перст в кровь сердца моего,

я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы... О, уж тогда они страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! А теперь они – не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия...

Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова встал пред Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкие и острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заразился его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, – глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.

– Я знаю меру сил моих, я знаю – мне закричат: «Молчать!» Скажут: «Цыц!» Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут... Я знаю – я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики... Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на

щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: «Да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир! А вы, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда есть содержание, понятное вам, – вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу... За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте: разразится буря, и она сметет и смоеет вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и, когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!»

– Круши! – взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами он заглядывал в лицо Ежова, наклонясь к нему, и с тоской, с горестью почти застонал: – Э-эх! Николка... Милый, жаль мне тебя до смерти! Так жаль – сказать не могу!

– Что такое? Что ты? – отталкивая его, крикнул Ежов, удивленный и сбитый неожиданным порывом и странными словами Фомы.

– Эх, брат! – говорил Фома, понижая голос, отчего он становился убедительнее и гуще. – Живая ты душа, – за что пропадаешь?

– Кто? Я? Пропадаю? Врешь!

– Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто

тебя услышит? Только я вот...

– Пошел ты к черту! – злобно крикнул Ежов, отскакивая от него, как обожженный.

А Фома говорил убедительно и с великой грустью:

– Ты говори! Говори мне! Я вынесу твои слова куда надо... Я их понимаю... И ах, как ожгу людей! погоди только!.. Придет мне случай!..

– Уйди! – истерически закричал Ежов, прижавшись спиной к стене. Он стоял растерянный, подавленный, обозленный и отмахивался от простертых к нему рук Фомы. А в это время дверь в комнату отворилась, и на пороге стала какая-то вся черная женщина. Лицо у нее было злое, возмущенное, щека завязана платком. Она закинула голову, протянула к Ежову руку и заговорила с шипением и свистом:

– Николай Матвеевич! Извините – это невозможно! Зверский вой, рев!.. Каждый день гости... Полиция ходит... Нет, я больше терпеть не могу! У меня нервы... Извольте завтра очистить квартиру... Вы не в пустыне живете – вокруг вас люди!.. Всем людям нужен покой... У меня – зубы... Завтра же, прошу вас.

Она говорила быстро, большая часть ее слов исчезала в свисте и шипении; выделялись лишь те слова, которые она выкрикивала визгливым, раздраженным голосом. Концы платка торчали на голове у нее, как маленькие рожки, и тряслись от движения ее челюсти, Фома при виде ее взволнованной и смешной фигуры опустился на диван. Ежов сто-

ял и, потирая лоб, с напряжением вслушивался в ее речь...

– Так и знайте! – крикнула она, а за дверью еще раз сказала: – Завтра же! Безобразия...

– Ч-черт! – прошептал Ежов, тупо глядя на дверь.

– Н-да-а! Строго! – удивленно поглядывая на него, сказал Фома.

Ежов, подняв плечи, подошел к столу, налил половину чайного стакана водки, проглотил ее и сел у стола, низко опустив голову. С минуту молчали. Потом Фома робко и негромко сказал:

– Как все это произошло... глазом не успели моргнуть, и – вдруг такая разделка... а?

– Ты! – вскинув голову, заговорил Ежов вполголоса, озлобленно и дико глядя на Фому. – Ты молчи! Ты – черт тебя возьми... Ложись и спи!.. Чудовище... Кошмар... у!

Он погрозил Фоме кулаком. Потом налил еще водки и снова выпил...

Через несколько минут Фома, раздетый, лежал на диване и сквозь полузакрытые глаза следил за Ежовым, неподвижно в изломанной позе сидевшим за столом. Он смотрел в пол, и губы его тихо шевелились... Фома был удивлен – он не понимал, за что рассердился на него Ежов? Не за то же, что ему отказали от квартиры? Ведь он сам кричал...

– О, дьявол!.. – прошептал Ежов и заскрипел зубами.

Фома осторожно поднял голову с подушки. Ежов, глубоко и шумно вздыхая, снова протянул руку к бутылке... Тогда

Фома тихонько сказал ему:

– Пойдем лучше куда-нибудь в гостиницу... Еще не поздно...

Ежов посмотрел на него и странно засмеялся, потирая голову руками. Потом встал со стула и кратко сказал Фоме:

– Одевайся!..

И, видя, как медленно и неуклюже Фома заворочался на диване, он нетерпеливо и со злобой закричал:

– Ну, скорее возись!.. Оглобля символическая!

– А ты не ругайся! – миролюбиво улыбаясь, сказал Фома. – Стоит ли сердиться из-за того, что баба расквакалась?

Ежов взглянул на него, плюнул и резко захохотал...

XIII

– Все ли здесь? – спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. – Кажись, все!

И, подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:

– Отваливай, Петруха!

– Есть!..

Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой, черной бороде, крякнул и скомандовал:

– Назад! Тихий!

Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц.

– Благослови-ко, господи! – умиленно воскликнул Кононов.

– Отдай кормовую! Вперед! – командовал капитан.

Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом выпустил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения.

– Эк пошел! – с восхищением сказал коммерции советник Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. – Не дрогнул! Как барыня в пляс!..

– Левиафан! – благочестиво вздыхая, молвил рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик.

День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной, торжествующей улыбкой.

– Господа почтенная компания! – сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. – Как теперь мы, так сказать, воздали богу – богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю – кесарево!

И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул:

– Музыка! «Славься» играй!

Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.

А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном животе:

– Славься, сла-авься, наш русский царь – тра-ра-та! Бум!

– Прошу, господа, за стол! Пожалуйте! Чем бог послал...

Покорнейше прошу... – приглашал Кононов, толкаясь в тес-

ной группе гостей.

Их было человек тридцать, всё солидные люди, цвет местного купечества. Те, которые были постарше, – лысые и седые, – оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно, уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, – не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода – все это раздражало его.

Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрашивал его идти к Кононову на молебен и обед?

Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке и всю службу наблюдал за купцами.

Они стояли в благоговейном молчании; лица их были бла-

гочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них.

Вот Луп Резников, – он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним – второй уже раз, по такому же обвинению – привлечен к делу и Захар Кириллов Робустов – толстый, низенький купец с круглым лицом и веселыми голубыми глазами... Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.

Он знал, что все они завидуют успеху Коконова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом, торговом деле, все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки... Но теперь, собравшись вокруг Коконова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые и окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, – чем-то таким, что отгаливало Фому от них и возбуждало в нем робость пред ними.

«Обманщики...» – думал он, ободряя себя.

А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие, черные камни.

«Притворяются!» – восклицал про себя Фома. А стоявший обок с ним горбатый и кривой Павлин Гуцин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:

– «Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене...»

И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость его.

– «Господи боже отец наших, заповедавый Ною, рабу твоему, устроить кивот ко спасению мира...» – густым басовым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: – «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна... хотящие плиты на нем сохрани...»

Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло груди свои знамением креста, и на всех лицах выразалось одно чувство – вера в силу молитвы...

Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость бога, были так жестки к человеку.

Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех.

Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову:

– Иона Никифорыч! Гляди – кит! Вполне для твоей особы футляром может быть... а? Как нога в сапог, влезешь, а? Хе-хе!

Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки перед собой, боясь опрокинуть их.

Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паштет, сделанный в виде башни.

– Господа! Прошу! Кто чего желает! – кричал Кононов. – У меня все сразу пущено, – что кому по душе... Русское наше, родное – и чужое, иностранное... все сразу! Этак-то лучше... Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих – а? Из Индии, говорят...

А Зубов говорил своему соседу, Маякину:

– Молитва «Во еже устроить корабль» к буксирному и речному пароходу неподходяща, то есть не то – неподходяща, – а одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного

жительства команды, должен быть приравнен к дому... Стало быть, потребно, окромя молитвы «Во еже устроити корабль», – читать еще молитву на основание дома... Ты чего выпьешь, однако?

– Я человек не винный, налей мне водочки тминной!.. – ответил Яков Тарасович.

Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляды старика.

«Бойтся, что наскандалю...» – думал Фома.

– Братцы! – хрипел безобразно толстый пароходчик Ящуров. – Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начинаю... у меня такая природа!

– Музыка! Вали «Персидский марш»...

– Стой! Лучше – «Коль славен...»

– Дуй «Коль славен...»

Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов в большой – все это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских голосов и несло за паромом, как ураган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков,

было что-то раздраженное и презрительное...

– А что ты вексель отказался мне учесть – этого я по гроб не забуду! – кричал кто-то неистовым голосом.

– Бу-удет! разве здесь счетам место? – раздавался бас Боброва.

– Братцы! Надо речи говорить!

– Музыка – цыц!

– Ты приди ко мне в банк, я тебе и объясню, почему не учел...

– Речь! Тише...

– Му-зыка, переста-ать!

– «Во лузях»!..

– «Мадам Ангу»!..

– Не надо! Яков Тарасыч – просим!

– Это называется – страсбургский пирог...

– Просим! Просим!

– Пирог? Н-не похоже... ну, все-таки я поем!..

– Тарасыч! Действуй...

– Братцы мои! Весело! Ей-богу...

– А в «Прекрасной Елене» она, голубчик, выходила совсем почти голенькая... – вдруг прорвался сквозь шум тонкий и умиленный голос Робустова.

– Погоди! Иаков Исава – надул? Ага!

– Тарасыч! Не ломайся!

– Тише! Господа! Яков Тарасович скажет слово!

И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то

громкий, негодующий шепот:

– Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет...

А Бобров спросил громким басом:

– З-за к...какое место?

Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривал купечество ожидающим внимания, серьезным взглядом.

– Ну, братцы, разевай уши! – с удовольствием крикнул Кононов.

– Господа купечество! – заговорил Маякин, усмехаясь. – Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души...

– Смирно!..

– Милостивые государи! – повысив голос, говорил Маякин. – В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми... Что же это такое – культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова – что оно в себе заключает?

Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествующе усмехнувшись, отдельно продолжал:

– Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни.

«Так! – подумал я, – так! Значит – культурный человек тот будет, который любит дело и порядок... который вообще – жизнь любит – устраивать, жить любит, цену себе и жизнь знает... Хорошо!» – Яков Тарасович вздрогнул; морщины разошлись по лицу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звезду.

Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.

– Но коли так, – а именно так надо толковать это слово, – коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы – дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, – мы же действие... И вот, господи купечество, пример нашей культуры, – любви к делу, – Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас... Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят... Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходищи, баржи – чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все – наше, тут все – плод нашего ума,

нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали – вывели разбои и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше... Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит – тот говорит... – он смачно выговорил похабное слово, – и больше ничего! Пускай! Дует ветер – шумит ветла, перестал – молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы – бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно... А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут сделать, – вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал – за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество... Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!

Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, восторженный рев купечества. Все эти крупные мяси-

стые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из груди такой дружный, массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось.

– Яков! Труба ты божия! – кричал Зубов, протягивая свой бокал Маякину.

Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.

– А? Что это сказано? – спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его. – Ты – пойми! Великая сказана речь!

– Яков! Дай – облобызаю!

– Качать Маякина!

– Музыка, играй...

– Туш! Марш... Персидский!..

– Не надо музыку! К черту!

– Тут вот она, музыка! Эх, Маякин!

– Мал бех во братии моей... но ума имамы...

– Врешь, Трофим!

– Яков! Умрешь ты скоро – жаль! Так жаль... нельзя сказать!

– Ну, какие же это будут похороны!

– Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу!

– Молчать! Погодите!

– Господа! – весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. – И еще потому мы есть первые люди жизни и

настоящие хозяева в своем отечестве, что мы – мужики!

– Вер-рно!

– Так! М-мать честная! Ну, старик!

– Дай сказать...

– Мы – коренные русские люди, и все, что от нас, – коренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее – самое полезное и обязательное...

– Как дважды два!

– Просто!

– Мудр, яко змий!

– И кроток, яко...

– Ястреб! Ха-ха!

Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал:

– Кам-маринского! Русскую!..

– Это мы всё сделали! – кричал Яков Тарасович, указывая на реку. – Наше все! Мы жизнь строили!

Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:

– А! Это вы? Ах вы...

И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услышали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду

были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

– Это кто лает? – спросил Кононов, нахмутив брови...

– Эх! Не можем не безобразить! – сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

– Гордеев!.. – тихо сказал Иона Юшков.

И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин.

Там, упираясь руками о стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду.

– Что вытарасили зенки? – спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

– Упился! – качнув головой, сказал Бобров.

– И зачем его пригласили? – тихо шептал Резников.

– Фома Игнатьевич! – степенно заговорил Кононов. – Безобразить не надо... Ежели... тово... голова кружится – поди, брат, тихо, мирно в каюту и – ляг! Ляг, милый, и...

– Цыц, ты! – зарычал Фома, поводя на него глазами. – Не смей со мной говорить! Я не пьян – я всех трезвее здесь! Понял?

– Да ты погоди-ка, душа, – тебя кто звал сюда? – покраснев от обиды, спросил Кононов.

– Это я его привел! – раздался голос Маякина.

– А! Ну, тогда – конечно!.. Извините, Фома Игнатьевич... Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо... А то – нехорошо...

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

– Эх, Фомка! – заговорил Маякин. – Опять ты позоришь старость мою...

– Папаша крестный! – оскаливая зубы, сказал Фома. – Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я не пьян, – я не пил, а все слушал... Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте...

– Какие речи? – сказал Резников. – Зачем разговоры? Сошлись повеселиться...

– Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич...

– Лучше выпей чего-нибудь...

– Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура

его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых, красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.

– Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! – сказал он твердо и с угрозой. – Будете слушать или нет, а я говорить буду... Выгнать здесь меня некуда...

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:

– Но ежели кто пальцем тронет – убью! Клянусь господом богом – сколько смогу – убью!

Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шепот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми...

– Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали... что вы сделали самое настоящее и верное...

Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшись, точно они вспухли... Купечество молчало, все плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал:

– Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума?

– О, с-сволочи! – воскликнул Гордеев, качая головой. – Что вы сделали? Не жизнь вы сделали – тюрьму... Не порядок вы устроили – цепи на человека выковали... Душно, тесно, повернуться негде живой душе... Погибает человек!..

Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?

– Это что же такое? – воскликнул Резников, в негодовании и гневе всплескивая руками. – Я таких речей слышать не могу...

– Гордеев! – закричал Бобров. – Смотри – ты говоришь неладно...

– За такие речи ой-ой-ой! – внушительно сказал Зубов.

– Цыц! – взревел Фома, и глаза у него налились кровью. – Захрюкали...

– Господа! – зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно-зловещий голос Маякина. – Покорнейше прошу – не препятствуйте! Пусть полагает, – пусть его потешится!.. От его слов вы не изломитесь...

– Ну, нет, покорно благодарю! – крикнул Юшков.

А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо:

– Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел?

– Пошел прочь! – твердо сказал Фома, блеснув на него гневными глазами. – Иди вон к Маякину, лижи его, авось кусок перепадет!

Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону. И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их к месту своими словами и – не находил в себе таких сильных слов.

– Вы сделали жизнь? – крикнул он. – Кто вы? Мошенники,

грабители...

Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позвал.

– Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторгу осудят, – прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь... В Сибирь на казенном повезут...

Кононов опустил на стул; лицо его налилось кровью, и он молча погрозил кулаком. [Потом] хрипло сказал:

– Ладно... хорошо... я этого не-е забуду...

Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами и понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих людей.

– Строители жизни! Гуцин – подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день... немало украл ты у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела – сыну бы отдал... все равно, он теперь с другой твоей шашни завел... А ты не знал? Эх, свинья толстая! А ты, Луп, – открой опять веселый дом да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя черти облупят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть!.. Кого ты убил тогда, Луп?

Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, что слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когда он держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отходили в сторону, собирались в группы и издали смотрели на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Он

видел улыбки на их лицах, он чувствовал в каждом их движении что-то пренебрежительное и понимал, что слова его хотя и злят их, но не задевают так глубоко, как бы ему хотелось. Все это охлаждало его гнев, и уже в нем зарождалось горькое сознание неудачи своего нападения на них... Но как только он заговорил о каждом отдельно, – отношение слушателей к нему быстро и резко изменилось.

Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав тяжести суровых слов Фомы, – Фома заметил, что на лицах некоторых из купцов мелькнули едкие и злые улыбки. Он услышал чей-то одобрителный и удивленный шепот:

– Вот – здо-орово!

Этот шепот придавал силы Фоме, и он с уверенностью начал швырять насмешки и ругательства в тех, кто попадался ему на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. Его слушали молча, внимательно; несколько человек подвинулись поближе к нему.

Раздавались протестующие восклицания, но негромкие, краткие, и каждый раз, когда Фома выкрикивал чье-либо имя, – все молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали в сторону обличаемого товарища.

Бобров смущенно смеялся, но его маленькие глазки сверлили Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил:

– Будьте свидетелями... Я этого не прощу! Я – к мировому... Что такое? – И вдруг тонким голосом завизжал, протя-

нув к Фоме руки: – Связать его!..

Фома хохотал.

– Правду не свяжешь, врешь!

– Хо-орошо! – тянул Кононов глухим, надорванным голосом.

– Вот, господа купечество! – звенел Маякин. – Прошу полюбоваться! Вот он каков!

Купцы один за другим подвигались к Фоме, и на лицах их он видел гнев, любопытство, злорадное чувство удовольствия, боязнь... Кто-то из тех скромных людей, среди которых он сидел, шептал Фоме:

– Так их!.. Валяйте их! Это зачтется...

– Робустов! – кричал Фома. – Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге...

– Ссадить его на берег! – вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги.

А Кононов кричал капитану:

– Назад! В город! К губернатору...

И кто-то внушительно, дрожащим от волнения голосом говорил:

– Это подстроено... Это нарочно... Научили его... напоили для храбрости...

– Нет, это бунт!

– Вяжи его! Просто – вяжи его!

Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею в воздухе.

– Суньтесь-ка! Нет, уж, видно, придется вам послушать меня...

Он снова с веселой яростью, обезумевший от радости при виде того, как корчились и метались эти люди под ударами его речей, начал выкрикивать имена и площадные ругательства, и снова негодующий шум стал тише. Люди, которых не знал Фома, смотрели на него с жадным любопытством, одобрительно, некоторые даже с радостным удивлением. Один из них, маленький, седой старичок с розовыми щеками и глазками, вдруг обратился к обиженным Фомой купцам и сладким голосом пропел:

– Это – от совести слова! Это – ничего! Надо претерпеть... Пророческое обличение... Ведь грешны! Ведь правду надо говорить, о-очень мы...

На него зашипели, а Зубов даже толкнул его в плечо. Он поклонился и – исчез в толпе...

– Зубов! – кричал Фома. – Сколько ты людей по миру пустил? Снится ли тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно подскочив на месте:

– А! Ты и меня? И-и меня?

И вдруг, надувши щеки, он с яростью начал грозить кулаком Фоме, визгливым голосом возглашая:

– Р-рече без-зумец в сердце своем – несть бог!.. К архи-ерею поеду! Фармазон! Каторга тебе!

Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлобленных, растерявшихся, обиженных им людей чувствовал себя сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, размахивали руками, говорили что-то друг другу – одни красные от гнева, другие бледные, все одинаково бессильные остановить поток его издевательств над ними.

– Матросов! – кричал Резников, дергая Кононова за плечо. – Что ты, Илья? Пригласил нас на посмеяние?

– Против одного щенка... – визжал Зубов.

Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая головами.

– Действуй, Яков! – громко говорил Робустов. – Мы все свидетели – валяй!

И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы:

– Вы не жизнь строили – вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак – ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будет. Веками не избудете мучений...

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Началась возня...

– По-опал! – произнес кто-то задыхающимся голосом.

– А-а? Вы – так? – хрипло крикнул Фома.

С полминуты целая куча черных тел возилась на одном месте, тяжело топая ногами, и из нее раздавались – глухие возгласы:

– Вали его наземь!..

– Руку держите... руку!

– За-а бороду?

– Не бей! Не смей бить...

– Готов!..

– Здоровый!..

Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вытирая потные лица. Он, утомленный борьбой, обессиленный позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами.

Теперь настала очередь издеваться над ним. Начал Зубов. Он подошел к нему, потолкал его ногою в бок и сладким голосом, весь вздрагивая от наслаждения мстить, спросил:

– Что, пророк громopodobный, ась? Ну-ка, восчувствуй

сладость плена вавилонского, хе-хе-хе!

– Погоди... – хрипящим голосом сказал Фома, не глядя на него. – Погоди... отдохну... Языка вы мне не связали... – Но Фома уже понимал, что больше он ничего не может ни сделать, ни сказать. И не потому не может, что связали его, а потому, что сгорело в нем что-то и – темно, пусто стало в душе...

К Зубову подошел Резников. Потом один за другим стали приближаться другие... Бобров, Кононов и еще несколько человек с Яковом Маякиным впереди ушли в рубку, негромко разговаривая о чем-то.

Пароход на всех парах шел к городу. От сотрясения его корпуса на столах дрожали и звенели бутылки, и этот дребезжащий жалобный звук был слышен Фоме яснее всего. Над ним стояла толпа людей и говорила ему злые и обидные вещи.

Но лица этих людей Фома видел, как сквозь туман, и слова их не задевали его сердца. В нем, из глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унижительное...

– Ты подумай, – шарлатан ты! – что ты наделал с собой? – говорил Резников. – Какая теперь жизнь тебе возможна? Ведь теперь никто из нас плюнуть на тебя не захочет!

«Что я сделал?» – старался понять Фома. Купечество стояло вокруг него сплошной темной массой...

– Ну-ну, – сказал Ящуров, – теперь, Фомка, твое дело кончено...

– М-мы тебя... – тихо промычал Зубов.

– Развяжите! – сказал Фома.

– Ну, нет! Покорнейше благодарим!

– Позовите крестного...

Но Яков Маякин сам пришел в это время. Подошел, остановился над Фомой, пристально, суровыми глазами оглядел его вытянутую фигуру и – тяжело вздохнул.

– Ну, Фома...

– Велите развязать меня! – убитым голосом попросил Фома.

– Опять буянить будешь? Нет уж, лежи так... – ответил ему крестный.

– Я больше слова не скажу... клянусь богом! Развяжите – стыдно мне! Ведь я не пьяный...

– Божишься, что не будешь буянить? – спросил Маякин.

– О, господи! Не буду... – простонал Фома.

Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда он поднялся, то посмотрел на всех и с жалкой улыбкой сказал тихонько:

– Ваша взяла...

– Всегда возьмет! – ответил ему крестный, сурово усмехаясь.

Фома, согнувшись, с руками, связанными за спиной, молча пошел к столу, не поднимая глаз ни на кого. Он стал ниже

ростом и похудел. Растрепанные волосы падали ему на лоб и виски; разорванная и смятая грудь рубахи высунулась из-под жилета, и воротник закрывал ему губы. Он вертел головой, чтобы сдвинуть воротник под подбородок, и – не мог сделать этого. Тогда седенький старичок подошел к нему, поправил что нужно, с улыбкой взглянул ему в глаза и сказал:

– Надо претерпеть...

Теперь, при Маякине, люди, издевавшиеся над Фомой, – молчали, вопросительно и с любопытством поглядывая на старика и ожидая от него чего-то. Он был спокоен, но глаза у него поблескивали как-то несообразно событию, – светло...

– Дайте водки мне!.. – попросил Фома, усевшись за стол и опершись о край его грудью.

Его согнутая фигура была жалка и беспомощна. Вокруг него говорили вполголоса, ходили с какой-то осторожностью. И все поглядывали то на него, то на Маякина, усевшегося против него. Старик не сразу дал водки крестнику. Сначала он пристально осмотрел его, потом, не торопясь, налил рюмку и, наконец, молча поднес ее к губам Фомы. Фома высосал водку и попросил:

– Еще!

– Будет!.. – ответил Маякин.

И вслед за тем наступила тяжелая для всех минута полного молчания. К столу подходили бесшумно, на цыпочках и, подойдя, вытягивали шеи, чтоб увидеть Фому.

– Ну, Фомка, понимаешь ты теперь, что наделал? – спро-

сил Маякин. Говорил он тихо, но все слышали его вопрос.

Фома качнул головой и промолчал.

– Прощенья тебе – нет! – продолжал Маякин твердо и повышая голос. – Хотя все мы – христиане, но прощенья тебе не будет от нас... Так и знай...

Фома поднял голову и задумчиво сказал:

– А про вас, папаша, я забыл... Ничего вы не услышали от меня...

– Вот-с! – с горечью вскричал Маякин, указывая рукой на крестника. – Видите?

Раздался глухой протестующий ропот.

– Ну да все равно! – со вздохом продолжал Фома. – Все равно! Ничего... никакого толку не вышло!..

И он снова согнулся над столом.

– Чего ты хотел? – спросил крестный сурово.

– Чего? – Фома поднял голову, посмотрел на купцов и усмехнулся. – Хотел уж...

– Пьяница! Мерзец!

– Я – не пьян! – угрюмо возразил Фома. – Я всего выпил две рюмки... Я совсем трезвый был...

– Стало быть, – сказал Бобров, – твоя правда, Яков Тарасович: не в уме он...

– Я? – воскликнул Фома.

Но на него не обратили внимания. Резников, Зубов и Бобров наклонились к Маякину и тихо начали о чем-то говорить.

«Опека...» – уловил Фома одно слово...

– Я в уме! – сказал он, откидываясь на спинку стула и глядя на купцов мутными глазами. – Я понимаю, чего хотел. Хотел сказать правду... Хотел обличить вас...

Его вновь охватило волнение, и он вдруг дернул руки, пытаясь освободить их.

– Э-э! погоди! – воскликнул Бобров, хватая его за плечи. – Придержите-ка его.

– Ну, держите! – с тоской и горечью сказал Фома. – Держите...

– Сиди смирно! – сурово крикнул крестный.

Фома замолчал. Все, что он сделал, – ни к чему не повело, его речи не пошатнули купцов. Вот они окружают его плотной толпой, и ему не видно ничего из-за них. Они спокойны, тверды, относятся к нему как к буяну и что-то замышляют против него. Он чувствовал себя раздавленным этой темной массой крепких духом, умных людей... Сам себе он казался теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал. Он даже чувствовал обидное что-то, похожее на стыд за себя пред собой. У него першило в горле, и в груди точно какая-то пыль осыпала сердце его, и оно билось тяжело, неровно. Он медленно и раздумчиво повторял, не глядя ни на кого:

– Хотел сказать правду...

– Дурак! – презрительно сказал Маякин. – Какую ты можешь сказать правду? Что ты понимаешь?

– У меня сердце изболело... Нет, я правду чувствовал!

Кто-то сказал:

– По речам его очень видно, что помутился он разумом...

– Правду говорить – не всякому дано! – сурово и поучительно заговорил Яков Тарасович, подняв руку кверху. – Ежели ты чувствовал – это пустяки! И корова чувствует, когда ей хвост ломают. А ты – пойми! Всё пойми! И врага пойми... Ты догадайся, о чем он во сне думает, тогда и валяй!

По обыкновению, Маякин увлекся было изложением своей философии, но, вовремя поняв, что побежденного бою не учат, остановился. Фома тупо посмотрел на него и странно закачал головой...

– Отстань от меня! – жалобно попросил Фома. – Все ваше! Ну – чего еще вам?

Все внимательно прислушивались к его речам, и в этом внимании было что-то предубежденное, зловещее...

– Жил я, – говорил Фома глухим голосом. – Смотрел... Нарвало у меня в сердце. И вот – прорвался нарыв... Теперь я обессилел совсем! Точно вся кровь вытекла...

Он говорил однотонно, бесцветно, и речь его походила на бред...

Яков Тарасович засмеялся.

– Что же, ты думал языком гору слизать? Накопил злобы на клопа, а пошел на медведя? Так, что ли? Юродивый!.. Отец бы твой видел тебя теперь – эх!

– А все-таки, – вдруг уверенно и громко сказал Фома, и

вновь глаза его вспыхнули, – все-таки – ваша во всем вина! Вы испортили жизнь! Вы всё стеснили... от вас удушье... от вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки – правда! Вы – окаянные! Будь вы прокляты все...

Он забился на стуле, пытаясь освободить руки, и закричал, свирепо сверкая глазами:

– Развяжите руки!

Его окружили теснее; лица купцов стали строже, и Резников внушительно сказал ему:

– Не шуми, не буянь! Скоро в городе будем... Не срамись да и нас не срами... Не прямо же с пристани – в сумасшедший дом тебя?

– Да-а?! – воскликнул Фома. – Так вы меня в сумасшедший до-ом?

Ему не ответили. Он посмотрел на их лица и поник головой.

– Веди себя смирно, – развяжем!.. – сказал кто-то.

– Не надо! – тихо заговорил Фома. – Все равно...

И речь его снова приняла характер бреда.

– Я пропал... знаю! Только – не от вашей силы... а от своей слабости... да! Вы тоже черви перед богом... И – погодите! Задохнетесь... Я пропал – от слепоты... Я увидел много и ослеп... Как сова... Мальчишкой, помню... гонял я сову в овраге... она полетит и треснется обо что-нибудь... Солнце ослепило ее... Избилась вся и пропала. А отец тогда сказал мне: «Вот так и человек: иной мечется, мечется, изобьется,

измучается и бросится куда попало... лишь бы отдохнуть!..»
Эй! развяжите мне руки...

Лицо его побледнело, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, он закачался на стуле, ударяясь грудью о край стола, и стал что-то шептать.

Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая друг друга под бока, молча кивали головами на Фому. Лицо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высеченное из камня.

– Может, развязать? – шептал Бобров.

– Нет, не надо... – вполголоса сказал Маякин. – Оставим его здесь... а кто-нибудь пусть пошлет за каретой... Прямо в больницу...

Он пошел к рубке, тихо сказав:

– Постерегите... как бы, чего доброго, в воду не прыгнул...

– А – жалко парня!.. – сказал Бобров, посмотрев вслед ему.

– Никто в дурости его не повинен!.. – хмуро ответил Резников.

– Яков-то... – кивнув головой вслед Маякину, шепотом сказал Зубов.

– Что Яков? Он тут не проиграл...

– Н-да-а... он теперь... опечет!..

Их тихий смех и шепот сливались со вздохами машины и, должно быть, не достигали до слуха Фомы.

Он неподвижно смотрел перед собой тусклым взглядом, и только губы у него чуть вздрагивали...

– Сын к нему явился... – шептал Бобров.

– Я его знаю, сына-то, – сказал Ящуров. – Встречал в Перми...

– Что за человек?

– Деловой... Большим орудует делом в Усолье...

– Стало быть – этот Якову не нужен... Н-да... вон оно что!

– Глядите – плачет!

– О?

Фома сидел, откинувшись на спинку стула и склонив голову на плечо. Глаза его были закрыты, и из-под ресниц одна за другой выкатывались слезы. Они текли по щекам на усы... Губы Фомы судорожно вздрагивали, слезы падали с усов на грудь. Он молчал и не двигался, только грудь его вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрели на бледное, страдальчески осунувшееся, мокрое от слез лицо его с опущенными книзу углами губ и тихо, молча стали отходить прочь от него...

И вот Фома остался один со связанными за спиной руками перед столом, покрытым грязной посудой и разными остатками пира. Порой он медленно открывал тяжелые опухшие ресницы, и глаза его сквозь слезы тускло и уныло смотрели на стол, где все было опрокинуто, разрушено...

Прошло года три.

С год тому назад Яков Тарасович Маякин умер. Умирая в полном сознании, он остался верен себе и за несколько часов до смерти говорил сыну, дочери и зятю:

– Ну, ребята, – живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора долой со двора... Видите – умираю, а не унываю... И это мне господь зачтет... Я его, всеблагого, только шутками беспокоил, а стоном и жалобами – никогда! Господи! Рад я, что умеючи пожил – по милости твоей! Прощайте, детушки... Живите дружно... не мудрствуйте очень-то. Знайте – не тот свят, кто от греха прячется да спокойненько лежит... Трусостью от греха не оборонишься – про это и говорит притча о талантах... А кто хочет от жизни толку добиться – тот греха не боится... Ошибку господь ему простит... Господь назначил человека на устройство жизни... а ума ему не так уж мною дал – значит, строго искать недомок не станет!.. Ибо свят он и многомилостив...

Умер он после краткой, но очень мучительной агонии...

Ежова за что-то выслали из города вскоре после происшествия на пароходе.

В городе возник новый крупный торговый дом под фирмой «Тарас Маякин и Африкан Смолин»...

За все три года о Фоме не слышно было ничего. Говорили, что после выхода из больницы Маякин отправил его куда-то на Урал к родственникам матери.

Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он

появляется – то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блаженненького. Иногда он буйнит, но это редко случается. Живет он у сестры на дворе, во флигельке.

Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним. Идет Фома по улице, и вдруг кто-нибудь кричит ему:

– Эй ты, пророк! Подь сюда!

Фома очень редко подходит к зовущему его, – он избегает людей и не любит говорить с ними. Но если он подойдет, – ему говорят:

– Ну-ка, насчет светопреставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!

Пьесы

Егор Булычов и другие

Действующие лица

Егор Булычов.

Ксения – его жена.

Варвара – дочь от Ксении.

Александра – побочная дочь.

Мелания – игуменья, сестра жены.

Звонцов – муж Варвары.

Тятин – его двоюродный брат.

Мокей Башкин.

Василий Достигаев.

Елизавета – жена его.

дети от первой жены

Антонина

Алексей

Павлин – поп.

Доктор.

Трубач.

Зобунова – знахарка.

Пропотей – блаженный.

Глафира – горничная.

Тайся – служка Мелании.

Мокроусов – полицейский.

Яков Лаптев – крестник Булычова.

Донат – лесник.

Первый акт

Столовая в богатом купеческом доме. Тяжелая громоздкая мебель. Широкий кожаный диван, рядом с ним – лестница во второй этаж. В правом углу фонарь, выход в сад. Яркий зимний день. Ксения, сидя у стола, моет чайную посуду. Глафира, в фонаре, возится с цветами. Входит Александра, в халате, в туфлях на босую ногу, непричесанная, волосы рыжие, как и у Егора Булычова.

Ксения. Ох, Шурка, спишь ты...

Шура. Не шипите, не поможет. Глаша – кофе! А где газета?

Глафира. Варваре Егоровне наверх подала.

Шура. Принеси. На весь дом одну газету выписывают, черти!

Ксения. Это кто – черти?

Шура. Папа дома?

Ксения. К раненым поехал. Черти-то – Звонцовы?

Шура. Да, они. *(У телефона.)* Семнадцать – шестьдесят три.

Ксения. Вот я скажу Звонцовым-то, как ты их... че-стишь!

Шура. Позовите Тоню!

Ксения. До чего ты дойдешь?

Шура. Это ты, Антонина? На лыжах едем? Нет? Почему? Спектакль? Откажись! Эх ты, – незаконная вдова!.. Ну, хорошо.

Ксения. Как же это ты девушку-то вдовой зовешь?

Шура. Жених у нее помер или нет?

Ксения. Все-таки она – девушка.

Шура. А вы почему знаете?

Ксения. Фу, бесстыдница!

Глафира *(подает кофе).* Газету Варвара Егоровна сама принесет.

Ксения. Больно много ты знаешь для твоих лет. Гляди: меньше знаешь – крепче спишь! Я в твои годы ничего не

знала...

Шура. Вы и теперь...

Ксения. Тьфу тебе!

Шура. Вот сестрица шествует важно. Бонжур, мадам!

Комман са ва?¹

Варвара. Уже одиннадцать, а ты не одета, не причесана...

Шура. Начинается.

Варвара. Ты все более нахально пользуешься тем, что отец балует тебя... и что он нездоров...

Шура. Это – ты надолго?

Ксения. А что ей отцово здоровье?

Варвара. Я должна буду рассказать ему о твоём поведении...

Шура. Заранее благодарна. Кончилось?

Варвара. Ты – дура!

Шура. Не верю! Это не я – дура.

Варвара. Рыжая дура!

Шура. Варвара Егоровна, вы совершенно бесполезно тратите энергию!

Ксения. Вот и учи ее!

Шура. И у вас портится характер.

Варвара. Хорошо... хорошо, милая! Мамаша, пойдёмте-ка в кухню, там повар капризничает...

Ксения. Он – не в себе, у него сына убили.

Варвара. Ну, это не резон для капризов. Теперь столько

¹ Как дела? (фр. Comment за ва?)

убивают...

Ушли.

Шура. А если б у нее красавца Андрюшу ухлопали, вот бы взвилась!

Глафира. Зря вы дразните их. Пейте скорее, мне здесь убирать надо. (*Ушла, унося самовар.*)

Шура сидит, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, руки – на затылке рыжей лохматой головы.

Звонцов (*с лестницы, в туфлях, подкрался к ней, обнял сзади*). О чем замечталась, рыжая коза?

Шура (*не открывая глаз, не шевелясь*). Не трогайте меня.

Звонцов. Почему? Ведь тебе приятно? Скажи – да? Приятно?

Шура. Нет.

Звонцов. Почему?

Шура. Оставьте. Вы – притворяетесь. Я вам не нравлюсь.

Звонцов. А хочешь нравиться, да?

На лестнице – Варвара.

Шура. Если Варвара узнает...

Звонцов. Тише... (*Отшел, говорит поучительно.*) Не да... Следует взять себя в руки. Надобно учиться...

Варвара. Она предпочитает говорить дерзости и пускать мыльные пузыри с Антониной.

Шура. Ну и пускаю. Люблю пускать пузыри. Что тебе – мыла жалко?

Варвара. Мне жалко – тебя. Я не знаю – как ты будешь жить? Из гимназии тебя попросили удалиться...

Шура. Неправда.

Варвара. Твоя подруга – полоумная.

Звонцов. Она хочет музыке учиться.

Варвара. Кто?

Звонцов. Шура.

Шура. Неправда. Я не хочу учиться музыке.

Варвара. Откуда же ты это взял?

Звонцов. Разве ты, Шура, не говорила, что хочешь?

Шура (*уходя*). Никогда не говорила.

Звонцов. Гм... Странно. Не сам же я выдумал это! Ты, Варя, очень сердито с ней...

Варвара. А ты слишком ласков.

Звонцов. Что значит – слишком? Ты же знаешь мой план...

Варвара. План – это план, но мне кажется, что ты подозрительно ласков.

Звонцов. Глупости у тебя в голове...

Варвара. Да? Глупости?

Звонцов. Сообрази сама: уместны ли в такое серьезнейшее время сцены ревности?

Варвара. Ты зачем сюда спустился?

Звонцов. Я? Тут... объявление одно в газете. И лесник приехал, говорит: мужики медведя обложили.

Варвара. Донат – в кухне. Объявление – о чем?

Звонцов. Это, наконец, возмутительно! Как ты говоришь со мной? Что я – мальчишка? Черт знает...

Варвара. Не кипятись! Кажется – отец приехал. А ты в таком виде.

Звонцов поспешно идет вверх, Варвара – встречать отца. Шура в зеленой теплой кофте и в зеленом колпаке бежит к телефону, ее перехватил и молча прижал к себе Булычов, за ним идет поп Павлин, в лиловой рясе.

Булычов (сел к столу, обняв Шуру за талию, она гладит его медные, с проседью, волосы). Народа перепортили столько, что страшно глядеть...

Павлин. Цветете, Шурочка? Простите, не поздоровался...

Шура. Это я должна была сделать, отец Павлин, но папа схватил меня, как медведь...

Булычов. Стой! Шурка, смирно! Куда теперь этот народ? А бесполезных людей у нас и до войны многовато было. Зря влезли в эту войну...

Павлин (*вздыхнув*). Соображения высшей власти...

Булычов. С японцами тоже плохо сообразили, и получился всемирный стыд...

Павлин. Однако войны не только разоряют, но и обогащают как опытом, так равно и...

Булычов. Одни – воюют, другие – воруют.

Павлин. К тому же ничто в мире не совершается помимо воли божией, и – что значит ропот наш?

Булычов. Ты, Павлин Савельев, брось проповеди... Шурок, ты на лыжах бежать собралась?

Шура. Да, Антонину жду.

Булычов. Ну... ладно! Не уйдешь, так я тебя – минут через пяток – позову!

Шура убежала.

Павлин. Выровнялась как, отроковица...

Булычов. Телом – хороша, ловкая, а лицом – не удалась. Мать у нее некрасива была. Умная, как черт, а некрасива.

Павлин. Лицо у Александры Егоровны... своеобразное... и... не лишено привлекательности. Родительница – откуда родом?

Булычов. Сибирячка. Ты говоришь – высшая власть... от бога... и все такое, ну а Дума-то – как? Откуда?

Павлин. Дума, это... так сказать – допущение самой власти к умалению ее. Многие полагают, что даже – роковая

ошибка, но священно-церковнослужителю не подобает входить в рассуждение о сих материях. К тому же в наши дни на духовенство возложена обязанность воспламенять дух бодрости... и углублять любовь к престолу, к отечеству...

Булычов. Воспламенили дух да в лужу и – бух...

Павлин. Как известно вам – убедил я старосту храма моего расширить хор певчих, а также беседовал с генералом Бетлингом о пожертвовании на колокол новостроящегося храма во имя небесного предстателя вашего, Егория...

Булычов. Не дал на колокол?

Павлин. Отказал и даже неприятно пошутил: «Медь, говорит, даже в полковых оркестрах – не люблю!» Вот вам бы на колокол-то хорошо пожертвовать по причине вашего недомогания?

Булычов (*вставая*). Колокольным звоном болезни не лечат.

Павлин. Как знать? Науке причины болезней неведомы. В некоторых санаториях иностранных музыкой лечат, слышал я. Тоже и у нас существует пожарный, он игрой на трубе пользуется...

Булычов (*усмехаясь*). На какой трубе?

Павлин. На медной. Говорят, весьма большая труба!

Булычов. Ну, если – большая... Вылечивает?

Павлин. Будто бы успешно! Все может быть, высокопочтеннейший Егор Васильевич! Все может быть. В тайнах живем, во мраке многочисленных и неразрешимых тайн. Ка-

жется нам, что – светло и свет сей исходит от разума нашего, а ведь светло-то лишь для телесного зрения, дух же, может быть, разумом только затемняется и даже – угашается...

Булычов (*вздыхая*). Эко слов-то у тебя сколько...

Павлин (*все более воодушевленно*). Возьмите, примерно, блаженного Прокопия, в какой радости живет сей муж, дурачком именуемый невегласами...

Булычов. Ну, ты опять, тово... проповедуешь! Прощай-ко. Устал я.

Павлин. Сердечно желаю доброго здоровья. Молитвенник ваш... (*Уходит.*)

Булычов (*щупая правый бок, подошел к дивану, ворчит*). Боров. Нажрался тела-крови Христовой... Глафира!.. Эй...

Варвара. Вы что?

Булычов. Ничего, Глафиру звал. Эк ты вырядилась! Куда это?

Варвара. На спектакль для выздоравливающих...

Булычов. И стеклышки на носу? Врешь, что глаза требуют, для моды носишь...

Варвара. Папаша, вы бы поговорили с Александрой, она ведет себя отчаянно, становится совершенно невыносимой..

Булычов. Все вы – хороши! Иди! (*Бормочет.*) Невыносимы. Вот я... выздоровлю, я вас, вынесу!

Глафира. Звали?

Булычов. Звал. Эх, Глаха, до чего ты хороша! Здоровая! Каленая! А Варвара у меня – выдра!

Глафира (*заглядывая на лестницу*). Ее счастье. Будь она красивой, вы бы и ее на постелю себе втащили.

Булычов. Дочь-то? Опомнись, дура! Что говоришь?

Глафира. Я знаю – что! Шуру-то тискаете, как чужую... как солдат!

Булычов (*изумлен*). Да ты, Глафира, рехнулась! Ты что: к дочери ревнуешь! Ты о Шурке не смей эдак думать. Как солдат... Как чужую! А ты бывала у солдата в руках? Ну?

Глафира. Не к месту... не ко времени разговоры эти. За чем звали?

Булычов. Доната пошли. Стой! Дай-ко руку. Любишь все-таки? И хворого?

Глафира (*припадая к нему*). Горе ты мое... Да – не хворай ты! Не хворай... (*Оторвалась, убежала*).

*Булычов хмуро улыбается,
облизывает губы. Качает головой. Лег.*

Донат. Доброго здоровья, Егор Васильевич!

Булычов. Спасибо. С чем прибыл?

Донат. С хорошим: медведя обложили.

Булычов (*вздыхнув*). Ну, это... для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь – не забава. Лес-то рубят?

Донат. Помаленьку. Людей нет.

Входит Ксения. Нарядная, руки в кольцах.

Булычов. Ты что?

Ксения. Ничего. Ты бы, Егорий, не соблазнялся медведем-то, куда уж тебе охотиться.

Булычов. Помолчи. Нет людей?

Донат. Старики да мальчишки остались. Князю полсотни пленных дали, так они в лесу не могут работать.

Булычов. Они поди-ко с бабами работают.

Донат. Это – есть.

Булычов. Да... Баба теперь голодная.

Ксения. Слышно – большой разврат пошел по деревням...

Донат. Почему разврат, Аксинья Яковлевна? Мужиков – перебили, детей-то надобно родить? Выходит так: кто перебил, тот и народи...

Булычов. Похоже...

Ксения. Ну уж, какие дети от пленных! Хотя, конечно, ежели мужчина здоровый...

Булычов. А баба – дура, так ему от этой бабы детей иметь неохота.

Ксения. У нас бабы – умные. А здоровых-то мужиков всех на войну угнали, дома остались одни... адвокаты.

Булычов. Народу перепорчено – много.

Ксения. Зато остальные богаче жить будут.

Булычов. Сообразила!

Донат. Цари народом сыты не бывают.

Булычов. Как ты сказал?

Донат. Не бывают, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем, а все хотим еще чужих завоевать.

Булычов. Верно. Это – верно!

Донат. Нельзя иначе понять – для какого смысла воюем? И вот бьют нас – за жадность.

Булычов. Правильно говоришь, Донат! Вот и Яков, крестник, тоже говорит: «Жадность всему горю начало». Он – как там?

Донат. Он – ничего. Умный он у вас.

Ксения. Нашел умника! Дерзкий он, а не умный.

Донат. От ума и дерзок, Аксинья Яковлевна. Он там, Егорий Васильич, дезертиров подобрал человек десяток, поставил на работу, ничего – работают. А то они воровством баловались.

Булычов. Н-ну, это... Мокроусов узнает – скандалить начнет.

Донат. Мокроусов – знает. Он даже рад. Ему – легче.

Булычов. Ну, смотри...

Звонцов сходит сверху.

Донат. Медведя, значит...

Булычов. Медведь – твое счастье.

Звонцов. Разрешите предложить медведя Бетлингу! Вы знаете, он оказывает нам...

Булычов. Знаю, знаю! Предлагай. А то – архиерею предложи!

Ксения (*усмехаясь*). Вот бы поглядеть, как архиерей в медведя стреляет.

Булычов. Ну, я устал. Прощай, Донат! А что-то нехорошо все, братец мой, а? Как я захворал, так и началось неладное...

Донат молча поклонился, уходит.

Аксинья, Шурку пошли мне. Ты чего мнешься, Андрей? Говори сразу!

Звонцов. Я по поводу Лаптева...

Булычов. Ну?

Звонцов. Мне стало известно, что он связался с... неблагонадежными людьми и на ярмарке в Копосове говорил мужикам противуправительственные речи.

Булычов. Брось! Ну какие теперь ярмарки? Какие мужики? И что вы все на Якова жалуетесь?

Звонцов. Но ведь он как бы член нашей семьи...

Шура вбегает.

Булычов. Как бы... Не очень-то вы его... своим считаете. Он вот и обедать по воскресеньям не приходит... Иди, Андрей... После расскажешь...

Шура. На Якова ябедничал?

Булычов. Это – не твое дело. Сядь сюда. На тебя тоже все жалуются.

Шура. Кто – все?

Булычов. Аксинья, Варвара...

Шура. Это еще не все.

Булычов. Я серьезно говорю, Шуренок.

Шура. Серьезно ты говоришь – не так.

Булычов. Дерзкая ты со всеми, ничего не делаешь...

Шура. Если ничего не делаю, так в чем же дерзкая?

Булычов. Не слушаешь никого.

Шура. Всех слушаю. Тошно слушать, рыжий!

Булычов. Сама – рыжая, хуже меня. Вот и со мной говоришь... неладно! Надобно тебя ругать, а не хочется.

Шура. Не хочется, значит – не надо.

Булычов. Ишь ты! Не хочется – не надо. Эдак-то жить легко бы, да нельзя!

Шура. А кто мешает?

Булычов. Всё... все мешают. Тебе этого не понять...

Шура. А ты – научи, чтобы поняла, чтобы мне не меша-

ли...

Булычов. Ну, этому... не научишь. Ты что, Аксинья? Что ты все бродишь, чего ищешь?

Ксения. Доктор приехал, и Башкин ждет. Лександра, отправь юбку, как ты сидишь?

Булычов (*встает*). Ну, зови доктора. Лежать мне вредно, тяжелею от лежанья. Эх... Улепетывай, Шуренок! Ногу не вывихни, гляди!

Доктор. Здравствуйте! Как мы себя чувствуем?

Булычов. Неважно. Плоховато лечишь, Нифонт Григорьевич.

Доктор. Нуте-ко, пойдете к вам...

Булычов (*идя рядом с ним*). Ты давай мне самые злые, самые дорогие лекарства: мне, брат, обязательно выздороветь надо! Вылечишь – больницу построю, старшим будешь в ней, делай что хочешь...

Ушли. Ксения, Башкин.

Ксения. Что сказал, доктор-то?

Башкин. Рак, говорит, рак в печенке...

Ксения. Ух ты, господи! Что выдумают!

Башкин. Болезнь, говорит, опасная.

Ксения. Ну конечно! Всякий свое дело самым трудным считает.

Башкин. Не вовремя захворал! Кругом деньги падают,

как из худого кармана, нищие тысячами становятся, а он...

Ксения. Да, да! Так богатеют люди, так богатеют!

Башкин. Достигаев до того растучнел, что весь незастегнутый ходит, а говорить может только тысячами. А у Егора Васильевича вроде затмения ума начинается... Намедни говорит: «Жил, говорит, я мимо настоящего дела». Что это значит?

Ксения. Ох, и я замечаю – нехорошо он говорит!

Башкин. А ведь он на твоём с сестрой капитале жить начал. Должен бы приумножать.

Ксения. Ошиблась я, Мокей, давно знаю – ошиблась. Вышла замуж за приказчика, да не за того. Кабы за тебя вышла – как спокойно жили бы! А он... Господи! Какой озорник! Чего я от него ни терпела. Дочь прижил на стороне да посадил на мою шею. Зятя выбрал... из плохих – похуже. Боюсь я, Мокей Петрович, обойдут, облапошат меня зять с Варварой, пустят по миру...

Башкин. Все возможно. Война! На войне – ни стыда, ни жалости.

Ксения. Ты – старый наш слуга, тебя батюшка мой на ноги поставил, ты обо мне подумай...

Башкин. Я и думаю.

Звонцов идет.

Звонцов. Что, доктор – ушел?

Ксения. Там еще.

Звонцов. Мокей Петрович, как – сукно?

Башкин. Не принимает Бетлинг.

Звонцов. А сколько надобно дать ему?

Башкин. Тысяч... пяток, не меньше.

Ксения. Экий грабитель! А ведь старик!

Звонцов. Через Жанну?

Башкин. Да уж как установлено.

Ксения. Пять тысяч! За что? А?

Звонцов. Теперь деньги дешевы.

Ксения. В чужом-то кармане...

Звонцов. Тесть согласен?

Башкин. Вот, я пришел узнать, согласен ли...

Доктор (*вышел – берет Звонцова под руку*). Ну-с, вот

что...

Ксения. Ох, порадуйте нас...

Доктор. Больной должен лежать, возможно больше. Всякие дела, волнения, раздражения – крайне вредны для него. Покой и покой! Затем... (*Шепчет Звонцову.*)

Ксения. А мне почему нельзя сказать? Я – жена!

Доктор. О некоторых вещах с дамами говорить неудобно. (*Снова шепчет.*) Сегодня же вечером и устроим.

Ксения. Что это вы устроите?

Доктор. Консилиум, совет докторов.

Ксения. Ба-атюшки...

Доктор. Это – не страшно. Ну-с, до свидания! (*Уходит.*)

Ксения. Строгий какой... Туда же! За пять минут пять целковых берет. Шестьдесят рублей в час... вот как!

Звонцов. Он говорит – операция нужна...

Ксения. Резать? Ну, уж это – нет! Нет, уж резать я не позволю...

Звонцов. Послушайте, это – невежественно! Хирургия, наука...

Ксения. Плевать мне на твою науку! Вот тебе! Ты тоже невежливо говоришь со мной.

Звонцов. Я говорю не о приличиях, а о вашей темноте...

Ксения. Сам не больно светел!

*Звонцов, махнув рукой, отошел
прочь. Глафира бежит.*

Куда?

Глафира. Звонок из спальни...

Ксения идет вместе с ней к мужу.

Звонцов. Не вовремя заболел тесть.

Башкин. Да. Стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают.

Звонцов. Н-да. К тому же революция будет.

Башкин. Это я не одобряю. Была она в пятом году. Бес-толковое дело.

Звонцов. В пятом был – бунт, а не революция. Тогда крестьяне и рабочие дома были, а теперь – на фронтах. Теперь революция будет против чиновников, губернаторов, министров.

Башкин. Если бы так – давай бог! Чиновники хуже клещей, вцепятся, не оторвешь...

Звонцов. Царь явно не способен править.

Башкин. Поговаривают об этом и в купечестве. Будто мужик какой-то царицу обошел!

Барвара на лестнице, слушает.

Звонцов. Да. Григорий Распутин.

Башкин. Не верится в колдовство.

Звонцов. А – в любовников – верите?

Башкин. На сказку похоже. У нее – генералов – сотни.

Барвара. Глупости какие говорите вы.

Башкин. Все так говорят, Барвара Егоровна. Я все-таки полагаю, что без царя – нельзя!

Звонцов. Царь должен быть не в Петрограде, а – в голове. Кончился спектакль?

Варвара. Отложили. Приехал какой-то ревизор, – вечером эшелон раненых будет, около пятисот. А места для них нет.

Глафира. Мокей Петрович, вас зовут.

Башкин ушел, оставив на столе теплый картуз.

Варвара. Что ты с ним откровенничаешь? Ты же знаешь, что он шпионит за нами для матери! Картуз этот он лет десять носит, жадюга! Просален весь. Не понимаю, почему ты с этим жуликом...

Звонцов. Ах, оставь! Хочу занять у него денег на взятку Бетлингу...

Варвара. Но я же тебе сказала, что все это устроит Лиза Достигаева через Жанну! И обойдется – дешевле...

Звонцов. Надует тебя Лизавета...

Ксения (*из комнаты мужа*). Уговорите вы его, чтобы лежал! Он там ходит и Мокея ругает... Ах, господи!..

Звонцов. Поди ты, Варя...

Булычов (*в халате, в валяных туфлях*). Ну, и что еще? Несчастливая война?

Башкин (*идя за ним*). Кто же спорит?

Булычов. Для кого несчастная?

Башкин. Для нас.

Булычов. Для кого – для нас? Ты же говоришь: от войны миллионы наживают? Ну?

Башкин. Для народа... значит...

Булычов. Народ – мужик, ему – все равно: что жить, что умирать. Вот какая твоя правда!

Ксения. Да – не сердись ты! Вредно тебе...

Башкин. Ну, что вы? Какая же это правда?

Булычов. Самая настоящая! Это и есть правда. Я говорю прямо: мое дело – деньги наживать, а мужиково – хлеб работать, товары покупать. А какая другая правда есть?

Башкин. Конечно, это – так, а все-таки...

Булычов. Ну, а что – все-таки? Ты о чем думаешь, когда воруюсь у меня?

Башкин. Зачем же вы обижаете?

Ксения. Ну, что ты, Варя, глядишь? Уговори его! Ему лежать велено.

Булычов. Ты – о народе думаешь?

Башкин. И – при людях обижаете! Ворую! Это надо доказать!

Булычов. Доказывать нечего. Всем известно: воровство дело законное. И обижать тебя – незачем. От обиды ты не станешь лучше, хуже станешь. И воруюсь – не ты – рубль ворует. Он, сам по себе, есть главный вор...

Башкин. Это один Яков Лаптев может говорить.

Булычов. Вот он и говорит. Ну, ступай. А взятку Бетлингу не давать. Довольно давали, хватит ему на гроб, на саван, старому черту! Вы что тут собрались? Чего ждете?

Варвара. Мы ничего не ждем...

Булычов. Будто – ничего? Когда – так, идите по своим делам. Дело-то у вас – есть? Аксинья, скажи, чтоб у меня проветрили. Душно там, кислыми лекарствами пахнет. Да – пускай Глафира квасу клюквенного принесет.

Ксения. Нельзя тебе квасу-то.

Булычов. Иди, иди! Я сам знаю, чего нельзя, что можно.

Ксения (*уходя*). Кабы знал...

Все ушли.

Булычов (*обошел вокруг стола, придерживаясь за него рукой. Смотрит в зеркало, говорит почти во весь голос*). Плохо твое дело, Егор. И рожа, брат, у тебя... не твоя какая-то!

Глафира (*с подносом, на нем стакан молока*). Вот вам молоко.

Булычов. Тащи кошке. А мне – квасу. Клюквенного.

Глафира. Квасу вам не велят давать.

Булычов. Они не велят, а ты – принеси. Стой! Как потвоему – умру я?

Глафира. Не может этого быть.

Булычов. Почему?

Глафира. Не верю.

Булычов. Не веришь? Нет, брат, дело мое – плохо! Очень плохо, я знаю!

Глафира. Не верю.

Булычов. Упряма. Ну, давай квасу! А я померанцевой выпью... Она – полезная. (*Идет к буфету.*) Заперли, черти. Эки свиньи! Оберегают. Похоже, что я заключенный. Арестант... вроде.

Занавес

Второй акт

Гостиная Булычовых. Звонцов и Тятин – в углу, за маленьким круглым столом, на столе бутылка вина.

Звонцов (*закуривая*). Понял?

Тятин. По чести говоря, Андрей, не нравится мне это...

Звонцов. А – деньги нравятся?

Тятин. Деньги, к сожалению, нравятся.

Звонцов. Ты – кого жалеешь?

Тятин. Себя, разумеется...

Звонцов. Есть чего жалеть!

Тятин. Все-таки, знаешь, я сам себе – единственный друг.

Звонцов. Ты бы не философствовал, а – думал.

Тятин. Я – думаю. Девушка она избалованная, трудно будет

с ней.

Звонцов. Разведешься.

Тягин. А деньги-то у нее останутся...

Звонцов. Сделаем так, что у тебя будут. А Шурку я берушь укротить...

Тягин. По чести сказать...

Звонцов. ...Так, что ее поторопятся выдать замуж и приданое будет увеличено.

Тягин. Это ты... остроумно! А какое приданое?

Звонцов. Пятьдесят.

Тягин. Тысяч?

Звонцов. Пуговиц.

Тягин. Верно?

Звонцов. Но ты подпишешь мне векселей на десять.

Тягин. Тысяч?

Звонцов. Нет, рублей! Чудак!

Тягин. Мно-ого...

Звонцов. Тогда – прекратим беседу.

Тягин. А ты... все это серьезно?

Звонцов. Несерьезно о деньгах только дураки говорят...

Тягин (*усмехаясь*). Черт возьми... Замечательно придумано.

Входит Достигаев.

Звонцов. Рад, что ты, кажется, что-то понимаешь. Тебе,

интеллигенту-пролетарию, нельзя в эти лютые дни...

Тятин. Да, да, конечно! Но – мне пора в суд.

Достигаев. Чем ты расстроен, Степаша?

Звонцов. Мы – о Распутине вспомнили.

Достигаев. Вот – участь, а? Простой, сибирский мужик – с епископами, министрами в шашки играл! Сотнями тысяч ворочал! Меньше десяти тысяч взятки – не брал! Из верных рук знаю – не брал! Вы что пьете? Бургонское? Это винцо тяжелое, его за обедом надо пить, некультурный народ!

Звонцов. Как вы нашли тестя?

Достигаев. А – чего же его искать, – он не прятался. Ты, Степаша, принес бы стаканчик мне.

Тятин не торопясь уходит.

А Булычов, надо прямо сказать, в плохом виде! В опасном положении он...

Звонцов. Мне тоже кажется, что...

Достигаев. Да, да! Это самое. И при этом боится он умереть, а потому – обязательно умрет. И ты этот факт – учти! Дни нашей жизни такие, что ротик разевать нельзя, ручки в карманах держать – не полагается. Государственный плетень со всех сторон свиньи подрывают, и что будет революция, так это даже губернатор понимает...

Тятин (*входит*). Егор Васильевич в столовую вышел.

Достигаев (*берет стакан*). Спасибо, Степаша. Вышел,

говоришь? Ну, и мы туда...

Звонцов. Промышленники, кажется, понимают свою роль...

Идут – Варвара, Елизавета.

Достигаев. Московские-то? Еще бы не понимали!

Елизавета. Они пьют, как воробушки, а там Булычов рычит – слушать невозможно!

Достигаев. Почему Америка процветает? Потому, что там у власти сами хозяева...

Варвара. Жанна Бетлингова совершенно серьезно верит, что в Америке кухарки на рынок в автомобилях ездят.

Достигаев. Вполне возможно. Хотя... наверное, вранье. А ты, Варгоша, все с военными? Хочешь быть подполковником?

Варвара. Ух, как старо! Вы о чем мечтаете, Тятин?

Тятин. Да... так, вообще...

Елизавета (*перед зеркалом*). Вчера Жанна рассказала мне анекдот – изумительный! Как цветок!

Достигаев. А ну, а ну – какой?

Елизавета. При мужчинах – нельзя.

Достигаев. Хорош цветок!

Варвара что-то шепнула Елизавете.

Елизавета. Муж! Ты тут будешь сидеть до дна бутылки?

Достигаев. А – кому я мешаю?

Елизавета (*Тятину*). Вы, Степочка, знаете псалом: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста»?

Тятин. Что-то такое помню...

Елизавета (*берет его под руку*). Вот эти, все – они и есть нечестивые грешники, а вы тихий юноша для лупы, любви и прочего, да? (*Уводит.*)

Достигаев. Экая болтушка!

Варвара. Василий Ефимович, мать и Башкин вызвали тетку Меланию.

Достигаев. Игуменью? У-у, это зверь серьезный! Она будет против фирмы Достигаев и Звонцов, она – против! Она за вывеску – Ксения Булычова и Достигаев...

Звонцов. Она может потребовать деньги из дела.

Достигаев. Маланьиных денег – сколько? Семьдесят тысяч?

Звонцов. Девяносто.

Достигаев. Все-таки это – куш! Личные или монастыря?

Варвара. Как это узнаешь?

Достигаев. Узнать – можно. Узнать – все можно! Вот – немцы, они знают не только число солдат у нас на фронте, а

даже – сколько вшей на каждом солдате.

Варвара. Вы бы серьезно что-нибудь сказали...

Достигаев. Милая Варюша, нельзя ни торговать, ни воевать, не умея сосчитать, сколько денег в кармане. Про Мала-ньины деньги узнать можно так: имеется дама Секлетея Полубояринова, она – участница ночных бдений владыки Никандра, а Никандр – всякие деньги любит считать. Кроме того, есть один человек в епархиальном совете, – мы его оставим в резерве. Ты, Варюша, возьмишь переговори с Полубояриновой, и ежели окажется, что деньжата – монастырские, ну, – сами понимаете! Куда это красавица моя ускользнула?

Глафира. Просят в столовую.

Достигаев. Спешим. Ну-с, пошли?

Варвара *(будто бы зацепилась подолом за кресло)*. Андрей, помоги же! Ты ему веришь?

Звонцов. Нашла дурака.

Варвара. Ах, какой жулик! С теткой я придумала неплохо. А что с Тятиным?

Звонцов. Уломаю.

Варвара. С этим надо торопиться.

Звонцов. Почему?

Варвара. Да ведь после похорон – нужно будет долго ждать. А у отца – и сердце слабое... Кроме того, у меня есть другие причины.

*Ушли. Навстречу Глафира, смотрит
вслед им с ненавистью, собирает
сосуду со столика. Лаптев входит.*

Глафира. А вчера был слух, что ты арестован.

Лаптев. Да ну? Это, должно быть, неверно.

Глафира. Все шутишь.

Лаптев. Есть – нечего, да – жить весело.

Глафира. Свернешь башку на шуточках-то.

Лаптев. За хорошие шутки не бьют, а хвалят, стало быть, попадет Яшутке за плохие шутки.

Глафира. Мели, Емеля! Там, у Шуры, Тонька Достигаева.

Лаптев. Брр, ее – не надо!

Глафира. Позову Шуру – сюда, что ли?

Лаптев. Дельно. А как Булычов?

Глафира (*гневно*). Какой он тебе Булычов! Он – отец крестный твой!

Лаптев. Не сердись, тетя Глаша.

Глафира. Плохо ему.

Лаптев. Плохо? Постой, постой! Голодно живут приятели мои, тетя Глаша, не достанешь ли муки, пуда два, а то и мешок?

Глафира. Что же – воровать у хозяев буду для тебя?

Лаптев. Да ведь уже не первый раз! Все равно – и рань-

ше грешила, грех – на мне! Ребятам, ей-богу, кушать охота! Тебе же в доме этом за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам.

Глафира. Слыхала я эти сказки твои! Завтра утром Донату будут отправлять муку, мешок возьмешь у него. (*Уходит.*)

Лаптев. Вот спасибо! (*Сел на диван, зевнул до слез, оттирает слезы, осматривается.*)

Ксения (*идет, ворчит*). Бегают, как черти от ладана...

Лаптев. Здравствуйте...

Ксения. Ой! Ох, что ты тут сидишь?

Лаптев. А надо – ходить?

Ксения. То – нигде нет его, то вдруг придет! Как в прятки играешь. Отец-то крестный – болеет, а тебе хоть бы что...

Лаптев. Заболеть надо мне, что ли?

Ксения. Все вы с ума сошли, да и других сводите. Понять нельзя ничего! Вон, слышь, царя хотят в клетку посадить, как Емельку Пугачева. Врут, что ли, грамотей?

Лаптев. Все возможно, все!

Глафира. Аксинья Яковлевна, на минутку.

Ксения. Ну, что еще? Покоя нет... о, господи... (*Ушла.*)

Шура (*вбегает*). Здравствуй!

Лаптев. Шурочка, в Москву еду, а денег нету – выручай!

Шура. У меня тридцать рублей...

Лаптев. Пятьдесят бы, а?

Шура. Достану.

Лаптев. Вечером, к поезду? Можно?

Шура. Да. Слушай: революция будет?

Лаптев. Да она же началась! Ты – что, газет не читаешь?

Шура. Я – не понимаю газет.

Лаптев. Спроси Тятин.

Шура. Яков, скажи честно: что такое Тятин?

Лаптев. Вот те раз! Ты же почти полгода ежедневно видишь его.

Шура. Он честный?

Лаптев. Да... ничего, честный.

Шура. Почему ты говоришь нерешительно?

Лаптев. Мямля он. Мутноватый такой. Обижен, что ли?

Шура. Кем?

Лаптев. Из университета вышибли со второго курса. Работает у брата письмоводителем, а брат...

Шура. Звонцов – жулик?

Лаптев. Либерал, кадет, а они вообще жуликоваты. Деньги ты Глафире передай, она доставит.

Шура. Глафира и Тятин помогают тебе?

Лаптев. В чем?

Шура. Не финти, Яшка! Ты понимаешь. Я тоже хочу помогать, слышишь?

Лаптев (*удивлен*). Что это ты, девушка, как будто только сегодня проснулась?

Шура (*гневно*). Не смей издеваться надо мной! Ты – дурак!

Лаптев. Возможно, что и дурак, но все-таки я хотел бы
понять...

Шура. Варвара идет!

Лаптев. Ну, я ее не желаю видеть.

Шура. Идем... Скорей.

Лаптев (*обняв ее за плечи*). В самом деле – что с тобой?

Ушли, затворив за собой дверь.

Варвара (*слышит, как щелкнул замок двери, подошла к ней, повертела ручку*). Это ты, Глафира?

Пауза.

Там есть кто-нибудь? Таинственно... (*Быстро уходит.*)

Шура тащит за руку Доната.

Донат. Ну, куда ты меня, Шурок...

Шура. Стой! Говори: отца в городе уважают?

Донат. Богатого везде уважают. Озоришь ты все...

Шура. Уважают или боятся?

Донат. Не боялись бы, так не уважали.

Шура. А – любят за что?

Донат. Любят? Не знаю.

Шура. А – знаешь, что любят?

Донат. Его? Как сказать? Извозчики – как будто любят, он с ними не торгуется, сколько спросят, столько и дает. А извозчик, он, конечно, другому скажет, ну и...

Шура (*притопнув ногой*). Ты смеешься?

Донат. Зачем? Я правду объясняю.

Шура. Ты стал злой. Ты совсем другой стал!

Донат. Ну, где уж мне другим быть! Опоздал я.

Шура. Ты хвалил мне отца.

Донат. Я его и не хаю. У всякой рыбы своя чешуя.

Шура. Все вы – врите.

Донат (*понуриясь, вздыхая*). Ты – не сердись, сердцем ничего не докажешь.

Шура. Уходи! Слушай, Глафира... Ну, кто-то лезет. (*Спряталась в драпировку.*)

Входит Алексей Достигаев, щеголь, в галифе, шведской куртке, весь в ремнях и карманах.

Алексей. Вы все хорошеете, Глаша.

Глафира (*угрюмо*). Приятно слышать.

Алексей. А мне – неприятно. (*Встал на дороге Глафиры.*) Не нравится мне хорошее, если оно не мое.

Глафира. Пропустите, пожалуйста.

Алексей. Сделайте одолжение. (*Позевнув, смотрит на часы.*)

Входит Антонина, несколько позднее – Тятин.

Шура. Ты, кажется, и за горничными ухаживаешь?

Антонина. Ему – все равно, хоть за рыбами.

Алексей. Горничные, если их раздеть, ни в чем не уступают барыням.

Антонина. Слышишь? Он теперь всегда говорит такое, точно не на фронте жил, а в кабаке...

Шура. Да, раньше он был такой же ленивый, но не такой храбрый на словах.

Алексей. Я – и на деле.

Антонина. Ах, как врет! Он – трус, трус! Страшно боится, что его соблазнит мачеха.

Алексей. Что ты сочиняешь? Дурочка!

Антонина. И отвратительно жадный. Ты знаешь, я ему плачу рубль двадцать копеек за тот день, когда он не скажет мне какой-нибудь гадости. Он – берет!

Алексей. Тятин! Вам нравится Антонина?

Тятин. Да. Очень.

Шура. А – я?

Тятин. Говоря правду...

Шура. Ну да, конечно, правду!

Тятин. Вы – не очень.

Шура. Вот как? Это правда?

Тятин. Да.

Антонина. Не верь, он сказал, как эхо.

Алексей. Вы бы, Тятин, женились на Антонине. Мне она надоела.

Антонина. Какой болван! Уйди! Ты похож па беременную прачку.

Алексей (*обняв ее за талию*). Ох, какая аристократка! Не гризе па ле семиачки, се моветон.²

Антонина. Оставь меня!

Алексей. С удовольствием! (*Танцует с ней.*)

Шура. Может быть, я совсем не нравлюсь вам, Тятин?

Тятин. А зачем вы хотите знать это?

Шура. Надо. Интересно.

Алексей. Ты что мямлишь? Она замуж за тебя напрашивается. Теперь все девицы торопятся быть вдовами героев. Ибо – паек, ореол и пенсия.

Антонина. Он уверен, что это остроумно!

Алексей. Пойду по своей стезе. Тонька, проводи меня до прихожей.

Антонина. Не хочу!

Алексей. Мне нужно. Seriously, идем!

Антонина. Наверное, какая-нибудь глупость.

Шура. Тятин, вы – правдивый человек?

Тятин. Нет.

Шура. Почему?

Тятин. Невыгодно.

² Это дурной тон (*фр.* c'est mauvais ton).

Шура. Если вы так говорите, – значит, вы правдивый. Ну, теперь скажите сразу: вам советуют свататься ко мне?

Тятин (*закуривая, не сразу*). Советуют.

Шура. А вы понимаете, что это плохой совет?

Тятин. Понимаю.

Шура. Да, вы... Вот не ожидала! Я думала, вы...

Тятин. Скверно думали, должно быть?

Шура. Нет, вы... замечательный! А может быть, вы – хитрый, да? Вы играете на правду? Чтобы околпачить меня?

Тятин. Это мне – не по силам. Вы – умная, злая, озорная, совсем как ваш отец; по совести говоря – я вас боюсь. И рыжая вы, как Егор Васильевич. Вроде пожарного факела.

Шура. Тятин, вы – молодец! Или – страшная хитрюга...

Тятин. И лицо у вас – необыкновенное...

Шура. Это – о лице – для смягчения удара? Нет, вы хитрый!

Тятин. Думайте как хотите. По-моему, вы обязательно сделаете что-нибудь... преступное! А я привык жить кверху лапками – знаете, как виноватые кутята...

Шура. В чем виноватые?

Тятин. Не знаю. В том, что кутята, и – зубов нет, укусить не могут.

Антонина (*входит*). Дурак Алешка страшно больно дернул меня за ухо. И деньги отобрал, как жулик! Знаешь, он сопьется, это – наверное! Мы с ним такие никчemuшные, купеческие дети. Тебе – смешно?

Шура. Тоня, – забудь все плохое, что я тебе говорила о нем!

Антонина. О Тятине? А – что ты говорила? Я не помню.

Шура. Ну, что он свататься хочет ко мне.

Антонина. Почему это плохо?

Шура. Из-за денег.

Антонина. Ах, да! Ну, это – свинство, Тятин!

Шура. Жаль, не слышала ты, как он отвечал на мои вопросы.

Антонина. Варумные слова. Помнишь «Варум»³ Шуберта?

Тятин. Разве Шуберта?

Антонина. Варум очень похоже на птицу марабу, такая мрачная птица... в Африке.

Шура. Что ты сочиняешь?

Антонина. Я все больше люблю страшное. Когда страшно, то уже – не скучно. Полюбила сидеть в темноте и ждать, что приползет огромный змей.

Тятин (*усмехаясь*). Это – который был в раю?

Антонина. Нет, страшнее.

Шура. Ты – занятная. Всегда выдумываешь что-нибудь новое, а все говорят одно и то же: война – Распутин – царица – немцы, война – революция...

Антонина. Ты будешь актрисой или монахиней.

Шура. Монахиней? Ерунда!

³ «Отчего» (*нем. Warum*)

Антонина. Это очень трудно быть монахиней, нужно играть всегда одну роль.

Шура. Я хочу быть кокоткой, как Нана у Золя.

Тятин. Вот как вы говорите! Ф-фу!

Шура. Мне – развращать хочется; мстить.

Тятин. Кому? За что?

Шура. За то, что я – рыжая, за то, что отец болен... за все! Вот когда начнется революция, я развернусь! Увидишь.

Антонина. Ты веришь, что будет революция?

Шура. Да! Да!

Тятин. Революция – будет.

Глафира. Шура, приехала мать Мелания, Егор Васильевич хочет принять ее здесь.

Шура. Ух – тетка! Бежим ко мне, дети! Тятин, – вы очень уважаете вашего брата?

Тятин. Он мне – двоюродный.

Шура. Это не ответ.

Тятин. Кажется – родственники вообще мало уважают друг друга.

Шура. Вот это – ответ!

Антонина. Бросьте говорить о скучном.

Шура. Вы очень смешной, Тятин!

Тятин. Ну, что ж делать?

Шура. И одеваются вы смешно.

Ушли. Глафира отпирает дверь, скрытую драпировкой. В дверях, куда ушла молодежь, – Булычов. Медленно и важно входит игуменья Мелания, с посохом в руке. Глафира стоит, наклоня голову, придерживая драпировку.

Мелания. Ты все еще здесь трешься, блудодейка? Не выгнали тебя? Ну, скоро выгонят.

Булычов. Ты тогда в монахини возьми ее, у нее – деньги есть.

Мелания. А-а, ты – здесь? Ой, Егор, как тебя перевернуло, помилуй бог!

Булычов. Глаха, закрой двери да скажи, чтоб сюда не лезли. Садись... преподобная! Об каких делах поговорим?

Мелания. Не помогают доктора-то? Видишь: господь терпит день, терпит год и век...

Булычов. О господе – после, давай сначала о деле. Я знаю, о деньгах твоих говорить приехала.

Мелания. Деньги не мои, а – обители.

Булычов. Ну – все едино: обители, обидели, грабители. Тебя чем деньги беспокоят? Боишься – умру – пропадут?

Мелания. Пропасть они – не могут, а не хочу, чтоб в чужие руки попали.

Булычов. Так, вынуть хочешь из дела? Мне – все равно –

вынимай. Но – гляди – проиграешь! Теперь рубли плодятся, как воши на солдатах. А я – не так болен, чтобы умереть...

Мелания. Не ведаем ни дня, ни часа, егда приидет смерть. Завещание-то духовное-то написал?

Булычов. Нет!

Мелания. Пора. Напиши! Вдруг – позовет господь...

Булычов. А зачем я ему?

Мелания. Дерзости свои – оставь! Ты – знаешь, слушать их я не люблю, да и сан мой...

Булычов. А ты – полно, Малаша! Мы друг друга знаем и на глаз и на ощупь. Деньги можешь взять, у Булычева их – много!

Мелания. Вынимать капитал из дела я не желаю, а векселья хочу переписать на Аксинию, вот и – предупреждаю.

Булычов. Так. Ну, это – твое дело! Однако в случае моей смерти Звонцов Аксинию облапошит. Варвара ему в этом поможет...

Мелания. Вот как ты заговорил? По-новому будто? Злости не слышно.

Булычов. Я злюсь в другую сторону. Вот, давай-ко, поговорим теперь о боге-то, о господе, о душе.

Смолоду много бито, граблено,
Под старость надобно душу спасти...

Мелания. Ну... что ж, говори!

Булычов. Ты вот богу служишь днем и ночью, как, примерно, Глафира – мне.

Мелания. Не богохуль! С ума сошел? Глафира-то как тебе по ночам служит?

Булычов. Рассказать?

Мелания. Не богохуль, говорю! Опомнись!

Булычов. Не рычи! Я же просто говорю, не казенными молитвами, а человеческими словами. Вот – Глафире ты сказала: скоро ее выгонят. Стало быть, веришь: скоро умру. Это – зачем же? Васька Достигаев на девять лет старше меня и намного жуликоватее, а здоров и будет жить. Жена у него – первый сорт. Конечно, я – грешник, людей обижал и вообще... всячески грешник. Ну – все друг друга обижают, иначе нельзя, такая жизнь.

Мелания. Ты не предо мной, не пред людьми кайся, а перед богом! Люди – не простят, а бог – милостив. Сам знаешь: разбойники, в старину, как грешили, а воздадут богу богово и – спасены!

Булычов. Ну да, ежели украл да на церковь дал, так ты не вор, а – праведник.

Мелания. Его-ор! Кошунствуешь, слушать не буду! Ты – не глуп, должен понять: господь не допустит – дьявол не соблазнит.

Булычов. Ну – спасибо!

Мелания. Это что еще?

Булычов. Успокоила. Выходит, что господь вполне сво-

бодно допускает дьявола соблазнять нас, – значит, он в грешных делах дьяволу и мне компаньон...

Мелания (*встала*). Слова эти... слова твои такие, что ежели владыке Никандру сказать про них...

Булычов. А – в чем я ошибся?

Мелания. Еретик! Подумай – что лезет тебе в нездоровую-то башку? Ведь – понимаешь, ежели бог допустил дьявола соблазнить тебя, – значит, бог от тебя отрекся.

Булычов. Отрекся – а? За что? За то, что я деньги любил, баб люблю, на сестре твоей, дура, из-за денег женился, любовником твоим был, за это отрекся? Эх ты... ворона полоротая! Каркаешь, а – без смысла!

Мелания (*ошалела*). Да что ты, Егор? Обезумел ты? Господи помилуй...

Булычов. Молишься день, ночь под колоколами, а – кому молишься, сама того не знаешь.

Мелания. Егор! В пропасть летишь! В пасть адову... В такие дни... Все разрушается, трон царев качают злые силы... антихристово время... может – Страшный суд близок...

Булычов. Вспомнила! Страшный суд... Второе пришествие... Эх, ворона! Взлетела, накаркала! Ступай, поезжай в свою берлогу с девчонками, с клирошанками лизаться! А вместо денег – вот что получишь от меня – на! (*Показывает кукиш.*)

Мелания (*поражена, почти упала в кресло*). Ох, него-

дядя...

Булычов. Глафира – блудодейка? А – ты? Ты кто?

Мелания. Врешь... Врешь... *(Вскочила.)* Мошенник!

Издохнешь скоро! Червь!

Булычов. Прочь! Уходи от греха...

Мелания. Змей... Дьявол...

Булычов*(один, рычит, потирает правый бок, кричит).*

Глафира! Эй...

Ксения. Что ты? А Меланья-то где?

Булычов. Улетела.

Ксения. Неужто опять поссорились?

Булычов. Ты надолго уселась тут?

Ксения. Дай же ты мне, Егор, слово сказать! Ты совсем уж перестал говорить со мной, будто я мебель какая! Ну, что ты как смотришь!

Булычов. Валяй, валяй, говори!

Ксения. Что же это началось у нас? Светопреставление какое-то! Зятек у себя, наверху, трактир устроил, с утра до ночи люди толкуются, заседают чего-то; вчера семь бутылок красного выпили да водки сколько... Дворник Измаил жалуется – полиция одолела его, все спрашивает: кто к нам ходит? А они там всё про царя да министров. И каждый день – трактир. Ты что голову повесил?

Булычов. Валяй, валяй, сыпь! Молодой, я – любил в трактире с музыкой сидеть.

Ксения. Малаша-то зачем приезжала?

Булычов. Врать, Аксинья, ты – не можешь! Глупа для этого.

Ксения. Чего же это я соврала, где?

Булычов. Здесь. Маланья приехала по уговору с тобой о деньгах говорить.

Ксения. Когда же это я уговаривалась с ней, что ты?

Булычов. Ну – ладно! Заткни рот...

Оживленно входят Достигаев, Звонцов, Павлин.

Достигаев. Егор, послушай-ко, что отец Павлин из Москвы привез...

Ксения. Ты бы лег, Егор!

Булычов. Ну, слушаю... отец!

Павлин. Хорошего мало рассказать могу, да, по-моему, и хорошее-то – плохо, ибо лучше того, как до войны жили, ничего невозможно выдумать.

Достигаев. Нет, протестую! Не-ет!

Звонцов шепчется с тещей.

Ксения. Плачет?

Достигаев. Кто плачет?

Ксения. Игуменья.

Достигаев. Что же это она?

Булычов. Идите-ко, взгляните, чего она испугалась? А ты, отец, садись, рассказывай.

Достигаев. Интересно, от какой жалости плачет Маланья.

Павлин. Великое смятение началось в Москве. Даже умственно зрелые люди утверждают, что царя надобно сместить, по неспособности его.

Булычов. С лишком двадцать лет способен был.

Павлин. Силы человека иссякают от времени.

Булычов. В тринадцатом году, когда триста лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Весь народ радовался. Вся Кострома.

Павлин. Это – было. Действительно – радовался народ.

Булычов. Что же такое случилось? Вот и Дума есть... Нет, дело – не в царе... а в самом корне...

Павлин. Корень – это и есть самодержавие.

Булычов. Каждый сам собой держится... своей силой... Да вот сила-то – где? На войне – не оказалось.

Павлин. Дума способствовала разрушению сил.

Елизавета (в дверях). Вы, отец Павлин, исповедуете?

Павлин. Ну, что это, какой вопрос.

Елизавета. А где мой муж?

Павлин. Был здесь.

Елизавета. Какой вы строгий сегодня, отец Павлин. *(Исчезла.)*

Булычов. Отец...

Павлин. Что скажете?

Булычов. Всё – отцы. Бог – отец, царь – отец, ты – отец, я – отец. А силы у нас – нет. И все живем на смерть. Я – не про себя, я про войну, про большую смерть. Как в цирке зверя-тигра выпустили из клетки на людей.

Павлин. Вы, Егор Васильевич, – успокойтесь...

Булычов. А – на чем? Кто меня успокоит? Чем? Ну – успокой... отец! Покажи силу!

Павлин. Почитайте Священное писание, Библию; например, Иисуса Навина хорошо вспомнить... Война – в законе...

Булычов. Брось. Какой это – закон? Это – сказка. Солнце не остановишь. Врете.

Павлин. Роптать – величайший грех. Надобно с тихой душою и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь.

Булычов. Ты примирился, когда тебя староста, Алексей Губин, обидел? Ты – в суд подал на него, Звонцова адвокатом пригласил, за тебя архиерей вступился! А вот я в какой суд подам жалобу на болезнь мою? На преждевременную смерть? Ты – покорно умирать будешь? С тихой душой, да? Нет, – заорешь, застонешь.

Павлин. Речи такие не позволяет слушать сан мой. Ибо это речи...

Булычов. Брось, Павлин! Ты – человек. Ряса – это краска на тебе, а под ней ты – человек, такой же, как я. Вот доктор

говорит – сердце у тебя плохое, ожирело...

Павлин. К чему ведут такие речи? Подумайте и устрашитесь! Установлено от веков...

Булычов. Установлено, да, видно, не крепко.

Павлин. Лев Толстой еретик был, почти анафеме предан за неверие, а от смерти бежал в леса, подобно зверю.

Ксения. Егор Васильевич, Мокей пришел, говорит: Якова ночью жандармы арестовали, так он спрашивает...

Булычов. Ну, спасибо, отец Павлин... за поучение! Я еще тебя... потревожу. Позови Башкина, Аксиныя! Скажи Глафире – пусть каши принесет. И – померанцевой.

Ксения. Нельзя тебе водку...

Булычов. Все – можно. Ступай! *(Оглядывается, усмехавшись, бормочет.)* Отец... Павлин... Филин... Тебе, Егор, надо было табак курить. В дыму – легче, не все видно... Ну, что, Мокей?

Башкин. Как здоровье, Егор Васильевич?

Булычов. Все лучше. Якова арестовали?

Башкин. Да, ночью сегодня. Скандал!

Булычов. Одного?

Башкин. Говорят – часовщика какого-то да учительницу Калмыкову, которая Александре Егоровне уроки давала, кочегара Ерихонова, известный бунтарь. Около десятка будто.

Булычов. Все из тех – долой царя?

Башкин. У них это... различно: одни царя, а другие – всех богатых, и чтобы рабочие сами управляли государ-

СТВОМ...

Булычов. Ерунда!

Башкин. Конечно.

Булычов. Пропьют государство.

Башкин. Не иначе.

Булычов. Да... А – вдруг – не пропьют?

Башкин. А что ж им делать без хозяев-то?

Булычов. Верно. Без тебя да без Васьки Достигаева – не проживешь.

Башкин. И вы – хозяин...

Булычов. Ну, а как же? И я. Как, говоришь, они поют?

Башкин (*вздыхнув*). Отречемся от старого мира...

Булычов. Ну?

Башкин. Отрясем его прах с наших ног...

Булычов. По словам – на молитву похоже.

Булычов. Какая же молитва? Ненавидим, дескать, царя... дворец...

Булычов. Вон что? Н-да... черти драповые! (*Подумал.*) Ну, а тебе чего надо?

Глафира принесла кашу и водку.

Башкин. Мне? Ничего.

Булычов. А зачем пришел?

Башкин. Спросить, кого на место Якова поставить.

Булычов. Потапова, Сергея.

Башкин. Он тоже в этих мыслях – ни бога, ни царя...

Булычов. Тоже?

Башкин. Позвольте предложить – Мокроусова. Он – очень просится к нам. Человек грамотный, распорядительный.

Глафира. Каша простынет.

Булычов. Полицейский? Воряга? Чего же он?

Булычов. Теперь в полиции опасно служить, многие уходят.

Булычов. Так. Опасно? Ах, крысы... Ладно, пришли Потапова. Завтра утром. Ступай... Глаха, – трубач пришел?

Глафира. В кухне сидит.

Булычов. Съем кашу – веди его сюда. Что это – как тихо в доме?

Глафира. Наверху все.

Булычов (*пьет водку*). Ну – и ладно. Ты что – приуныла?

Глафира. Не пей, не вреди себе, не хворай ты! Брось все, уйди от них. Сожрут они тебя, как черви... заживо сожрут! Уедем... в Сибирь...

Булычов. Пусти, больно...

Глафира. В Сибирь уедем, я работать буду... Ну – что ты здесь, зачем? Никто тебя не любит, все – смерти ждут...

Булычов. Перестань, Глаха... Не расстраивай меня. Я – все знаю, все вижу! Я знаю, кто ты мне... Ты да Шурка, вот это я – нажил, а остальное – меня выжило... Может, еще выздоровлю... Зови трубача, ну-ко...

Глафира. Кашу-то съешьте.

Булычов. Черт с ней, с кашей! Шурку позови... *(Остается один и жадно пьет рюмку за рюмкой.)*

Входит Трубач. Он смешной, тощий, жалкий, за плечами – на ремнях – большая труба в мешке.

Трубач. Здравия желаю вашему степенству.

Булычов *(удивлен)*. Здорово. Садись. Глаха, затвори дверь. Вот какой ты...

Трубач. Так точно.

Булычов. Н-ну... неказист! Рассказывай, – как лечишь?

Трубач. Лечение мое простое, ваше степенство, только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне, так что я деньги вперед прошу.

Булычов. Это ты неплохо придумал! А вылечиваешь?

Трубач. Сотни вылечил.

Булычов. Не разбогател, однако.

Трубач. На добром деле не богатеют.

Булычов. Вон как ты! От каких же болезней вылечиваешь?

Трубач. Все болезни одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе, так что я ото всех лечу...

Булычов *(усмехаясь)*. Храбро! Ну-ко, покажи, трубу-то...

Трубач. Рубль заплатить можете?

Булычов. Рубль? Найдется. Глаха, – есть у тебя? Получи. Дешево берешь.

Трубач. Это – для начала. (*Развязал мешок, вытащил басовую трубу.*)

Шура прибежала.

Булычов. Самовар какой... Шурок, – хорош целитель? А ну-ко, подуй!

*Трубач откашлялся, трубит,
не очень громко, кашляет.*

Это и – все?

Трубач. Четыре раза в сутки по пяти минут, и – готово!

Булачов. Выдыхается человек? Умирает?

Трубач. Никогда! Сотни вылечил!

Булычов. Так. Ну, а теперь скажи правду: ты – кем себя считаешь – дураком или жуликом?

Трубач (*вздыхнув*). Вот и вы не верите, как все.

Булычов (*посмеиваясь*). Ты – не прячь трубу-то! Говори прямо: дурак или жулик? Денег дам!

Шура. Не надо обижать его, папа!

Булычов. Я не обижаю, Шурок! Тебя как звать, лекарь?

Трубач. Гаврило Увеков...

Булычов. Гаврило? (*Смеется.*) Ох, черт... Неужто – Гаврило?

Трубач. Имя очень простое... никто не смеется!

Булычов. Так – ты кто же: глупый или плут?

Трубач. Шестнадцать рублей дадите?

Булычов. Глаха, – принеси! В спальне... Почему шестнадцать, Гаврило?

Трубач. Ошибся! Надо было больше спросить.

Булычов. Значит – глупый ты?

Трубач. Да нет, я не дурак...

Булычов. Стало быть – жулик?

Трубач. Да и не жулик... Сами знаете: без обмана – не проживешь.

Булычов. Вот это – верно! Это, брат, нехорошо, а – верно.

Шура. Разве не стыдно обманывать?

Трубач. А почему стыдно, если верят?

Булычов (*возбужденно*). И это – правильно! Понимаешь, Шурка? Это – правильно! А поп Павлин эдак не скажет! Он – не смеет!

Трубач. За правду мне прибавить надо. И – вот вам крест! – некоторым труба помогает.

Булычов. Верю, – двадцать пять дай ему, Глаха. Давай еще. Давай все!

Трубач. Вот уж... покорно благодарю... Может, попробуйте трубу-то? Пес ее знает... как она, а ей-богу – действует!

Булычов. Нет, спасибо! Ах ты, Гаврило, Гаврило! (*Смеется.*) Ты... вот что, ты покажи, как она... Ну-ко – действуй! Да – потолще!

Трубач напряженно и оглушительно трубит. Глафира смотрит на Булычова тревожно. Шура, зажав уши, смеется.

Сади во всю силу!

Вбегают Достигаевы, Звонцовы, Башкин, Ксения.

Варвара. Что это такое, папаша?

Ксения. Егор, что ты еще затеял?

Звонцов (*Трубачу*). Ты пьяный?

Булычов. Не тронь! Не смей! Глуши их, Гаврило! Это же Гаврило-архангел конец миру трубит!..

Ксения. Ой, ой, помешался...

Башкин (*Звонцову*). Вот видите?

Шура. Папа, ты слышишь? Они говорят – с ума сошел ты! Уходите, трубач, уходите!

Булычов. Не надо! Глуши, Гаврило! Светопреставление! Конец миру... Труби-и!..

Занавес

Третий акт

Столовая. Все в ней кажется сдвинутым со своих мест. На столе неубранная посуда, самовар, пакеты из магазина, бутылки. В углу чемоданы, один из них разбирает монастырская служка Таисья в острой шлычке; около нее – Глафира, с подносом в руке. Над столом горит лампа.

Глафира. А надолго мать Мелания к нам?

Таисья. Не знаю я.

Глафира. Почему она у себя на подворье не остановилась?

Таисья. Не знаю.

Глафира. Тебе сколько лет?

Таисья. Девятнадцать.

Звонцов на лестнице.

Глафира. А ничего не знаешь! Что ты – дикая какая?

Тайся. Нам с мирскими не велят говорить.

Звонцов. Игуменья пила чай?

Глафира. Нет.

Звонцов. Возьми, подогрей самовар, на всякий случай.

Глафира уходит, взяв самовар.

Что там вас – солдаты напугали?

Тайся. Солдаты-с.

Звонцов. Чем же они напугали?

Тайся. Корову зарезали, пригрозили поджечь монастырь. Простите. *(Ушла, унося груды белья.)*

Варвара *(из прихожей)*. Слякоть какая! Ты тут с монашенкой беседуешь?

Звонцов. Присутствие игуменьи в нашем доме неудобная штука, знаешь ли?

Варвара. Дом еще не наш... Что, Тятин согласился?

Звонцов. Тятин – осел или притворяется честным.

Варвара. Подожди. Кажется, отец кричит... *(Слушает у двери в комнату отца.)*

Звонцов. Хотя доктора и утверждают, что он – в своем уме, но после этой дурацкой сцены с трубой...

Варвара. Он и не такие сцены разыгрывал, хуже бывало. Между Александрой и Тятиным наладились, кажется, приятельские отношения?

Звонцов. Да, но – ничего хорошего я в этом не вижу.

Сестрица твоя – хитрая штука, от нее можно ожидать... весьма серьезных неприятностей.

Варвара. Жаль, что ты не сообразил этого, когда она кокетничала с тобой. Впрочем, это тебе было приятно.

Звонцов. Кокетничала она со мной, чтобы позлить тебя.

Варвара. Ты огорчен? Ну, Павлин лезет. Повадился!

Звонцов. Духовенства – избыток у нас.

*Входят, споря, Елизавета,
Павлин, затем – Мокей.*

Павлин. Газеты же, по обыкновению, лгут! Добрый вечер!

Елизавета. А я вам говорю, что это неправда!

Павлин. Установлено вполне точно; государь отказался от престола не по доброй воле, а под давлением насилия, будучи пойман в дороге на Петроград членами кадетской партии... Да-с!

Звонцов. Что же отсюда следует?

Елизавета. Отец Павлин – против революции и за войну, а я – против войны! Я хочу в Париж... Довольно воевать! Ты согласна, Варя? Помнишь, как сказал Анрикатр: «Париж лучше войны». Я знаю, что он не так сказал, но – он ошибся.

Павлин. Не настаиваю ни на чем, ибо все колеблется.

Варвара. Нужен мир, мир, отец Павлин! Вы видите, как ведет себя чернь?

Павлин. Ох, вижу! А что наш больной? Как с этой стороны? *(Прижимает палец к переносью.)*

Звонцов. Доктора не нашли признаков расстройства.

Павлин. Это – приятно! Хотя доктора безошибочно находят токмо одни гонорары.

Елизавета. Какой вы злой! Варя, Жанна приглашает нас ужинать.

Башкин. Арестованных выпустили, а полиция страдает.

Павлин. Да, да... Удивительно! Чего хорошего ожидаете вы от событий, Андрей Петрович, а?

Звонцов. Общественные силы организуются закономерно и скоро скажут свое слово. Под общественными силами я разумею людей, которые обладают прочным экономическим...

Варвара. Слушай-ко, Жанна приглашает нас... *(Отводит его в сторону, шепчет.)*

Звонцов. Ну, знаешь, это меня ставит не очень удобно! С одной стороны – игуменья, с другой – кокотка...

Варвара. Да – тише ты!

Башкин. Андрей Петрович, тут – Мокроусов, – знаете, помощник пристава?

Звонцов. Да. Что ему надо?

Башкин. Он службу бросает по причине опасности и просится к нам, в лес.

Звонцов. Удобно ли это?

Варвара. Подожди, Андрей...

Башкин. Очень удобно. Лаптев теперь загнет хвост и бунтовать будет. Донат – сами знаете – человек неподходящий и тоже сектант, все о законе правды бормочет, а уж какая тут правда, когда... сами видите!

Звонцов. Ну, это чепуха! Мы присутствуем именно при начале торжества правды...

Варвара. Да подожди же, Андрей.

Звонцов. И справедливости.

Варвара. Вы чего хотите, Мокей?

Башкин. Я – чтобы нанять Мокроусова. Егор Васильевичу я предлагал.

Варвара. Что же он?

Звонцов, нахмурился, отошел прочь.

Башкин. Определенно не высказался.

Варвара. Возьмите Мокроусова.

Башкин. Может – взглянете на него?

Варвара. Зачем же?

Башкин. Для знакомства. Он – здесь.

Варвара. Ну, хорошо...

Башкин идет в прихожую. Варвара пишет что-то в записной книжке. Башкин возвращается с Мокроусовым; это – человек круглолицый, брови удивленно подняты, на лице – улыбочка, но кажется, что хочет крепко выругаться. В полицейской форме, на боку – револьвер, шаркает ножкой.

Мокроусов. Честь имею представиться. Глубоко благодарен за честь служить.

Варвара. Очень рада. Вы даже в форме, а я слышала, что полицию разоружают.

Мокроусов. Совершенно верно, в естественном виде нам по улице ходить опасно, так что я – в штатском пальто, хотя при оружии. Но сейчас, по случаю возбуждения неосновательных надежд, чернь несколько приутихла, и потому... без шашки.

Варвара. Когда вы думаете начать службу у нас?

Мокроусов. Мысленно – я уже давно покорный ваш слуга. В лес готов отправиться хоть завтра, я одинок и...

Варвара. Вы думаете, надолго это – этот бунт?

Мокроусов. Полагаю – на все лето.

Варвара. Только на лето?

Мокроусов. Потом наступят дожди, морозы, и шляться

по улицам будет неудобно.

Варвара (*усмехаясь*). Едва ли революция зависит от погоды.

Мокроусов. Помилуйте! А как же! Зима – охлаждает.

Варвара (*усмехаясь*). Вы – оптимист.

Мокроусов. Полиция – вообще оптимисты.

Варвара. Вот как!

Мокроусов. Именно-с. Это от сознания силы-с.

Варвара. Вы служили в армии?

Мокроусов. Так точно. В бузулукском резервном батальоне, имею чин подпоручика.

Варвара (*подавая руку*). Ну, желаю вам всего хорошего.

Мокроусов (*целуя руку*). Сердечно тронут. (*Ушел, пятясь задом, притопывая.*)

Варвара (*Баикину*). Кажется, он – дурак?

Башкин. Это – не грех. Умники-то – вон они как... Им дай волю, так они землю наизнанку вывернут... Как – вроде – карман.

Павлин (*Баикину, Елизавете*). Духовенству обязательно нужно дать право свободной проповеди, иначе – ничего не получится!

*Глафира, Шура выводят под руки Булычева.
Все замолчали, смотрят на него; он хмурится.*

Булычов. Ну? Что молчите? Бормотали, бормотали...

Павлин. Поражены внезапностью...

Булычов. Что?

Павлин. Зрелище человека ведомого...

Булычов. Ведомого! Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут! Ведомого... Мокей – Яшутку освободили?

Башкин. Да. Всех арестантов освободили.

Звонцов. Политических.

Булычов. Якову Лаптеву свобода, а царя – под арест! Вот как, отец Павлин! Что скажешь, а?

Павлин. Неискушен в делах этих... но – по малому разумению моему – сначала осведомился бы, что именно намерены говорить и делать эти лица...

Булычов. Царя выбирать. Без царя – перегрызетесь вы все...

Павлин. Воодушевленное лицо у вас сегодня, очевидно – преодолеваете недуг?

Булычов. Вот, вот... преодолеваю! Вы, супруги, и ты, Мокей, оставьте-ко нас, меня с Павлином. Ты, Шуренок, не уходи.

Башкин ушел в прихожую. Звонцовы и Достигаева – наверх. Минуты через две Варвара, сойдя до половины лестницы, слушает.

Шура. Ты – ляг!

Булычов. Не хочу. Ну что, отец Павлин, ты насчет коло-

кола – что ли?

Павлин. Нет, заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении, в чем и не ошибся. Но, конечно, памятуя щедрые и великодушные в прошлом деяния ваши, направленные к благолепию града сего и храма...

Булычов. Плохо ты молишься за меня, мне вот все хуже. И неохота платить богу. За что платить-то? Плачено немало, а толку нет.

Павлин. Жертвы ваши...

Булычов. Постой! Есть вопрос: как богу не стыдно? За что смерть?

Шура. Не говори о смерти, не надо!

Булычов. Ты – молчи! Ты – слушай. Это я – не о себе.

Павлин. Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна?

Булычов. А зачем она втиснута в грязную-то, темную плоть?

Павлин. Вопрос этот церковь считает не токмо праздным, но и...

*Варвара – на лестнице –
смеется, прижав платок ко рту.*

Булычов. Ты – не икай! Говори прямо. Шура, – трубоча помнишь, а?

Павлин. В присутствии Александры Егоровны...

Булычов. Это – брось! Ей – жить, ей – знать! Я вот жил-жил, да и спрашиваю: ты зачем живешь?

Павлин. Служу во храме...

Булычов. Знаю я, знаю – служишь! А ведь придется тебе умирать. Что это значит? Что значит – смерть нам, – Павлин?

Павлин. Вопросаєте... нелогично и бесплодно! И – про-сти-те! Но уже не о земном надо бы...

Шура. Не смейте так говорить!

Булычов. Я – земной! Я – насквозь земной!

Павлин (*встает*). Земля есть прах...

Булычов. Прах? Так вы, мма... Так вы это, что земля – прах, сами должны понять! Прах, а – ряса шелковая на тебе. Прах, а – крест золоченый! Прах, а – жадничаете...

Павлин. Злое и пагубное творите в присутствии отроковицы...

Булычов. От рукавицы, от рукавицы...

Барвара быстро ушла наверх.

Обучают вас, дураков, как собак на зайцев... Разбогатели от нищего Христа...

Павлин. Озlobляет вас болезнь, и, озlobляясь, рычите, подобно вепрю...

Булычов. Уходишь? Ага...

Шура. Напрасно ты волнуешься, от этого хуже тебе. Какой ты... неугомонный...

Булычев. Ничего! Жалеть – нечего! Ух, не люблю этого попа! Ты – гляди, слушай, я нарочно показываю...

Шура. Я сама все вижу... не маленькая, не дура!

Звонцов на лестнице.

Булычев. Они, после трубача, решили, что я с ума сошел, а доктора говорят: врете! Ты ведь докторам веришь, Шура? Докторам-то?

Шура. Я тебе верю... тебе...

Булычев. Ну, то-то! Нет, у меня разум в порядке! Доктора – знают. Действительно, я наткнулся на острое. Ну, ведь всякому... интересно: что значит – смерть? Или, например, жизнь? Понимаешь?

Шура. Не верю я, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома. Глафира верно говорит! Надо лечиться серьезно. Ты – никого не слушаешь.

Булычев. Всех слушаю! Вот знахарку попробуем. Вдруг – поможет? Ей бы пора прийти. Грызет меня боль... как тоска!

Шура. Перестань, милый! Не надо, родной мой! Ты – ляг...

Булычев. Лежать – хуже. Лег – значит – сдался. Это – как в кулачном бою. И – хочется мне говорить. Мне надо тебе рассказать. Понимаешь... какой случай... не на той улице я живу! В чужие люди попал, лет тридцать все с чужими. Вот чего я тебе не хочу! Отец мой плоты гонял. А я вот... Этого

я тебе не могу выразить.

Шура. Ты говори тише, спокойнее... Говори, как, бывало, сказки мне рассказывал.

Булычов. Я тебе – не сказки, я тебе всегда правду говорил. Видишь ли... Попы, цари, губернаторы... на кой черт они мне надобны? В бога – я не верю. Где тут бог. Сама видишь... И людей хороших – нет. Хорошие – редки, как... фальшивые деньги! Видишь, какие все? Вот они теперь запутались, завоевались... очумели! А – мне какое дело до них? Булычову-то Егору – зачем они? И тебе... ну, как тебе с ними жить?

Шура. Ты не беспокойся обо мне...

Ксения (*идет*). Александра, к тебе Тоня с братом пришла и этот...

Шура. Подождут...

Ксения. А ты – иди-ко! Мне с отцом поговорить надо...

Булычов. А мне – надо?

Шура. Вы – не очень много – говорите...

Ксения. Учи, учи меня! Егор Васильевич – Зобунова пришла...

Булычов. Шурок, ты потом веди их сюда, молодежь-то... Ну, давай Зобунову!

Ксения. Сейчас. Я хочу сказать, что Александра подружилась с прощелыгой этим, с двоюродным братцем Андрея. Сам понимаешь: это ей не пара. Одного нищего приютили мы, так он – вон как командует.

Булычов. Ты, Аксинья, совсем... как дурной сон, – право!

Ксения. Бог с тобой, обижай! Ты бы запретил ей амурничать с Тятиным-то.

Булычов. А еще что?

Ксения. Мелания у нас...

Булычов. Зачем?

Ксения. Несчастье с ней. Солдаты беглые напали на обитель, корову зарезали, два топора украли, заступ, связку веревок, вон что делается! А Донат, лесник наш, нехороших людей привечает, живут они в бараке, на лесорубке...

Булычов. Заметно, что ежели какой человек приятен мне, так он уж никому не приятен.

Ксения. Ты бы помирился с ней...

Булычов. С Маланьей? Зачем?

Ксения. Да – как же? Здоровье твое...

Булычов. Ладно. Давай... помирюсь! Я ей скажу: «И остави нам долги наша».

Ксения. Ты – поласковее. *(Ушла.)*

Булычов *(бормочет)*. «И остави нам долги... „яко же и мы оставляем“... Кругом вранье... Ох, черти...

Варвара. Папаша! Я слышала, как мать говорила о Степане Тятине...

Булычов. Да... Ты – все слышишь, все знаешь...

Варвара. Тятин – скромный, честный человек, он не потребует большого приданого за Александрой и очень хоро-

шая пара для нее.

Булычов. Заботливая ты...

Варвара. Я присмотрелась к нему...

Булычов. О ком ты заботишься? Эх вы... черти домашние!

*Идут Мелания, Ксения, в дверях
остановилась служка Таисья.*

Ну что, Малаша? Помиримся, что ли?

Мелания. То-то. Воин! Обижаешь всех... ни за что ни про что...

Булычов. «И остави нам долги наша» – Малаша!

Мелания. Не о долгах речь. Не озоруй! Вон какие дела-то начались. Царя, помазанника божия, свергли с престола. Ведь это – что значит? Обрушил господь на люди своя тьму смятения, обезумели все, сами у себя под ногами яму роют. Чернь бунтуется. Копосовские бабы в лицо мне кричали, мы, дескать, народ! Наши мужья, солдаты – народ! Каково? Подумай, когда это солдаты за народ считались?

Ксения. Это вот все Яков Лаптев доказывает...

Мелания. Губернатора власти лишили, а на место его нотариус Осмоловский посажен...

Булычов. Тоже толстый.

Мелания. Вчера владыко Никандр говорил: «Живем накануне происшествий сокрушительных; разве, говорит,

штатская власть возможна? От времен библейских народами управляла рука, вооруженная мечом и крестом...»

Варвара. В библейские времена кресту не поклонялись...

Мелания. А ты помолчи, умница... Евангелие-то в одном переплете с Библией. А крест есть – меч! Туда же! Владыко-то лучше тебя знает, когда чему поклонялись. Вы, честолюбцы, радуетесь падению престола. Не обернулась бы радость в горькие вам слезы. Егорушко, мне с тобой надо бы глаз на глаз поговорить...

Булычов. Эдак – опять поругаемся мы с тобой? Однако – можно и поговорить, ну – после! Сейчас лекариха придет. Выздороветь хочется мне, Малаша!

Мелания. Зобунова – лекариха знаменитая. Докторам – далеко до нее! А потом ты бы с блаженным Прокопием поговорил...

Булычов. Это – которого мальчишки Пропотеем зовут? Жулик он, говорят?

Мелания. Ну, что ты, что ты! Как это можно! Ты прими-ко его...

Булычов. Можно и Пропотея. Мне сегодня что-то лучше... Только вот ноги... Веселее будто. Все что-то смешно... смешным кажется! Зови знахарку, Аксинья.

Ксения ушла.

Мелания. Эх, Егорий... много еще в тебе... осталось!

Булычов. Вот то-то и есть, что много...

Ксения (*входя*). Она говорит, чтобы все ушли...

Мелания. Ну, надо уйти...

Все ушли. Булычов, усмехаясь, гладит бок, грудь. Входит Зобунова. Незаметно, однако так, чтобы было замечено, она, кривя рот, дует в правую сторону от себя, правая рука прижата к сердцу, а ладонью левой, как рыбьим плавником, отмахивается. Остановилась, провела правой рукой по лицу.

Булычов. Это ты – чертям молишься?

Зобунова (*певуче*). Ой вы, злые недуги, телесные печали!

Отвяжитесь, откачнитесь, от раба божия удалитесь! В сей день, в сей час, отгоняю вас по всю жизнь крепким моим словом во веки веков! Здравствуйте, благомилостивый человек, по имени Егорий!..

Булычов. Здравствуй, тетка! Это ты чертей отгоняла?

Зобунова. Что ты, рождённый, разве с ними можно дело иметь?

Булычов. Надо, так можно! Богу – попы молятся, а ты – не поп, ты должна – чертям.

Зобунова. Ну, что это какие страхи ты говоришь! Про меня только глупые рассказывают, будто я с нечистой силой знаюсь.

Булычов. Ну, тогда у тебя, тетка, толку не будет! Попы богу за меня молились, бог – отказался, не помогает мне!

Зобунова. Это ты шутишь, дорогой человек, это ты потому, что не веришь мне.

Булычов. Я бы поверил, если б ты от чертей пришла. Ты ведь, конечно, знаешь, слышала: я распутный, с людьми – жесткий, до денег – жадный...

Зобунова. Слышала, да не верю, что ты пожалеешь дать мне добрую денежку.

Булычов. Я, тетка, великий грешник, и богу дела нет до меня. Отрекся бог от Егора Булычева. Так что, если ты с чертями не знакома, – иди, выкидыши девкам делать! Это – твое ремесло, так?

Зобунова. Ой, верная слава про тебя, что ты – напористый, озорной человек!

Булычов. Ну? Чего соврать хочешь? Валяй!

Зобунова. Врать не обучена. Ты скажи-ко мне: что у тебя болит, как болит, где?

Булычов. Живот. Сильно болит. Вот здесь.

Зобунова. Видишь ли... только ты не говори никому, ни-ни!

Булычов. Не скажу. Не бойся.

Зобунова. Есть недуги – желтые и есть – черные. Желтый недуг – его и доктор может вылечить, а – черный – ни поп, ни монах не замолят! Черный – это уже от нечистой силы, и против него – одно средство...

Булычов. Сразу: пан или пропал? Так?

Зобунова. Средство это – дорогое!

Булычов. Конечно! Понимаю.

Зобунова. Тут действительно с нечистой силой надобно дело иметь.

Булычов. С самим сатаной?

Зобунова. Ну, не прямо с ним, а все-таки...

Булычов. Можешь?

Зобунова. Только ты – никому ни словечка...

Булычов. Иди к чертям, тетка!

Зобунова. Погоди-ко...

Булычов. Иди прочь, а то ушибу...

Зобунова. Ты послушай-ко...

Глафира (*из прихожей*). Тебе сказано – уходи!

Зобунова. Что это вы какие...

Булычов. Гони ее, гони!

Глафира. Туда же, ведьмой притворяешься!

Зобунова. Ты сама – ведьма! Ишь рожа-то... Эх вы... Ни сна бы вам, ни покоя!

Ушли.

Булычов (*оглядывается, вздыхает*). Ф-фу...

Входят Мелания, Ксения.

Мелания. Не понравилась Зобунова, не угодила?

Булычов молчит, глядя на нее.

Ксения. Она – тоже нравная. Захвалена, зазналась.

Булычов. Малаша, – как думаешь: у бога живот болит?

Мелания. А ты – не дури...

Булычов. У Христа, наверное, болел. Христос рыбой питался...

Мелания. Перестань, Егор. Что ты меня дразнишь?

Глафира. Она денег просит за беспокойство.

Булычов. Дай, Аксинья! Ты, Малаша, извини, я – устал, пойду к себе. С дураками – хуже всего устаешь. Ну-ко, Глаха, помоги...

Глафира уводит его. Возвратилась Ксения, вопросительно смотрит на сестру.

Мелания. Притворяется он сумасшедшим. Притворяется...

Ксения. Ой ли? Где уж ему...

Мелания. Это – ничего! Пусть играет. Это против него же обернется, если духовное-то завещание судом оспаривать надо будет. Таисья будет свидетельницей, Зобунова, отец Павлин, трубач этот, да мало ли? Докажем, что завещатель не в своем уме был...

Ксения. Ох, уж не знаю, как тут быть...

Мелания. Вот я тебя и учу! Эх ты... Выскочила замуж! Я тебе говорила – выходи за Башкина.

Ксения. Ну... Когда это было! А он-то какой был орел... Ты сама завидовала.

Мелания. Я? Ты что? Очумела?

Ксения. Ну, что уж вспоминать...

Мелания. Господи, помилуй! Завидовала! Я?

Ксения. Как – Прокофья-то? Может – не надо?

Мелания. Почему это – не надо? Призвали, уговорились и – вдруг не надо! Ты – не мешай мне! Иди приготовь его да приведи. Таисья!

Таисья выходит из прихожей.

Ну, что?

Таисья. Ничего не узнала я.

Ксения ушла.

Мелания. Почему?

Таисья. Не говорит она ничего.

Мелания. Как это – не говорит? Ты должна была выпросить.

Таисья. Выспрашивала я, а она – фыркает, будто – кошка. Ругает всех.

Мелания. Как ругает?

Таисья. Жуликами.

Мелания. За что же она?

Таисья. С ума, говорит, хотите свести человека...

Мелания. Это она тебе сказала?

Таисья. Нет, Пропотею, блаженному.

Мелания. А он – что?

Таисья. Он все прибаутки говорит...

Мелания. Прибаутки?.. Ах ты... лапоть! Он – блаженный, прорицает, дура! Сядь в прихожей, не уходи никуда... В кухне был еще кто-нибудь?

Таисья. Мокей...

Мелания. Ну, ступай. *(Подходит к дверям комнаты Бульчева, стучит.)* Егорий, блаженный пришел.

Идет, сопровождаемый Ксенией и Башкиным, Пропотей, в лаптях, в длинной до щиколоток, хощовой рубахе, со множеством медных крестов и образков на груди. Страховиден: густые, встрепанные волосы, длинная, узкая, редкая борода, движения резки и судорожны.

Пропотей. Ух, накурено! Душа задыхается...

Ксения. Тут, батюшка, никто не курит.

Пропотей гудит, подражая зимнему ветру.

Мелания. Ты – погоди, дай выйти...

Булычов (*его ведет под руку Глафира*). Ишь ты, какой... явился!

Пропотей. Не бойся. Не страшись. (*Гудит.*) Все тлен, все пройдет! Жил Гриша, лез выше, стукнулся в потолок, – черт его и уволок.

Булычов. Это – про Распутина, что ли?

Пропотей. Вот – низвергнут царь, и погибает царство, идо же царствует грех, смерть и смрад! Гудит метелица, гудит распутица. (*Гудит. Указывает посохом на Глафиру.*) Дьявол во образе женском рядом с тобой – отгони.

Булычов. Я те отгоню! Болтай, да знай меру. Маланья,

это ты, что ли, обучила его?

Мелания. Что выдумываешь? Разве безумного можно научить?

Булычов. Похоже, что можно...

С лестницы бежит Шура, за нею Антонина, Тятин. Постепенно сверху спускаются Звонцовы, Достигаевы. Пропотей молча чертит палкой в воздухе и на полу. Стоит задумчиво, опустив голову.

Шура (*подбегая к отцу*). Это что еще? Что за представление?

Мелания. А ты – молчи!

Пропотей (*как бы с трудом*). Не спит еретик, а часики – тик да тик!.. Кабы – бог... да – кабы мог... да я – не плох, да, да! А – чья беда? Играй, сатана, тебе – воля дана! Стукнула полночь... спел петух ку-ка-ре-ку... тут – конец еретику...

Булычов. Складно тебя научили...

Мелания. Не мешай, Егор, не мешай!..

Пропотей. Что делать будем?.. Что скажем людям?

Антонина (*с сожалением*). Он – не страшный... Нет!

Пропотей. Убили гниду – поют панихиду. А может, плясать надо? Ну-ко, спляшем и нашим и вашим! (*Притопывает, напевая, сначала – негромко, затем все более сильно, и –*

пляшет.) Астарот, Сабатан, Аскафат, Идумей, Неумней. Не умеи, карра тили – бом-бом, бейся в стену лбом, лбом! Эх, юхала, юхала, ты чего нанюхала? Дыб-дыб, дым, дым! Сатана играет им! Згин-гин-гин, он на свете один, его ведьма Зака-тама в свои ляшки закатала! От греха, от блуда не денешься никуда! Вот он, Егорий, родился на горе...

Шура (*кричит*). Прогоните его!

Булычов. Вы что... черт вас... испугать меня хотите?

Звонцов. Надо прекратить это безобразие...

Глафира подбегает к Пропотею, он, не переставая кружиться, замахнулся на нее палкой.

Пропотей. Их, эх, ох, ах! ух-чух, злой дух...

Тягин вырвал палку из руки Пропотея.

Мелания. Да ты – что? Да ты – кто?

Шура. Отец, прогони всех... Что ты молчишь?

Булычов (*машет руками*). Погоди... погоди...

Пропотей сел на пол, гудит, взвизгивает.

Мелания. Его – нельзя трогать! Он – в наитии... в восторге!

Достигаев. За такие восторги, мать Меланья, по шею бьют.

Звонцов. Вставай и уходи... живо!

Пропотей. А – куда? (*Гудит.*)

Ксения плачет.

Елизавета. Как это он ловко... в два голоса!

Бульчов. Идите... прочь, все! Нагляделись...

Шура (*топая на блаженного*). Уходи, урод! Степа, выгоните его!

Тягин (*берет Пропотея за шиворот*). Идем, святой... вставай!

Тайся. Он сегодня не больно страшно... он гораздо страшнее умеет это делать. Кабы ему вина дали...

Мелания. Ты – что болтаешь? (*Бьет ее по щеке.*)

Звонцов. Как вам не стыдно?

Мелания. Кого? Тебя стыдно?

Варвара. Успокойтесь, тетя...

Ксения. Господи... Ну, что же?

Шура и Глафира укладывают Булычова на диван, Достигаев внимательно рассматривает его. Звонцовы уводят Ксению с Меланией.

Достигаев (*жене*). Едем домой, Лиза, домой! Булычов – нехорош! Весьма... И демонстрация идет... Надобно при-мкнуть.

Елизавета. Как это он гудел, а? Ничего подобного не во-ображала...

Булычов (*Шуре*). Все это – игуменья придумала...

Шура. Тебе нехорошо?

Булычов. Она... Вроде панихиды... по живому...

Шура. Скажи – нехорошо тебе? Послать за доктором?

Булычов. Не надо. А насчет царства паяц этот от себя махнул... Кабы – бог да кабы мог, – слышала? Не может!

Шура. Все это надобно забыть...

Булычов. Забудем! Ты взгляни-ка, что они там... Глафи-ру не обидели бы... Чего на улице поют?

Шура. Ты не вставай!

Булычов. И погибнет царство, где смрад. Ничего не ви-жу... (*Встал, держась за стол, протирает глаза.*) Царствие твое... Какое царствие? Звери! Царствие... Отче наш... Нет... плохо! Какой ты мне отец, если на смерть осудил? За что? Все умирают? Зачем? Ну, пускай – все! А я – за-чем? (*Покачнулся.*) Ну? Что, Егор? (*Хрипло кричит.*) Шу-

ра... Глаха – доктора! Эй... кто-нибудь, черти! Егор... Булычов... Егор!..

Шура, Глафира, Тятин, Таисья – Булычов почти падает навстречу им. За окнами – густо поют. Глафира, Тятин поддерживают Булычова. Шура – бежит к окну, открывает его, врывается пение.

Булычов. Чего это? Панихида... опять отпевают! Шура! Кто это?

Шура. Иди сюда, иди... смотри!

Булычов. Эх, Шура...

Занавес

Васса Железнова

Второй вариант

Действующие лица

Васса Борисовна – лет 42, кажется – моложе.

Сергей Петрович – 60 лет, был капитаном, плавал в Черном море, потом служил на речных пароходах.

Прохор Борисович Храпов – 57 лет, брат Вассы.

дочери Вассы

Наталья – 18 лет

Людмила – 16 лет

Рашель – сноха, под 30 лет.

Анна Оношенкова – за 30 лет, секретарша и наперсница Вассы.

Мельников – член окружного суда.

Евгений – сын его.

Гурий Кротких – управляющий пароходством.

горничные

Лиза

Поля

Пятеркин – лет 27–30, бывший солдат и матрос речного пароходства, на голове у него – чалма густых, жестких волос, холеные усы.

Первый акт

Большая комната, угол дома; здесь Васса прожила лет десять и проводит большую часть дня. Большой рабочий стол, перед ним легкое кресло с жестким сиденьем, несгораемый шкаф, на стене обширная, ярко раскрашенная карта верхнего и среднего течения Волги – от Рыбинска до Казани; под картой – широкая тахта покрыта ковром, на ней груда подушек; среди комнаты небольшой овальный стол, стулья с высокими спинками; двойные стеклянные двери на террасу в сад, два окна – тоже в сад. Большое кожаное кресло, на подоконниках – герань, в простенке между окнами на полу в кадке – лавровое дерево. Маленькая полка, на ней – серебряный жбан, такие же позолоченные ковшички. Около тахты дверь в спальную, перед столом – дверь в другие комнаты. Утро. Через дверь и окна комната очень весело освещена солнцем конца марта. Вообще комната очень просторная, светлая, веселая. Входят Васса, Кротких.

сотых копейки с пуда, это, конечно, маловато для грузчиков товаро-пассажирских пароходств – им приходится таскать грузы и за двадцать сажен и дальше. Выработывают они в среднем целковый в сутки, а едят много и без мяса – не живут. Вот вам бы на это обратить внимание, статеечку в газеты заказать, найти человечка, чтобы с грузчиками потолковал. Найдете такого?

Кротких (*весело*). Найдем!

Васса. Ну вот! Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство – мелкое, и груз – мелкий, у нас свои матросы перебрасывают его с парохода на пристань, грузчиками пользуемся изредка, как вы знаете.

Кротких. Это не совсем так. Матросам два рубля с тысячи – мало!

Васса. А за что больше-то? Вот вы устройте, чтоб «Кавказ-Меркурий» и прочие до пятишницы с тысячи пудов цену подняли, тогда наши пароходики охотнее грузиться будут, ну и мы прибавим матросам. Так-то! Уж извините, – записочку эту вашу я бракую.

Кротких (*морщится*). Видите ли, Васса Борисовна...

Васса. А вот вы потолковали бы с гончарами, с мелкими мельниками, вообще – с кустарщиной, сделали бы им уступочку, чтобы они нам грузы давали, вот это полезно было бы...

Кротких (*не без гордости*). Прошлый год кончили хорошо, прибыль солидная!

Васса. Что же это: все хорошо да хорошо? Надобно еще лучше, а то скучно жить будет все только в хорошем. Ну, будьте здоровы! На меня дела плывут.

Кротких молча кланяется, уходит.

(Прислушивается.) Анята!

Входит Анна.

На-ка вот, сними копии живенько! Ворчит Гурий?

Анна. Да, недоволен.

Васса. Что сказал?

Анна. Не разобрала. Что-то о консерватизме.

Васса. Конечно. Социалист, видишь ли! А ему социализм, как Прохору – бог: по привычке молится, а душой – не верит. Ты краснобайству его не верь... О чем вчера беседовали?

Анна. Рассказывал о сотрудничестве немецких социалистов с королем ихним.

Васса. Гляди, как бы он тебе брюхо не натискал социализмом своим.

Анна. Нет, уж я выучена! Он за Натальей Сергеевной ухаживает.

Васса. Знаю. Ну, Натка не глупа.

Анна. Он и за Людочкой...

Васса. Видишь, какой... разносторонний.

Звонок по телефону.

Да, я. Пожалуйста. Жду. Это квартирант – Мельников. *(Отпускает ее движением руки. Стоит у стола, раздумывая, перебирая бумаги и переставляя вещи, хмурится, глядя вперед.)*

Мельников *(из комнаты Анны).* Доброе утро, многоуважаемая.

Васса. Спасибо. Притворите дверь. Садитесь. Ну, что?

Мельников. Новости невеселые. Предварительное следствие закончено, поступило прокурору. Следователь уверяет, что смягчил, как только мог.

Васса. За три-то тысячи мог бы и совсем смягчить.

Мельников. Невозможно. Я читал показание этой бабы-сводни, она там пооткровенничала, как на исповеди.

Васса. Значит, суд будет?

Мельников. Неизбежно.

Васса. Наказанье-то какое?

Мельников. Возможно – каторжные работы.

Васса. Как это называется у вас?

Мельников. Что именно?

Васса. Баловство это... с детьми?

Мельников. Раствление...

Васса. И слово какое-то... липкое! Теперь – что будет?

Мельников. Прокурор составит обвинительный акт, вручат акт обвиняемому, арестуют его.

Васса. Всех троих? И сводню?

Мельников. Конечно.

Васса. А прокурор может еще... смягчить?

Мельников. Прокурор – может. Но наш метит на высокую карьеру и едва ли решится. Хотя есть слух, что со стороны соучастников... деяния – хлопочут.

Васса. Ага! Ну те-ка, давайте похлопочем и мы. Попытайтесь, прошу вас. Предложите прокурору сделку, чтобы не заводил шума. Мне нужно похерить это дело, совсем похерить! У меня – дочери.

Мельников. Васса Борисовна, при всем моем уважении к вам и при всей благодарности за великодушие ваше...

Васса. Вы – короче! О благодарности будем говорить, когда кончим дело это мирно и прилично. Действуйте.

Мельников Я – совершенно не в состоянии... Не могу.

Васса. Имейте в виду, мне денег не жалко... на этот случай! Удастся – векселя ваши возвращаю вам. Могу добавить еще тысячи полторы. Будет пять. Довольно?

Мельников. Да, но... все-таки я...

Васса. А вы – смелее!

Мельников. Лучше, если бы вы сами...

Васса. Ну, это слишком жирно будет для прокурора, чтоб я ему кланялась. Платить – согласна, а кланяться – нет! К

тому же я – человек грубый, прямой. У меня – не выйдет. Вы сегодня же, пожалуйста! Потом позвоните и скажите цифру. Желаю успеха. Ну-с?

Мельников. Разрешите откланяться... Спешу в суд.

Васса. Да, да, спешите! *(Сидит, закрыв глаза. Выдвинула ящик стола, чего-то ищет. Нашла коробочку, рассматривает содержимое, помешивая его вставкой пера. Шум за дверями. Быстро спрятала коробочку в карман.)*

Входит Людмила.

Людмила. Здравствуй, мама Вася! Милый мой, удивительный сон видела я, удивительно красивый...

Васса *(целуя ее)*. Для тебя, Людок, и явь хороша.

Людмила. Нет, послушай...

Васса. За обедом расскажешь.

Людмила. Там Натка смеяться будет, или еще кто помешает, или я забуду. Сны ужасно легко забываются. Ты здесь послушай.

Васса. Нет, Людок, иди! И пришли мне Лизу живенько.

Людмила. Ах, боже мой! Какая ты сегодня недобрая!

Васса *(одна, ворчит)*. Недобрая.... Эх, дурочка...

Лиза пришла.

Брат жалуется, что ты не слушаешь его, замки не смазала.

Лиза. Васса Борисовна, не успеваю я. Одна для всех, на весь дом... Трудно мне! Дайте помощницу, девчоночку какую-нибудь...

Васса. Этого – не жди! Терпеть не могу лишних людей в доме. Тебе помогают барышни. Получаешь – хорошо, старайся. Меньше спи. Брат – дома?

Лиза. Нет.

Васса. Сергея Петровича позови ко мне. *(Стоит среди комнаты, думает, щелкает пальцами, щупает карман.)*

Железнов – в халате, растрепанные курчавые волосы, щетки, подбородок давно не бриты, толстые седые усы.

Только что встал или спать собираешься?

Железнов. Что тебе надо?

Васса *(плотно притворяя дверь в комнату Анны Оношениковой).* Не кричи. Не страшен.

Железнов возвращается к двери.

(Обошла его, притворила и эту дверь.) Обвинение твое утвердил прокурор.

Железнов *(схватился за спинку стула).* Не верю!

Врешь.

Васса (*спокойно*). Утвердил.

Железнов. Я ему, подлецу, девять тысяч в карты проиграл. Я намекал ему... Еще одиннадцать дал бы...

Васса. На днях получишь обвинительный акт, после этого арестуют тебя, в тюрьму запрут.

Железнов. Пожадничала ты, пожадничала! Мало следователю дала. И Мельникову, видно, мало. Сколько дала, скажи?

Васса. За растление детей полагается каторга.

Железнов (*сел, мотает головой, говорит глухо*). А ты – рада?

Васса. У тебя дочери – невесты. Каково для них будет, когда тебя в каторгу пошлют? Кто, порядочный, замуж их возьмет? У тебя внук есть, скоро ему пять лет минет. Лучше бы тебе, Сергей, человека убить, чем пакости эти содеять!

Железнов. Тебя убить следовало, вот что! Убить, жестокое сердце твое вырвать, собакам бросить. Замотала ты меня, запутала. Ты...

Васса. Не ври, Сергей, это тебе не поможет. И – кому врешь? Самому себе. Не ври, противно слушать. (*Подошла к мужу, уперлась ладонью в лоб его, подняла голову, смотрит в лицо.*) Прошу тебя, не доводи дело до суда, не позорь семью. Мало о чем просила я тебя за всю мою жизнь с тобой, за тяжелую, постыдную жизнь с пьяницей, с распутником. И сейчас прошу не за себя – за детей.

Железнов (*в страхе*). Что ты хочешь, что тебе надо? Что?

Васса. Ты знаешь.

Железнов. Не быть этому! Нет...

Васса. Хочешь, на колени встану? Я! Перед тобой!

Железнов. Отойди. Пусти! (*Пробует встать.*)

Васса (*нажала руками плечи его, втиснула в кресло*).

Прими порошок.

Железнов. Уйди...

Васса. Подумай – тебе придется сидеть в тюрьме, потом – весь город соберется в суд смотреть на тебя, после того ты будешь долго умирать арестантом, каторжником, в позоре, в тоске – страшно и стыдно умирать будешь! А тут – сразу, без боли, без стыда. Сердце остановится, и – как уснешь.

Железнов. Прочь... иди! Пускай судят. Все равно.

Васса. А – дети? А – позор?

Железнов. В монастырь попрошусь. Пускай постригут. В схимники. Под землей жить буду, а – буду!

Васса. Глупости говоришь. Прими порошок!

Железнов (*встает*). Не... не приму. Ничего от тебя не приму...

Васса. Прими добровольно.

Железнов. А то – что? Отравишь?

Васса. Сергей, вспомни о дочерях! Им жить надо. За пакости отцов дети не платят.

Железнов. А за матерей?

Васса. Бессмысленное сказал. Пойми, Сергей, я на суде

молчать не стану. Я расскажу, как ты привозил в мой дом гулящих девок, как распутничал с ними, показывал гулящим-то Наталью с Людой, скажу, как учил их вино пить...

Железнов. Врешь! Это Прохор, брат твой, учил, Прохор.

Васса. Людмилку напугал, и оттого она вроде слабоумной, учиться не может, ни к чему не способна.

Железнов. А Наталья – вся в тебя, вся!

Васса. Так вот знай: все скажу суду и людям!

Железнов (*встал, рычит*). Отойди! Страшно глядеть на тебя. Пусти. (*Оттолкнул ее, идет к двери.*)

Васса (*за ним*). Прими порошок, Сергей...

Железнов. Нет!

Вышли. В двери – Лиза, в руках ее – поднос, на нем несколько штук разнообразных замков. За нею – Прохор Храпов с большим амбарным замком в руке.

Прохор (*угрюмо*). Из-за чего грызлись?

Лиза. Не знаю. Слышала только, что она уговаривала его порошок принять.

Прохор. Какой порошок?

Лиза. Наверное – лекарство?

Прохор. Какое лекарство?

Лиза. Откуда мне знать – какое?

Прохор. Ну, и дура! Сергею никаких лекарств не требуется. Он здоров, как верблюд. Мы с ним до четырех утра, всю ночь девятку ловили и коньяком питались.

Лиза. Содовый порошок, может быть.

Прохор. Еще раз – дура! Коньяк соды не требует. Чего торчишь? Поставь замки на стол. Ничего не видишь, не знаешь. За что тебе подарки дарю?

Лиза. Подарили вы мне! Скоро всем виден будет подарок ваш.

Прохор. Лучше – я, чем Пятеркин. Передвинь кожаное кресло, от солнца кожа портится, а ему шестьдесят пять рублей цена.

Лиза. Солнцу?

Прохор. Креслу, подарок мой сестре. Солнце ничего не стоит. Погоди-ка! Ты что это? Шутки шутить? Ты не забывайся, однако! Солнцу! Избаловала тебя сестра, как старая девка – кошку. Ступай к чертям! *(Разглядывает бумаги на столе, чихает. Поет на «шестый глас».)*

Под вечер осенью ненастной
В пустынных дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала...

Наталья *(входит)*. Какой хороший день...

Прохор. Еще ничего не известно, день только начался. Ты что росомарой такой бегаешь? Не причесана... растрепана!

Наталья. Знаешь – решили судить отца.

Прохор *(испуганно)*. Кто сказал?

Наталья. Евгений Мельников.

Прохор *(сел)*. Ах, черт... Не отвертелся капитан. Вот те

и Железновы! Вот те и Храповы, старинна честная фамилия! Дожили! Довел капитан наше судно. Ой, будет срама! По смерть всем нам срама хватит.

Наталья. Может, оправдают?

Прохор. Не в этом дело! Дело в суде, в позоре. И, наверное, засудят. Теперь такая мода: ежели богат, значит – виноват. Несчастные люди – богатые! Ты пойми – не столько капитана Железнова судить будут, сколько нас, Храповых.

Наталья. Ничего нельзя сделать?

Прохор. В Америку бежать, куда все жулики скрываются.

Наталья. А – подкупить суд?

Прохор. Делали. Сестра не одну тысячу посеяла, чтобы скандал этот погасить. Полиции дано, следователю – дано. Не вышло, значит. Теперь мне городским головой – не быть, тебе с Людмилой женихов своего круга – не найти, даже и с приданым вашим. Запачкал вас папаша – сукин сын, проходимец! Эх, идиётка...

Наталья. Мать?

Прохор. Ну да.

Наталья. Она – не идиотка.

Прохор. А на кой черт лезла замуж за капитана этого? Почти на двадцать лет старше ее.

Наталья. Вы уговаривали. Он приятель ваш.

Прохор. Я, я? Я – человек... не от мира сего! Да, я – добродушный. Артист в натуре. Я, молодой, мечтал в оперетке комиков играть. А он... по морям плавал! Эка важность!

Мало ли дерьма по морям-то плавает!

Наталья. Она его любила?

Прохор. А поди ты к черту! Это не любовь, ежели от своего стада девка отбивается. Это – безумство! Ежели дворяне на цыганках, на актрисах женились – это нашему сословию не пример, не указ!

Васса (*входит*). Кто это тебе не указ?

Прохор. Мы тут с Натальей...

Васса. Вижу, что тут и с Натальей.

Прохор. Как Сергей-то?

Васса. Ничего. На сердце жалуется. Ната, скажи, чтоб чаю дали мне.

Наталья. Сказали бы прямо, что мешаю...

Васса. Да. И – мешаешь. А чай я еще не пила. Ты чего кричал?

Прохор. Закричишь! Суд-то не удалось отвести.

Васса. С девицами подожди говорить об этом. Сама скажу.

Прохор. Наталья знает. Она и сказала мне.

Васса. А ей – кто?

Людмила тихонько входит.

Прохор. Сын Мельникова. Напрасно девицы принимают его.

Людмила. Он интересный, а нам – скучно! Подруги всё

хворают, не ходят к нам.

Васса. Ты, Люда, поди-ка помоги Лизе убраться в комнатах.

Людмила. Я хочу с тобой побыть. Что ты меня все толкаешь куда-нибудь?

Васса. Дела, Людок, хозяйство.

Людмила. Хозяйство, хозяйство! А для дочери и нет время, ни минутки!

Васса. Вот, буду чай пить – придешь, поговорим, а теперь – иди!

Людмила. Плакать хочется от этого. Я ведь знаю – ты будешь дядю Прохора ругать за то, что он папу распутным зовет, знаю!

Васса (*глядя голову дочери, провожает ее к двери*). Распутный, это... не обида. Распутный – распутывает. Кто-нибудь напутал, а он распутывает. Вот я – всю жизнь распутываю путаницы разные...

Людмила. Это ты шутишь! Я ведь знаю, что такое распутный! Вот – дядя Прохор.

Васса хочет закрыть дверь за ней – не удалось.

(*Выскользнув из-под руки матери.*) Распутный. Лизу беременной сделал. Папу ругает, не любит его.

Прохор. Сочиняешь! А вообще старики на любовь скучны.

Людмила. И ты, мама, не любишь?

Васса. Ну полно, полно!

Людмила. Почему не любишь? Дядя – тоже пьяница, так его – любишь... Пьянство – болезнь. Женя Мельников...

Прохор. Источник премудрости... к черту!

Людмила. Вроде... колик, какая-то...

Лиза вносит маленький самовар, за ней – Наталья с подносом посуды. Васса, обняв дочь, ходит по комнате, как бы прислушиваясь к чему-то. Возбуждена, но скрывает возбуждение. Остановилась, рассматривает замки.

Васса (*брату*). Все еще балуешься, не надоело?

Прохор. Баловство недорогое. А может быть, и не баловство?

Васса. Ну, а что же?

Прохор. Да – как знать? Никто замки старые не собирает, а я собираю. И выходит, что среди тысяч рыжих один я – брюнет. Н-да. Замок – это вещь! Всё – на замках, всё – заперто. Не научились бы запираť имущество, так его бы и не было. Без узды – коня не освоишь.

Васса. Ишь ты как! Даже не глупо. Наталья, разливай чай.

Прохор (*следит за ней*). Ты говоришь, зря деньги трачу, а я вот за этот амбарный замок семь целковых дал, так мне за

него уже двадцать пять дают. Соберу тысячу замков – продам в музей... тысяч за двадцать.

Васса. Ну ладно, ладно! Дай бог нашему теляти волка поймати. *(Людмиле неожиданно и громко.)* Отца полюбила я, когда мне еще не минуло пятнадцати лет. В шестнадцать – обвенчались. Да. А в семнадцать, когда была беременна Федором, за чаем в Троицын день – девичий праздник – облила мужу сапог сливками. Он заставил меня сливки языком слизать с сапога. Слизала. При чужих людях. А нашу фамилию Храповых – люди не любили.

Людмила. Ой, Вася! Зачем ты рассказала?

*Наталья все время следит
из-за самовара за матерью.*

Васса. Он – веселый был. Забавник.

Людмила. Шутил?

Васса. Наталья, помнишь, как ты коловоротом дырку в переборке просверлила и забавами отца любовалась?

Наталья. Помню.

Васса. А потом прибежала ко мне, в слезах, и кричала: «Прогони их, прогони!»

Наталья. Помню. Это вы домашний суд устраиваете?

Прохор. Ох, язва какая!

Васса. Значит – помнишь, Наталья? Это – хорошо! Без памяти нельзя жить. Родила я девять человек, осталось –

трое. Один родился – мертвый, две девочки – до года не выжили, мальчики – до пяти, а один – семи лет помер. Так-то, дочери! Рассказала я это для того, чтобы вы замуж не торопились.

Людмила. Ты никогда не рассказывала... так.

Васса. Времени не было.

Людмила. Почему все помирали, а мы живы?

Васса. Такое уж ваше... счастье. А помирали оттого, что родились слабые, а слабые родились потому, что отец пил много и бил меня часто. Дядя Прохор знает это.

Прохор. Н-да, бивал! Это – было. Приходилось мне отнимать ее из капитановых рук. Он людей бить на матросах учился, так что бил... основательно!

Людмила. А ты почему не женатый?

Прохор. Я – был. В оперетке одной поется:

Жениться нам весьма легко,
Но трудно жить вдвоем...

Людмила. У тебя все песни на один мотив.

Прохор. Так проще, лучше слова помнишь. Я с женой четыре года жил. Больше – не решился. Спокойнее жить одному – сам себе хозяин. Зачем свои лошади, когда лихачи есть?

Наталья. Федор будет жить с нами?

Васса. Вылечится – будет, конечно.

Наталья. И – Рашель?

Васса. Ну... а как же? Жена.

Людмила. Какая хорошая она, Рашель!

Наталья. После суда над отцом – будут жить?

Васса (*вспыхнув*). Много спрашиваешь, Наталья! И любопытство твое нехорошее.

Людмила. Не сердись, не надо!

Лиза (*испуганно*). Васса Борисовна... Сергей Петрович...

Васса (*как будто пошатнулась, но спокойно*). Что? Зовут?

Лиза. Они, кажется, померли...

Васса (*сердито*). С ума сошла! (*Быстро ушла.*)

Людмила за ней. Наталья встала на ноги, смотрит на дядю, он – растерянно – на нее.

Прохор. Даже... ноги трясутся! Иди, Натка, иди! Что там... такое?

Наталья. Если помер, значит, судить некого?

Прохор. Ид-ди, говорю! (*Остался один, пьет холодный чай. Бормочет.*) Вот так... черт! Ух...

Лиза (*вбегает, говорит испуганно, вполголоса*). Прохор Борисыч, как же это? Он совсем здоровый был...

Прохор. Что – как же? Был и – нет! И может, это обморок?

Лиза. Совсем здоровый... Прохор Борисыч... давеча, порошок-то...

Прохор (*ошеломленный*). Что-о? Это ты... (*В ярости схватил ее за горло, трясет.*) Если ты, дикая рожа, не забудешь... если ты... ах ты, змея! Что выдумала, а? Как ты смеешь? (*Оттолкнул ее, отирает пот с лысины.*)

Лиза. Вы же сами приказали все говорить вам...

Прохор. Что говорить? Что видела, слышала, о том – говори! А – что ты видела? Ты – выдумала! Вы-ду-ма-ла, а не видела. Пошла вон, идиётка! Я те всыплю... порошок! Слово это забудь... (*Выгнал. Мечется по комнате, подходит к двери и как будто не может шагнуть дальше.*)

Входят Васса, Людмила, за ними Пятеркин.

Что, Вася, как? Действительно?

Васса. Да. Кончился.

Людмила. Мама, я возьму лавр?

Васса. Да, бери.

Пятеркин выкатывает кадку с лавром. Людмила взяла с подоконников цветы, уходит, тотчас возвращается.

Прохор. Удивительно, как это он? Вполне... здоров был. Мы с ним до четырех утра...

Васса. Коньяк пили.

Прохор. Верно. Мне сейчас вот Лизавета сказала – порошок ты ему...

Васса. На изжогу жаловался. Соды попросил.

Прохор (*обрадовался*). Сода? Ага!

Людмила. Дядя Прохор, ты ужасный! Папа скончался, а ты улыбаешься... Что это?

Прохор. Ничего, Людок...

Васса (*у телефона*). Шесть – пятьдесят три. Да. Спасибо. Кто? Вы, Яков Львович? Пожалуйста к нам. Нет, сейчас, немедленно. Да, Сергей Петрович скончался. Нет, был вполне здоров. В одночасье. Никто не видел как... Пожалуйста.

Прохор (*тихо, с восхищением*). Богатырь ты, Васса, ей-богу!

Васса (*изумленно*). Это что еще, что ты плетешь? Опомнитесь! Дурак...

Занавес

Второй акт

Через несколько месяцев. Та же веселая комната. Васса сидит в кожаном кресле. На тахте – Людмила, Наталья, Анна, Евгений Мельников. Отпили чай, самовар и посуда еще не убраны. Вечер, горит огонь, но в комнате мягкий сумрак. В саду луна, черные деревья.

Васса. Ну вот, рассказала я вам старинные свадебные обряды, рассказала, как в старину мужья с женами жили...

Анна (*тихо*). Страшно жили.

Наталья. И глупо очень.

Людмила. А почему люди несчастны, Вася?

Евгений. По глупости и несчастны.

Васса. Почему несчастны – я не знаю, Людка. Вот Онегин с Натальей знают – по глупости. Но говорят – да я и сама видела, – умные-то несчастней дураков.

Евгений. Если принять, что богатые умнее бедных...

Васса. Богатые, конечно, умнее, а живут дрянно и скудно. И никогда богатый не веселится так от души, как бедный.

Анна. Это верно.

Наталья. Значит, нужно жить в бедности.

Васса. Вот, вот. Именно – так. Ты попробуй, Натка, испытай. Выходи замуж за Онегина и поживи. Он будет подпоручиком в пехоте, ты – полковой дамой, есть такие. Приданого я тебе не дам, и жить будете вы на сорок целковых в месяц. На эти деньги: одеться, обуться, попить, поесть и гостей принять да покормить. Детей заведете на эти же деньги, да...

Наталья. Я детей родить не стану. Зачем несчастных увеличивать?

Васса. Это, конечно, умно. Зачем, в самом деле? Так вот, Онегин, впереди-то у тебя сорок целковых и денщик, каждый день будет котлеты жарить из дешевого мяса с жилами.

Евгений (*мрачно*). Я, может быть, во флот перейду...

Людмила. Я тоже не пойду замуж, страшно очень! Я лучше путешествовать буду, ботанические сады смотреть, оранжереи, альпийские луга...

Наталья. Все это переделать надо – браки, всю жизнь, все!

Васса. Вот и займись, переделай. Гурий Кротких научит, с чего начать.

Наталья. Я без него знаю – с революции!

Васса. Революция вспыхнула, да и прогорела – один дым остался.

Анна. Это вы – про Государственную думу?

Васса. Ну хоть про нее. Там головни-то шипят. Сырое дерево горит туго. А Гурий Кротких – научит. Он за двести целковых в месяц меня хозяйствовать учит, а тебя рублей за

пятнадцать будет учить революцию делать. Полтина за урок. Пришел ко мне служить – штаны были мятые, а недавно, в театре, гляжу – на жене его золотишко кое-какое блестит. Так-то, девицы! В матросы, значит, Онегин?

Евгений. Это не решено. И почему вы зовете меня Онегиным?

Васса. Решай. Тебе пора юнкером быть, а ты все еще кадет. А Онегиным я тебя называю...

Наталья. Он не похож на Онегина.

Васса. Разве? А такой же – надутый... Ну, ладно! Конечно, тебе, Ната, лучше знать, на кого он похож.

Наталья. Ни на кого.

Васса. Из людей?

Евгений (*обиженно*). Я совершенно не понимаю, когда вы шутите, когда говорите серьезно. Странная манера!

Васса. А ты не сердись, не обижайся, ты – понимай. Вот тебе расскажу: когда у нас в затоне забастовка была и пришли солдаты, так слесарь Везломцев и сказал подпоручику: «Вы, говорит, ваше благородие, сорок целковых получаете, а я зарабатываю семьдесят пять, могу догнать и до ста. Так как вы, говорит, служите богатым, а я богаче вас, так кричать на меня, богатого, вам будто не следует».

Евгений. Не вижу в этом ничего... интересного.

Наталья. Мать любит дразнить людей.

Васса. В этом грешна. Я людям – недруг.

Людмила. Неверно это, Вася!

Васса. Нет, верно. Недруг. Ну, ладно! Поговорили, побаяли – идите-ка, девушки, к себе, а я поработаю... по хозяйству. Ты, Анна, останься. Ну, пошли, пошли! За ужином увидимся. (*Анне.*) Ну что, верно – вписался отец Евгения в «Союз русского народа»?

Анна. Верно.

Васса. Это он, дурак, из-за сына. Женьку-то хотят выгнать из кадетского корпуса. Боюсь, испортит мне девку хлыщ этот.

Анна. По-моему, Наташа от скуки занимается им.

Васса. Злым – скука не знакома.

Анна. После смерти Сергея Петровича она очень мрачная стала. И, конечно, слухи эти...

Васса. А слухи живут?

Анна. Да.

Васса. А ты слухам – веришь?

Анна. Нет. Меня только самоубийство Лизы смутило. Не могу понять – почему? Такая славная. Жила у вас с детства, все любили ее.

Васса. Это Прохорово дело. Он ее чем-то запугал.

Анна. Она жила с ним?..

Васса. Заставил. А разве не верят, что Лизавета в бане угорела?

Анна. Не многие верят.

Поля входит.

Васса. Что тебе надо? Ну, чего мнешься? Говори.

Поля (*негромко*). Там женщина.

Васса. Какая? В эту пору?

Поля. Трудное имя... Моисеевна.

Васса. Кто-о? (*Быстро идет, остановилась, Анна.*) Не говори ничего девицам, я им сюрприз сделаю. Не пускай ко мне никого. (*Поле.*) Убери самовар, вскипяти маленький. (*Ушла.*)

Анна. Ну как – привыкаешь?

Поля. Трудно. Я думала, что мне только девицам слушать, а у хозяйки своя будет горничная. Прохору Борисовичу – лакея надо, я за ним ухаживать не могу.

Анна. Пристает?

Поля. Такой бесстыдник – невозможный! Вот сейчас гуляет в одной нижней рубахе и поет, поет все одно какое-то. Вчера все уже легли спать, а он громит железом и поет. Такая тоска от него. Что это он, Анна Васильевна?

Анна. Ненормальный. Алкоголик, то есть пьяница.

Поля. Я очень благодарная вам, дом хороший.

Анна. А люди – плохие, хочешь сказать?

Поля. Я людям не судья, сама – судимая, хошь и оправдали, а все-таки в тюрьме сидела. К тому же рассказывают, что до меня горничная повесилась в бане.

Анна. Это – ложь. Она угорела в бане. Готовила баню и угорела. Была она беременная.

Поля. Вот видите, и – беременная!

Людмила (*в руках круглая скамейка, за нею Пятеркин несет кадку с каким-то растением*). Вот сюда, ему нужно много солнца. Неправильно поставил, передвинь на середину.

Пятеркин. Слушаю. Так? (*Он спрашивает, стоя на одном колене.*)

Людмила. Хорошо. Какие у тебя волосы ужасные. Жесткие, должно быть?

Пятеркин. Даже несколько, пощупайте.

Людмила (*проводя рукой по его гриве*). Точно у льва.

Пятеркин. Вот это верно. Это все говорят.

Людмила. Кто – все?

Пятеркин. Знакомые. И – вообще – люди.

Людмила. Что же ты на коленях стоишь?

Пятеркин. Приятно мне на коленях перед вами.

Людмила. Ну уж... сочиняешь! Я бы никогда на колени перед мужчиной не встала.

Пятеркин. Вам это не требуется, он сам пред вами встанет... Вы с мужчиной можете делать, что угодно вашему любопытству.

Людмила. А я ничего не хочу. И не буду.

Пятеркин. В этом ваша воля.

Людмила. Подождите, я спрошу садовника, что взять от-

сюда... (Ушла.)

Анна (из своей комнаты). Не по своей силе, Пятеркин, дерево ломишь.

Пятеркин. А ты не ревнуй. Как знать? Все может быть, все надо пробовать.

Анна. Если Васса узнает о твоих разговорчиках...

Пятеркин. От кого узнает?

Анна. Вылетишь из дома в минуту.

Пятеркин. Ты – не скажешь, а Людмила тогда поймет обстоятельство игры, когда уже поздно будет. Ты только не мешай. Мешать мне – у тебя расчета нет. Ты свой барыш аккуратно получаешь, а меня, может, завтра выгонят. Ну, тогда и твои дела пошатнутся...

Анна. Мне – что? Однако видеть тебя в числе хозяев – как будто и обидно...

Людмила (возвратилась). Иди, Пятеркин, больше ничего не надо.

Пятеркин. Желаю вам счастья на сей день и до конца века. (Уходит.)

Людмила. Услужливый какой.

Анна. Да.

Людмила. А – пляшет как! Удивительно!

Анна. Все-таки ты, Люда, осторожнее с ним.

Людмила. А что он мне сделает?

Анна. Ребенка может сделать.

Людмила. Фу, какая гадость!

Анна. Ребенок-то?

Людмила. Ты, ты гадость говоришь! (*Уходит.*)

Анна (*вслед ей*). Так я – о ребенке!

Васса (*широким движением руки изгоняет Анну и Полю*).

*Рашель – под тридцать лет, одета изящно,
но просто, строго, эффектно красивая.*

Ну-ка, ну, Рашель, садись, рассказывай, как это ты явилась, откуда?

Рашель. Из-за границы.

Васса. Ну да, понятно. Пустили?

Рашель. Нет, я приехала в качестве компаньонки с музыкантшей.

Васса. С чужим паспортом – значит? Смелая ты. Молодчина. И – еще красивее стала. С такой красотой, да... Ну – ладно! Как – Федор? Правду скажи.

Рашель. Скрывать правду – не мое дело. Федя, Васса Борисовна, безнадежен. Угасает. Доктора говорят – месяца два-три осталось ему жить.

Васса. Сгорел, значит, сын капитана Железнова.

Рашель. Да. Худой, почти прозрачный. Понимает, что приговорен. Но все такой же веселый, остроумный. А как мой Коля?

Васса. Сгорел Федор Железнов. Наследник мой. Голова всего хозяйства.

Рашель. Коля – спит?

Васса. Коля-то? Не знаю. Наверно – спит.

Рашель. Можно взглянуть на него?

Васса. Нельзя.

Рашель. Почему?

Васса. Его нет здесь.

Рашель. Позвольте! Вы... что это значит?

Васса. Ничего плохого не значит. Коля в деревне живет, в сосновой роще. Песок там. Там – хорошо. В городе ему вредно жить, у него гланды. Родители плохим здоровьем наградили его.

Рашель. Далеко это?

Васса. Верст шестьдесят.

Рашель. Как же мне туда съездить?

Васса. А тебе не надо ездить туда. Ну-ка, Рашель, давай сразу и ясно – поговорим!

Рашель. Умер?

Васса. Тогда и говорить не о чем, одним словом все сказано. Нет – жив, здоров и хороший, детеныш умный. Он тебе зачем нужен?

Рашель. Я решила его отправить за границу. Там сестра моя замужем за профессором химии, детей у них нет.

Васса. Так я и думала: Рашель, наверно, ребенка потащит в свой круг. Нет, не дам я тебе Кольку-то! Не дам!

Рашель. Как это? Я – мать!

Васса. А я – бабушка! Свекровь тебе. Знаешь, что такое

свекровь? Это – всех кровь! Родоначалница. Дети мне – руки мои, внучата – пальцы мои. Поняла?

Рашель. Позвольте... Я не понимаю вас. Это вы серьезно? Это... допотопное что-то... Вы же – умная, вы не можете так думать.

Васса. Чтобы не говорить лишних слов, – ты молчи и слушай. Колю я тебе не дам.

Рашель. Этого не может быть!

Васса. Не дам. Думай, что ты можешь сделать против меня? Ничего не можешь. Для закона ты – человек несуществующий. Закон знает тебя как революционерку, как беглую. Объявишь себя? Посадят в тюрьму.

Рашель. Неужели вы воспользуетесь моим положением? Не верю! Вы не сделаете этого. Вы отдадите мне сына.

Васса. Пустяки говоришь. Все это лишнее – твои слова. Я сделаю, как решила.

Рашель. Нет!..

Васса. Не ори! Спокойно. Колю я тебе не дам. Ему другая судьба назначена.

Рашель. Да – что вы – зверь?

Васса. Я говорю – не ори! К чему это – крик? Я – не зверь. Зверь выкормит детеныша, и – беги, сам добывай хлеб себе, как хошь. Хочешь, куриц ешь, хочешь – телят. Конечно, речь идет не о зайцах, а о серьезном зверье. А ты вот своего детеныша на свободную добычу не пускаешь. И я внука своего не пущу. Внук мой – наследник пароходства Храповых и Же-

лезнова. Единственный наследник миллионного дела. Тетки его – Наталья и Людмила – выделены будут в малых частях, тысяч по пятьдесят, им и того – много. Все остальное ему.

Рашель. Вы ошибаетесь, если думаете этим подкупить или же утешить меня, – ошибаетесь. Это – невозможно!

Васса. Зачем тебя подкупать, зачем утешать? Ты, Рашель, знаешь – я тебя врагом не считала, даже когда видела, что ты сына отводишь от меня. На что он мне годен, больной? Я с ним неласкова была и видела – ты его любишь. И я тебе сказала тогда – люби, ничего! Немножко радости и больному надобно. Я даже благодарна была тебе за Федора.

Рашель (*вспыхнула*). Все это – ложь! Это... отвратительно. Я – поверить не могу... Это... зверство!

Васса. Не веришь, а ругаешься. Ничего, ругай. Ругаешься ты потому, что не понимаешь. Ты подумай, что ты можешь дать сыну? Я тебя знаю, ты – упрямая. Ты от своей... мечты-затеи не отступишься. Тебе революцию снова раздувать надо. Мне – надо хозяйство укреплять. Тебя будут гонять по тюрьмам, по ссылкам. А мальчик будет жить у чужих людей, в чужой стороне – сиротой. Рашель, помирись – не дам тебе сына, не дам!

Рашель (*спокойней, презрительно*). Да, в конце концов вы можете это сделать, я понимаю. Вы даже можете выдать меня жандармам.

Васса. И это могу. Все могу! Играть – так играть!

Рашель. Чем можно тронуть дикий ваш разум? Звериное

сердце?

Васса. Опять звериное. А я тебе скажу: люди-то хуже зверей! Ху-же! Я это знаю! Люди такие живут, что против их – неистовства хочется... Дома ихние разрушать, жечь все, догола раздеть всех, голодом морить, вымораживать, как тараканов... Вот как!

Рашель. Черт вас возьми... Ведь вот есть же у вас, в этой ненависти вашей, что-то ценное...

Васса. Ты, Рашель, умная, и, может быть, я неоднократно жалела, что ты не дочь мне. Кажись, даже говорила это тебе! Я ведь все говорю, что думаю.

Рашель (*глядя на часы*). Ночевать у вас можно, что ли?

Васса. Ну а как же? Ночуй. Не выдам жандармам-то. Девчонки будут рады видеть тебя. Очень рады будут. Они тебя любят. А Колю я тебе не дам! Так и знай.

Рашель. Ну, это... увидим!

Васса. Выкрасть попробуешь? Пустяки...

Рашель. Нет, я больше не буду говорить об этом. Устала, изнервничалась, да еще вы ошарашили. Страшная вы фигура! Слушая вас, начинаешь думать, что действительно есть преступный тип человека.

Васса. Все есть! Хуже ничего не придумаешь, все уж придумано.

Рашель. Но не много жизни осталось для таких, как вы, для всего вашего класса – хозяев. Растет другой хозяин, грозная сила растет, – она вас раздавит. Раздавит!

Васса. Вон как страшно! Эх, Рашель, кабы я в это поверила, я бы сказала тебе: на, бери все мое богатство и всю хитрость мою – бери!

Рашель. Ну, это вы... врете!

Васса. Да – не верю я тебе, пророчица, не могу поверить. Не будет по-твоему, нет!

Рашель. А вы жалеете, что не будет? Да?

Васса. А вдруг – жалею? А? Эх ты... Когда муженек мой все пароходы, пристани, дома, все хозяйство – в одну ночь проиграл в карты, – я обрадовалась! Да, верь не верь, – обрадовалась. Он, поставив на карту последний перстень, –воротил весь проигрыш, да еще с лишком... А потом, ты знаешь, начал он безобразно кутить, и вот я полтора десятка лет везу этот воз, огромное хозяйство наше, детей ради, – везу. Какую силу истратила я! А дети... вся моя надежда, и оправдание мое – внук.

Рашель. Сообразите: насколько приятно мне слышать, что мой сын предназначен для оправдания ваших темных делишек... в жертву грязного дела...

Васса. Неприятно? Ничего, я от тебя тоже кое-что кисленькое слышала. Давай-ка чай пить. При девицах – сохраним вежливость, – так, что ли?

Рашель. Не надо им говорить, что я приехала нелегально. И спор наш – не следует знать им. Они ведь ничего не решают.

Васса. Понятно – не надо!

Поля в двери.

Зови девиц. Кадета – скажи им – не надо. Тихо скажи, чтоб он не слышал. Самовар подашь. Иди. Вот как встретились мы, Рашель!

Рашель. Неприятная встреча.

Васса. Что делать? Приятно – только дети живут, да и то недолго.

Рашель. Мне все-таки кажется невероятным все это.

Васса (*толкает ногой стул*). Ну, как это невероятно?

Людмила (*вбегает, за ней идет Наталья*). Ой, кто, что?

Рашель... Рашель!

Наталья. Не телеграфировала – почему?

Васса. Натка спрашивать любит. Ей скажут: «Здравствуй», а она спрашивает: «Почему?»

Рашель. Ты, Люда, не изменилась, все такая же милая, даже как будто и не выросла за эти два года.

Людмила. Это – плохо?

Рашель. Конечно – нет! А вот Ната...

Наталья. Постарела.

Рашель. О девушке не скажешь – возмужала, но именно такое впечатление.

Наталья. Говорят – созрела.

Рашель. Это иное!

Девицы обрадованы встречей. Рашель говорит устало, почти не отводя взгляда от Вассы. Сестры усаживают ее на тахту. Васса спокойно, сидя у стола, готовит чай.

Людмила. Садись, рассказывай.

Наталья. Как Федор? Выздоровливает?

Рашель. Нет, Федор – плох.

Наталья. Зачем же ты уехала от него?

Рашель. За сыном, за Колей.

Васса. А я его не даю за границу.

Людмила. Раша, милая, какой он стал прелестный, Коля! Умный, смелый... Он в лесу живет, в Хомутове. Замечательное село. Там такой сосновый лес.

Наталья. Разве его перевезли из Богодухова?

Людмила. Богодухово – тоже замечательное! Там – липовая роща, пасеки...

Рашель. Оказывается, вы и не знаете – где он?

Васса. Идите к столу-то.

Рашель. Расскажи, как ты живешь?

Людмила. Я – удивительно хорошо. Вот видишь – весна, мы с Васей начали работать в саду. Рано утром она приходит: «Вставай!» Выпьем чаю и – в сад. Ах, Раша, какой он стал, сад!

*Анна вошла, молча здоровается с Рашелью,
говорит что-то Васе. Обе вышли.*

Войдешь в него, когда он росой окроплен и весь горит на солнце... как риза, как парчовый, – даже сердце замирает, до того красиво! В третьем году цветочных семян выписали почти на сто рублей, – ни у кого в городе таких цветов нет, какие у нас. У меня есть книги о садоводстве, немецкому языку учусь. Вот и работаем, молча, как монахини, как немые. Ничего не говорим, а знаем, что думаем. Я – пою что-нибудь. Перестану, Вася, кричит: «Пой!» И вижу где-нибудь далеко – лицо ее доброе, ласковое...

Рашель. Значит, счастливо живешь, да?

Людмила. Да! Мне даже стыдно. Удивительно хорошо!

Рашель. А ты, Ната?

Наталья. Я! Я тоже удивляюсь.

Прохор (*выпивши, с гитарой*). Б-ба! Р-рахиль!.. (*Поет.*)
«Откуда ты, прелестное дитя?» Ой, как похорошела!

Рашель. А вы – все такой же...

Прохор. Ни лучше, ни хуже. Остаюсь при своих козырях.

Рашель. Веселитесь?

Прохор. Именно. Ремесло мое. Главное качество – простодушная веселость. Это у меня от природы естества моего. Капитан Железнов – помер, так я для славы семейства и хозяйства – за двоих теперь гуляю.

Рашель. Он – давно хворал?

Прохор. Это – верно, давно пора.

Людмила смеется.

Рашель. Я неправильно спросила – долго хворал?

Прохор. Капитан? Он – не хворал. Он – в одночасье – пафф! И – «со святыми упоко-о-ой».

Наталья. Дядя, перестаньте! Это – безобразие!

Прохор. Со святыми – безобразие? Ты, девка, не учи меня, молода учить! Откуда же ты явилась, разрушительница жизни? Из Швейцарии? Федор-то жив?

Рашель. Жив.

Прохор. Плох?

Рашель. Да, плох.

Прохор. Нестойко потомство Железнова, мы, Храповы, покрепче будем! Впрочем, сын твой, Колька, хорош, разбойник! Приметливый. Как-то мы с Железновым поругались за обедом. На другой день я здороваюсь: «Здравствуй, Коля!» А он: «Пошел прочь, пьяная рожа!» Убил. А утро было, и я еще трезвый... Что же вы тут делаете? Чай пьете? Чай только извозчики пьют, серьезные люди утоляют жажду вином... Сейчас оно явится. Портвейн, такой портвейн, что испанцы его не нюхали. Вот Наталья знает... *(Идет.)*

Васса навстречу.

Васса. Что там в клубе случилось?

Прохор. В клубе? А ты откуда знаешь?

Васса. По телефону.

Прохор. В клубе – драка на политической почве. Очень просто.

Васса. Снова о тебе в газете напишут?

Прохор. Почему – обо мне? Я один раз ударил. Он – на Думу лаял, ну, а я его – по морде.

Васса. Послушай, Прохор...

Прохор. Сейчас приду. И буду слушать, как (*поет*): «Не искуша-ай меня без нужды-ы...»

Людмила. Какой смешной, правда? Он все больше пить стал. И Наташу учит...

Наталья. Уже научил.

Рашель. Это – серьезно, Ната?

Наталья. Да. Мне очень нравится вино. И опьянение нравится.

Васса. Ты прибавь: а бить меня – некому!

Наталья. А бить меня – некому.

Васса. Наталья! Не балуй.

Наталья. Вы велели прибавить, я прибавила.

Васса. Счастье твое, что у меня времени не хватает черта выгнать из тебя!

Людмила. Ната – очень дерзкая с мамой, видишь, Раша. По-моему, это плохо.

Васса. Замахиваешься по-благородному жить... Интеллигентно. А сама – свинья!

Наталья. Свиньи хороших пород очень ценятся.

Васса (*гневно*). Вот так и живем, Рашель.

Рашель. Плохо живете, но лучшего и не достойны. Эта обесмысленная жизнь вполне заслужена вами.

Васса. Мной? Врешь!

Рашель. Не только вами лично, сословием вашим, классом.

Васса. Ну вот, поехала!

Рашель. Там, за границей, также скверно живут. Может быть, даже и сквернее, потому что спокойнее и меньше мучают друг друга, чем вы.

Наталья. Это верно? Или – для утешенья?

Рашель. Верно, Наташа. Я не из тех, которые утешают. Мир богатых людей разваливается, хотя там они – крепче организованы, чем у нас. Разваливается все, начиная с семьи, а семья там была железной клеткой. У нас – деревянная.

Васса. Рашель!

Рашель. Да?

Васса. Живи с нами. Федор умрет, сама говоришь. Достаточно тебе болтаться... странничать, прятаться! Живи с нами. Сына будешь воспитывать. Вот – девочки мои. Они тебя любят. Ты – сына любишь.

Рашель. Есть нечто неизмеримо более высокое, чем наши личные связи и привязанности.

Васса. Знаю. Дело есть, хозяйство. Но... вот что выходит: и взять можно, и положить есть куда, а – иной раз – не хочется брать.

Рашель. Это вы... не от себя говорите.

Васса. Как это – не от себя?

Рашель. Может быть, иногда, вы чувствуете усталость от хозяйства, но чувствовать бессмысленность, жестокость его вы – не можете, нет. Я вас знаю. Вы все-таки рабыня. Умная, сильная – а рабыня. Червь, плесень, ржавчина портят вещи, вещи – портят вас.

Васса. Премудро. Но едва ли верно! Я тебе скажу, чего я хотела, вот при дочерях скажу. Хотела, чтоб губернатор за мной урыльники выносил, чтобы поп служил молебны не угодникам святым, а вот мне, черной грешнице, злой моей душе.

Рашель. Это – от Достоевского и не идет вам.

Наталья. Мать Достоевского не знает, она книг не читает.

Васса. От какого там Достоевского? От обиды это. От незаслуженной обиды... Вот – девчонки знают, я сегодня рассказывала им, как меня...

Прохор *(две бутылки вина в руках)*. Вот оно! Ну те-ка, давайте отнесемся серьезно. Вася, разреши угостить? Не пожалеешь. Редкая вещь...

Васса. Давай! Давай! Девчонки, садитесь к столу... Что, в самом деле? Сноха... явилась! Давай, Прохор. Кого ты набил?

Прохор. Квартиранта Мельникова по роже. Еще ко-го-то... Ерунда! Заживет!

Васса. А знаешь – Мельников-то в «Союз русского народа» вписался.

Прохор. Ну, так что? Важность какая! Я вот в телефонной книге вписан, а – не горжусь. Рюмки!

Звонок телефона.

Васса. Это меня. (*У телефона.*) Кто это? Да, я. Какой па-роход? Почему? Идиоты! Кто это грузил? В Уфе? Терентьев? Рассчитать болвана! Мое присутствие – зачем? Арестовали всю баржу? А еще что? Кроме кожи... О, дьяволы! Сани-тарная комиссия – там? Инспектор – тоже? Сейчас приеду. (*Бросила трубку.*) Ну, вы тут... подождите, смирно. У меня – скандал: арестовали баржу, идиот приказчик погрузил ко-жу без санитарного осмотра, без клейм. А на барже – еще овчины, лыко, мочало. Поеду. (*Ушла, взглянув на Рашель, поймав ее взгляд.*)

Прохор. Поехала речной полиции взятку давать. У нас речная полиция – разбойники. И сухопутная – тоже. Однако к черту все это. Наливаю. Наталочка, – это будет лучше твоего любимого. (*Поет на «шестый глас».*)

Наливай, брат, наливай,
Все до капли вы-пи-вай...

Занавес

Третий акт

Тотчас после ухода Железновой. Прохор курит сигару. Людмила увлеченно ест бисквиты, макая их в блюдце с вареньем. Наталья – рядом с Рашелью, в руке – рюмка, Рашель – задумчива.

Прохор. Вот так и живем, Рашель, – беспокойно живем. Полиция обижает. (*Хохочет.*)

Рашель. Вы – уже городской голова?

Прохор. В мечтах побывал на этом пункте, а потом сообразил – на кой черт мне нужна обуза сия? Поживу лучше вольным казаком...

Наталья. Неверно это! Казак вы – не вольный. И от выборов отказались из трусости.

Прохор. Ужас, до чего Наталья любит обижать меня. И вообще – всех... Молодая, а уже – ведьма. Очень похожа...

Мм-да! Однако она верно сказала – я человек осмотрительный. После смерти капитана...

Наталья. После смерти отца пошли слухи, что он отравился... Даже что мы отравили его, чтобы не позориться на суде.

Людмила. Глупости какие!

Прохор (*беспокойно*). Вот именно – глупости! И дело-то это паскудное прекращено было прокурором...

Наталья. За недоказанностью обвинения... А дядя испугался слухов, подумал – не выберут его в головы.

Прохор. Довольно, Натка!

Наталья. А следовало идти против слухов, против людей...

Прохор. Она – всегда вот так, – против!

Рашель (*глядя руку Наталье*). Так и надо!

Наталья. Рашель, если обвинение не доказано, это ведь еще не значит, что обвиняемый не виноват?

Рашель. Да, не значит.

Людмила. Разве так – против всех надо, Рашель? Разве нельзя жить...

Наталья. Дурой, как Людмила Железнова.

Людмила. Напрасно ругаешь, ведь я не рассержусь! Ой, Рашель, я как не люблю все это... злость и всякое такое...

Наталья. Она бисквиты с вареньем любит!

Людмила. А тебе завидно, что люблю? Ты злишься потому, что у тебя аппетита нет. Ела бы побольше, так не сер-

дилась бы!

Прохор (*поет*). «Я не сержусь, хоть больно ноет грудь». Кроме бисквитов и всяких сладостей, Людмила обожает что-нибудь военное и чтобы – с перьями, как у индейцев.

Людмила. И вообще это неправда.

Прохор. Вот что, – давайте-ка пошлем к чертовой матери все это: семейность, прошлое и – все вообще. Сочиним маленький кавардак, куда хозяйки нет! Я тебе, Рахиль, плясуна покажу, эх ты! Ахнешь! Ну-ка, Люда, зови Пятеркина...

Людмила. Вот это хорошо!

Прохор. С гитарой! (*К Рашели.*) Когда к сыну поедешь?

Рашель. Он далеко?

Прохор. Двадцать три версты, двадцать пять. Утешный человек. Здоровьишко слабое, а – хорош!

Рашель. Бабушка не хочет отдавать его мне.

Прохор. Это она – правильно! Тебе сын – ни к чему, при твоей беглой жизни.

Рашель. А ты как думаешь, Ната?

Наталья. Требуй, чтоб отдала. Не будет отдавать – выкради!

Прохор. Ого!

Наталья. Да, да – выкради, увези, спрячь. Ты – видишь, какие мы все! Ты же видишь...

Рашель. Выкрасть... Увезти. Это я не могу сделать.

Наталья. Почему?

Рашель. У меня есть другое дело, более серьезное.

Наталья. Серьезнее сына? Да? Зачем же ты родила, если у тебя есть дело серьезнее? Зачем?

Рашель. Да, это моя ошибка!

Наталья. А – какое дело? То, о котором ты говорила... два года тому назад. Я – помню... Очень помню.

Рашель. Но – не веришь?

Наталья. Не верю.

Рашель. Это потому, что не понимаешь. А для меня – нет жизни вне этого дела. И пусть я потеряю... никогда не увижу Колю...

Прохор. Постой! Выкрасть – это дело! Это, Раха, замечательно! Ух, сестре – вилка в бок! Рашель, действуй! Мы с Наткой поможем тебе, честное слово. У меня есть Пятеркин – он все может.

Рашель. Перестаньте!

Прохор. Алешка Пятеркин? Да он – архиерея украдет, не то что мальчика!

Рашель. Играть моим сыном...

Прохор. Вот он, Пятеркин, храбрый воин – в обозе служил! Лешка, «птичку божию» делаем! Для заграницы, для Европы понял? Чтобы – безупречно! *(Прохор берет из рук Пятеркина гитару, пробует строй.)*

*Людмила принесла бубен и
балалайку, бубен дала сестре.*

Девицы, с тихой грустью! Особенно – бубен! Он гудит, а не бухает...

Людмила. Знаем.

Прохор. Начали. *(Запевает, как всегда, на «шестый глас», Людмила, Пятеркин – вторят.)*

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда.
Птичка жить нам не мешает
Никак и никогда!
Долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет —
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет:
– Барыня, барыня!
Сударыня барыня!
Ты скажи нам, барыня,
Чего тебе надобно?
Лешка! Дергай! Делай! Зверски делай! Дико! И – эх ты-и!
Шла барыня из Ростова
Поглядеть на Льва Толстого,
А барыня из Орла —
Неизвестно куда шла!
Барыня...

Пятеркин пляшет «барыню» отлично и смешно. Людмила поет увлеченно. Прохор – в восторге. Наталья механически бьет в бубен и смотрит на Рашель. Рашель сидит, как во сне.

У барыни есть дела,
За границу ездила.
В славном городе Париже
Ей француз попался рыжий.
Барыня...

Наталья. Довольно!

Прохор. Почему?

Наталья. Не хочу.

Людмила. Фу, какая капризная!

Рашель встала, отошла прочь; Наталья не спеша – за ней; остановились у окна.

Наталья. Ну что?

Рашель. Ужасно.

Наталья. Я бы убила сына, но не оставила здесь.

Рашель (*обняла ее за плечи*). Не могу я увезти его... за

границу без помощи Вассы Борисовны.

Наталья. Дядя устроит. Он рад чем-нибудь ударить мать. Выкрадет – спрячем. Потом переправим к тебе.

Рашель. Куда? Я не знаю, где буду жить. Если удастся вернуться в Швейцарию – проживу там несколько недель... Мне нужно жить в России. У меня нет возможности воспитывать Колю. А там, в Лозанне, у сестры – хорошо было бы...

Прохор (*остановил Пятеркина, кричит*). Не понравилась?

Рашель. Нет.

Прохор. Не чувствуешь искусства!

Рашель. И поете вы нестерпимо...

Прохор. Виноват. По линии выпивки, а также игры в преферанс – почти непобедим, но к пению – не приспособлен природой. Душа – мягкая, а горло – сухое, хрустит. Пятеркин – ступай вон, бездарная личность, не понравились мы! Рашель, идем ко мне, я тебе коллекцию замков покажу.

Рашель. Я видела ее.

Прохор. Когда? Ты теперь посмотри! У меня тридцать семь амбарных, четыре крепостных, сорок два сундучных с музыкой. Этого ты нигде не увидишь. И – кроме того, идем! Два слова скажу... Важных. (*Берет ее под руку, уводит, она следует за ним неохотно.*)

Наталья (*посмотрев на сестру*). Ты что?

Людмила. Ничего. Спать хочется.

Наталья. Иди.

Людмила. Скучно. Плакать хочется.

Наталья. Иди, ляг, поплачь и усни.

Людмила. Так всегда бывает. Дождусь Васи, я не люблю, когда ее дома нет.

Наталья. Ты все чаще ее называешь Васей.

Людмила. Потому что люблю, а ты не любишь.

Наталья. А я – не люблю.

Людмила. Она это знает.

Наталья. Да, еще бы не знать.

Людмила. А ты на нее похожа, похожа!

Наталья. За то мы и не любим друг друга.

Людмила. Она тебя любит.

Наталья. Мучить любит.

Людмила. Ты сама ее мучаешь.

Наталья. Ну и я.

Людмила. Какая ты... глупая! И дядя тоже глупый – советуем украсть Колю.

Наталья. Ты об этом не говори матери.

Людмила. Конечно – скажу.

Наталья. Зачем?

Людмила. Нет, не буду расстраивать, не скажу.

Наталья (*вздыхнув*). Блаженная ты у нас... Выродок. Ни на кого не похожа.

Васса (*входит*). Что это – ругаетесь?

Людмила. Нет, просто разговариваем.

Васса. Крупно разговариваете. Прохор сигару курил –

сколько раз просила не курить сигар у меня. Наталья, кажется, слишком выпила.

Наталья. Еще держусь на ногах.

Васса (*наливая портвейн*). Чай холодный? Налейте мне.

Наталья наливает.

Семьсот рублей как в печку бросила. Везде – взяточники. Продажные души. Что вы тут делали?

Наталья. Чай пили.

Людмила. Пятеркин плясал. Дядя уговаривал Рашель украсть Колю.

Васса. Ишь какой забавник! А – она что?

Людмила. Не согласилась. Она стала скучная. Хуже стала, чем была. Неприятная. Умные – все неприятные.

Васса. Так. А я, по-твоему, – дура?

Людмила. Ты – не дура, не умная, а просто человеческая женщина.

Васса. Уже и не знаю, что это значит? Хуже дуры? Ну, пусть будет так – человеческая женщина. Отнеси самовар, скажи, чтобы подогрели. Наталья – хочешь за границу съездить?

Наталья. Да, хочу. Вы это знаете.

Васса. Можешь. Возьмешь Анну.

Наталья. С Анной – не поеду.

Васса. Почему?

Наталья. Она мне и здесь надоела.

Васса. Одну – не пущу. Эх, девка...

Наталья. Да.

Васса. Нет у меня времени поговорить с тобой.

Наталья. А Кольку воспитывать – найдете время?

Васса. Ему – мало надо.

Наталья. Нет, больше, чем мне.

Васса. Поезжай с Анной, Федора увидишь.

Наталья. Это меня не соблазняет.

Васса(орет). Дьявол! Молчать!

Наталья. Хорошо... Молчу.

Рашель (входит). Что это вы?..

Васса. Да, да – зря крикнула. Зря. Разволновали меня, даже сердце колет... Ну что, Рашель? Прохор предлагал украсть Колю?

Рашель. Он выпивши.

Васса. Он и трезвый – может... Вы, девицы, шли бы спать, поздновато, а?

Людмила. А – ужинать?

Васса. Про ужин я забыла. Пить хочу. Пить, горячего чаю. Ну, идите, пусть накрывают на стол. Что, Рашель, как?

Рашель. Слушайте-ка, Васса Борисовна, отдайте сына, я его отправлю за границу...

Васса. Снова, значит, спорить хочешь? Нет, не отдам!

Рашель. Я совершенно не могу себе представить, что вы будете делать с ним? Как воспитывать?

Васса. Не беспокойся, сумеем. Мы люди оседлые. У нас деньги есть. Найдем самых лучших учительниц, профессоров... Выучим.

Рашель. Выучите не тому, что должен знать честный человек. Жить Коля будет в этом доме с балалайками, с гитарами, с жирной пищей, полупьяным Прохором Храповым, с двумя девицами: одна – полудитя, другая – слишком озлоблена. Васса Борисовна, я неплохо знаю ваш класс и здесь, в России, и за границей, – это безнадежно больной класс! Живете вы автоматически, в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных. Живете, презирая, ненавидя друг друга и не ставя перед собой вопроса – зачем живете, кому вы нужны?.. Даже лучшие, наиболее умные люди ваши живут только из отвращения к смерти, из страха перед ней.

Васса. Все пропела? Ну – отдохни, послушай меня. Чего не понимаю я в тебе – так это вот чего: как это выходит, что смелый твой умишко и слеп и хром, когда ты о жизни говоришь? Класс, класс. Милая, Гурий Кротких – управляющий пароходством моим – насчет класса лучше твоего понимает: революции тогда законны, когда они этому дурацкому классу полезны. А ты о какой-то незаконной революции толкуешь... о надземной какой-то. У Кротких – дело ясно: социалисты должны соединить рабочих для интереса промышленности, торговли. Вот как он предлагает, и это – правильно! Он не дурак... в этом, а вообще в делах еще глуп.

Рашель. Его фамилия – Кротких? Ну вот, сообразно его

фамилии он и проповедует воспитание пролетариев короткими. Он – не один такой. Такие – весьма часто встречаются. И, как верным рабам вашим, вы позволяете им подниматься довольно высоко...

Васса. Ты пойми – мне, Вассе Храповой, дела нет до класса этого. Издыхает, говоришь? Меня это не касается, я – здорова. Мое дело – в моих руках. И никто мне помешать не может, и застрашать меня ничем нельзя. На мой век всего хватит, и внуку очень много я накоплю. Вот и весь мой разговор, вся премудрость. А Колю я тебе не отдам. Давай – кончим! Ужинать пора. Устала я.

Рашель. Не буду я ужинать. Противен мне хлеб ваш... Где я могу отдохнуть?

Васса. Иди. Наталья укажет. *(Поднимается со стула с трудом. Снова села, зовет.)* Анна!

Ответа нет.

Хлеб мой противен ей... Кто посмел бы сказать мне этак? Ух... язва! *(Звонит.)*

Поля. Вы звонили?

Васса. Черт из-под печки. Где Анна?

Поля. У барышень.

Васса. Позови. *(Сидит, прислушиваясь к чему-то, щупает шею, покашливает.)*

Входит Анна.

Что тут было без меня?

Анна. Прохор Борисович предложил выкрасть Колю.

Васса. Сам предложил?

Анна. Да. Сначала сказал: «Правильно – тебе сын ни к чему», а потом вдруг обрадовался. «Это, говорит, сестре вилка в бок».

Васса. А как Наталья?

Анна. Это она предложила выкрасть...

Васса. Путаешь! Врешь!

Анна. Я – не путаю, так было: когда Рашель Моисеевна сказала, что вы Колю оставляете за собой, Прохор Борисович сказал: «Правильно», а когда Наташа предложила: «Выкради», так и он тоже...

Васса. Так. Ему – только бы укусить меня. Хоть за пятку, да укусить.

Анна. «У меня, говорит, Пятеркин не то что ребенка – архиерея украсть может».

Васса. Вредная собака – Пятеркин этот...

Анна. Совершенно гнусный раб! Ни чести, ни совести. И – такой дерзкий, такой жесткий...

Васса. Смягчим.

Анна. Нездоровится вам?

Васса. А – что?

Анна. Лицо такое.

Васса. Дочери – ничего не заметили в лице. Ладно. За границу поедешь, Анна.

Анна (*изумленно*). Я?

Васса. Ты. С Натальей. А может, и одна.

Анна. Господи, как я рада! Даже и благодарить вас... нет слов!

Васса. И не надо. Ты – заслужила. Ты никогда не врешь мне?

Анна. Никогда.

Васса. Ну то-то... Федору письмо отвезешь. Наталье письмо – не показывай. Тотчас напишешь мне – как Федор. Врачей спроси. Немецкий язык помнишь?

Анна. Да, да, помню.

Васса. Ну вот... Если Федор плох – дождешься конца. Впрочем, после поговорим об этом, обо всем. А теперь – вот что; пойдешь в жандармское управление, спросишь полковника Попова. Обязательно его найди! Чтобы вызвали. Скажи – срешное и важное дело.

Анна. Васса Борисовна...

Васса. Ты – слушай! Скажешь ему, что ко мне приехала из-за границы Рахиль Топаз, эмигрантка. Он знает – кто это. Он ее арестовывал. И что если нужно снова арестовать ее, так пусть арестуют на улице, а в мой дом – не приходят. Поняла?

Анна. Да, только... как же?

Васса. Ты – слушай, слушай! Если придут в дом, так будет ясно, что выдала ее ты. Или – я. И не хочу я, чтоб снова по городу слухи дурацкие пошли. Ну, поняла?

Анна. Я – не могу...

Васса (*удивлена*). Не можешь? Почему?

Анна. Не могу решиться.

Васса. Жалко? А Колю – не жалко? Ее все равно арестуют, не завтра, так послезавтра. Что ж ты отказываешься услужить мне? Странно! И – не верю!

Анна. Да – нет же, господи боже мой! Я за вас жизнь отдаю! А за что я буду жалеть еврейку эту? Вы знаете – она меня презирала.

Васса (*подозрительно*). Чего же ты бормочешь, а? Не понимаю!

Анна. Боюсь я ночью идти к ним, к жандармам.

Васса. Ну, вот глупости какие... Что они – сожрут тебя? (*Смотрит на часы.*) А пожалуй, верно – время позднее. Попов где-нибудь в карты играет. Ладно. Ты это завтра утром сделаешь. Пораньше – часов в семь. Настоишь, чтобы разбудили его.

Анна. Вот – уж благодарю вас... (*Хватает руку, целует.*)

Васса (*отирая руку об юбку*). Дуреха, даже вспотела, – капает с лица-то у тебя...

Анна вытирает лицо.

Рашель все пугает меня, квакает: класс, класс! Какой класс? Это я – класс! Меня она и ненавидит. Да. Меня. Сына увела, как цыган – коня. Ну – а внука не получит, нет! *(Замолчала, думает.)* Что-то мне нездоровится. Устала, что ли... Завари малины!

Людмила. Вася, ужинать!

Васса. Любишь ты поесть...

Людмила. Да, люблю! Очень.

Васса. А я тебе приятное приготовила... Не для еды, а для жизни.

Людмила. Ты – всегда...

Васса. Решила: покупаю у старухи Кугушевой дом – вот садик-то наш разрастется, а?

Людмила. Мамочка, ой, как хорошо!

Васса. То-то! Молодой князек, видно, в карты проигрался...

Людмила. Хорошо как! Господи...

Васса. Спешно продает княгиня. Завтра задаток внесу. Вот тебе и праздник.

Людмила. Когда ты это успеваешь? Идем, идем ужинать.

Васса. Я – не хочу, нездоровится мне. Сейчас напьюсь малины и лягу. Ужинайте без меня!

Людмила. А – чай?

Васса. Да, самовар подайте сюда, пить хочу. Рашель там?

Людмила. Заперлась в желтой комнате, тоже не хочет ужинать. Какая она неприятная стала. Важная!

Васса. Ну иди, Людка, иди... *(Осталась одна. Двигается по комнате осторожно, как по льду, придерживаясь за спинки стульев, покашливает, урчит.)* Дела... Растут дела... *(Хочет сесть, но не решается. Стоит спиной к двери.)* Доктора, что ли, позвать?

Пятеркин, выпивший, встрепанный еще больше, волосы – дыбом, показывает хозяйке язык, делает страшную рожу. Взял гитару, задел басовую струну.

(Вздрыгнув.) Ох... Что это? Кто... Чего тебе?

Пятеркин. З-за гитарой...

Васса. Пошел вон, черт...

Пятеркин. Иду. А как же?... Я – не собака, в барских комнатах не живу.

Васса. Дурак... какой... черт... *(Грузно садится на тахту, хочет растянуть ворот кофты, валится на бок.)*

Несколько секунд тишина.

Анна *(поднос в руках, на подносе – чайник, чашки).* В

спальню отнести? (*Постояла, ожидая ответа. Поднос в руках ее дрожит, дребезжит чашка. Осторожно поставила поднос на стол, наклонилась, взглянула в лицо. Моментально выпрямилась, громко шепчет.*) Господи, господи... Вас-са Борисовна... Вы – что? (*Прислушалась, бросилась к рабочему столу, открыла один ящик. Роемся, нашла деньги, сует за пазуху себе. Открыла шкатулку на столе, там тоже деньги, прячет их, нашла ключи, прячет их в карман, крышка шкатулки звучно хлопает. Анна бежит прочь из комнаты.*)

Пауза. *Наталья быстро входит, за ней – Прохор. Постепенно являются: Анна, Поля, Пятеркин.*

Наталья (*щупает рукой лицо матери; ненужно громко говорит*). Умерла.

Прохор. Ух ты... Железнов – в одночасье, теперь – она! Опять начнет город чепуху молоть... Ф-фу... Вот уж... Черт...

Наталья. Молчите!

Прохор. Что там молчать! Ната, нужно за Анной следить. Ключи нужно. Ключ от сейфа. Она все знает, Анна! Погляди в кармане юбки, нет ли ключа...

Наталья. Не хочу. Уйдите.

Прохор. Ну да, уйду, как же!

Анна (*в слезах*). Наталья Сергеевна – Людочка в обмороке...

Наталья. Позвони доктору...

Анна. Позвонила. Господи, что делать будем?

Прохор. Ключи – где? От сейфа ключ?

Наталья. Рашель – сказали?

Анна. Надо ли говорить ей, Наталья Сергеевна?

Наталья. Вы... сволочь! (*Быстро ушла.*)

Анна (*всхлипнув*). За что-о?

Прохор. Ну, ты... не тово, не раскисай! Ключ от сейфа!

Где?

Анна. Прохор Борисович, я – не забудьте – тринадцать лет, верой, правдой... (*Шарит в юбке Вассы.*)

Прохор. Получишь сколько стоишь...

Анна. Всю молодость мою отдала вам. Вот он, ключ!

Прохор (*идет к сейфу, говоря Пятеркину*). Лешка, не пускай никого... Постой... Что такое? (*С явной радостью.*)

Да ведь я опекуном несовершеннолетних буду! Черт те взял!

Чего же это я? А? (*Усмехается, глядя на Анну.*) Пошла вон,

Анка! Конец твоей кошкиной жизни! Иди к чертям! Завтра

же! Надоела ты мне, наушница, надоела, стервоза!

Анна. Прохор Борисович, покаетесь! Напрасно вы это...

Прохор. Иди, иди! Ты свое получила, наворовала – до-вольно! Марш!

Анна. Нет, позвольте! Я имею кое-что...

Прохор. Да, да! Имеешь, знаю! О том и говорю...

Рашель, Наталья.

Рашель (*Прохору, который роется в бумагах на столе.*)

Воруете?

Прохор. Зачем? Свое – берем.

Поля ведет Людмилу.

Людмила (*вырвалась, бросается на тахту*). Мама! Мама!

Рашель. Свое! Что у вас – свое?

Занавес

Мои университеты

Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а – что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не бог людей судит, это – черту лестно! Прощай, ну...

И, отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру...

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой – концом старенькой шали – оттирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами – обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пен-

сию. В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя саму?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает – не вывезу, – а все-таки везет!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, черт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай...

А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать!

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:

– Не в духе...

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется – швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларошфуко и Ларошжаклен слива-

лись у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренне желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приبلудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний: для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные

дни жизни, а так как дней этих было много, – я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать-двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо, враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять бо-язно? Девке честь – все ее достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

– Баба, баба! – выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на все пойду. Для нее, как для черта, – нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространенная песня:

Некрасива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это...

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, бла-

гообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Максимыч, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

– Что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

«Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свяжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. «Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя». Знаю – врет, а верю – правда! Умом – твердо знаю, сердцем – не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал гла-

за и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две-три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плиты колес пароходов, надсадно, волками во-

ют матросы на караване барж, где-то бьет молот по железу, заунывно тянется песня – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – все бывает...

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, – все уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьезных книг, – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но

более значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнев. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порошком, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гусях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удалству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатках и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжелой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был

большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

– Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тиши-

не. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К черту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетающуюся, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

– Эвклид – дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!

И хлопнул дверь настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя из математики – доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, ка-

призно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места – по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у кото-

рых сердце сучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо-узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился окончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын ее был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обреченно, тоскливо смотрят вперед, но – кажется, что она слепая. Нельзя было сказать,

что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

– Смотри, – сказал Плетнев, – точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его, точно безжалостный кредитор или шпион.

– Сконфуженный человек я, – каялся он, выпивши. – И – зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой – не пустят меня на сцену, не пустят!

– Прекрати эту канитель! – советовал Плетнев.

– Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а – жалко! Если бы ты знал, как она – эх...

Мы – знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

– Христа ради... голубчик, ну – Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди.

Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

«Зачем все это?»

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, – а разорю их вдребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шум-

ные пиры, приглашая студентов, швеек – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна, – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.

– Как вы живете? – кричал он. – Голод, холод, одежда плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да это – не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К черту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевых, смятых в твердый ком, и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо...

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно – они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орет всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! И я – тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

– Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, черт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими крас-

ками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже – боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городской в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимой в одной из квартир были арестованы одорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их – а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то – за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов,

днем, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в «Марусовке» был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольной. Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидел молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидев, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай...

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнев был близок к ним, но, в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. По-

том, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: «Я приезжий...»

Таинственное – всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным; знойный, яркий день, в поле серую былинкой качается одинокий человек, – вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидел пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно оципанное, – как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались, – он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Дж. Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского, – впоследствии он писал рассказы под псевдо-

нимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два-три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные

глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь,

ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом – начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободря друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палу-

бы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий, – должно быть, хозяин груза или доверенный его, – вдруг заорал возбужденно:

– Молодчики – ведерко ставлю! Разбойнички – два идет! Делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рывкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые лю-

ди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца – его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содейть чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, – за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночью порой, —
Вышла прогуляться в садик барыня – эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит – барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым, по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бороде и умными глазами, обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к

дому скопца-менялы, дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор, за этой комнатой, продолжая ее, помещалась тесная кухня, за кухней, в темных сенях между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, – таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-Голод», «Хитрая механика», – все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я, впервые, пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату, я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили как о «народнике»; в моем представлении народник – революционер, а революционер не должен верить в бога, богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

– Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал – переодетый студент.

– Зачем же студенту переодеваться? – спросил я.

– Ну, да, – тихо отозвался старик, – ведь как ни переоденся – бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услышал возглас:

– Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое, ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

– Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? – говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детские пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате!

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели – у нее отнялись руки и ноги.

– Это – нервная болезнь такая, – сказала она, улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтоб ее состояние было объяснено как-то иначе; нервная болезнь – это слишком просто для та-

кой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами, слишком ярко горит огонек лампы и по белой скатерти большого обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

– Мне много говорили о вас, – вот я и захотела посмотреть, какой вы, – слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то пронизательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог – не умел – говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

– Ты зачем вылезла, Марья?

– Это мой младший брат, Алексей, – сказала девушка. – А я – учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы – застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать – какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

– Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаюсь понять – как и чем живут в ней? Жили – странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

«Не трогайте меня!»

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастья – это было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей – ленивый, грубый парень. Третий брат, Иван, учился в учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам; это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человек, похожий на старого чиновника. Больная Марья жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяйки-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя; когда она смотрела зелеными глазами на мужчин – ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты университета, духовной академии, ветеринарного института, – шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шепота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но – не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они же смотрели на меня, точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

– Самородок! – рекомендовали они меня друг другу, с та-

кой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне не нравилось, когда меня именовали – «самородком» и «сыном народа», – я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента духовной академии дать мне эту книгу.

– Здравствуйте! – иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, – курчавый, толстогубый, зубастый. – Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую, – не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще – со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники – обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу, – а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о «праве критики».

– Чтоб иметь право критиковать – надо верить в какую-то истину, – во что верите вы? – спросил он меня.

Он читал книги даже на улице, – идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

– Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения, – гармонически, гар-гар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и, когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски-счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани я снова встретил его в Харькове, он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей; погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами:

– Без синтеза – невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Не мало видел я таких великомучеников разума ради, – память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собиралось в квартире Деренкова, – среди них был даже японец, студент духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густой окладистой бородищей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно

он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла меня; все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне; я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали Хохол, и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жадной все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков,

знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что, только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «Счастье народа – прежде всего». Он вертелся среди них, точно искренне верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

– Хорошо? То-то же!

И, когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров – обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся, – Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

– Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать, мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы. С тихой радостью верующего он говорил мне:

– Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь!

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее зазорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, – она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом

расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полусшепотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но – наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна» – тяжелое время! Однако – поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее – морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни; в праздничные дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Черт знает что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью,

а глаза вспыхивают обидой и гневом, – я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках да в холодных объятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день полочки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его – долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь.

Но – странно! – за всем этим я слышал – мне чудилось – печаль и стыд. Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато, – это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удалством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию:

надо мною зло издевались и женщины и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

– Ты, брат, с нами не ходи.

– Почему?

– Так уж! Нехорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

– Экой ты! Сказано тебе – не ходи! Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

– Вроде как при попе али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

– Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка», пышная и красивая полька Тереза Борута, «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

– Оставимте ж его, подруги, – у него, обязательно, невеста есть – да? Такой силач, обязательно, невестой держится, больше ничем!

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неопишимо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

– Самый же непонятный народ – это, обязательно, студенты академии, да, – рассказывала она моим товарищам. – Они

такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками-ногами на тарелки и толкают ее в зад – далеко ли уедет по полу? Так – одну, так и другую. Вот. Зачем это?

– Ты врешь! – сказал я.

– Ой, нет! – воскликнула Тереза, не обижаясь, спокойно, в спокойствии этом было что-то подавляющее.

– Ты выдумала это!

– Как же такое можно выдумать девушке? Разве я – сумасшедшая? – спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять – зачем это?

Слушатели с отвращением плевались, – дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

– Так то – студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, сироты все, а сирота растет, обязательно, вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на «чистую публику», вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду,

но почти радость, она выражалась словами:

– Значит – образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел – и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекла скука, отравляя душу бесильным желанием куда-то уйти.

Когда, в мастерской, я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, – мне возражали:

– А вот девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее

взрослых собак, – я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо-терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И – как нарочно! – именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей, совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воюющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, – в такую ночь, на масленой неделе, я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг – упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я – по-русски, он – на французском языке:

– О, дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги, – он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

– Моя шапка, черт вас возьми! Отдайте шапку! Я – за-

мерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею, ругался на двух языках, гнал меня:

– Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашнице. Идя дальше, я снова увидел его – он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

– Лена, я погибаю... о Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

– Какая это улица? – закричал он со слезами в голосе. – Я не знаю, куда идти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

– На Булаке, – бормотал он, вздрагивая. – На Булаке... там – бани, – дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне идти; я слышал, как стучали его зубы.

– Си тю савэ, – бормотал он, толкая меня.

– Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно – с гордостью, как показалось мне:

– Си тю савэ у же те мен...⁴

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь под-

⁴ Если бы ты знал, куда я тебя веду... (фр.)

бородком в череп мой, ворчал:

– Си тю савэ... Но я замерзаю, о боже...

На Булаке я с трудом добился у него, в каком доме он живет, наконец мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

– Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженной свечой в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

– Да? – спросила она звучно и молодо.

– Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол, – там, на мольберте, стояла картина – река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины, странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

– У вас нет водки? – громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них туск-

ло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«НЕСРАВНЕННОЙ ДЖИЛЬДЕ»

– Черт побери – тише! – застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

– Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

– Но ведь он уехал в Киев...

– Да, в Киев, – повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит одностонно, невыразительно.

– Он скоро приедет...

– Да?

– О да! Скоро.

– Да? – повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

– Я спокойна, – по-русски ответила она.

– Я – заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал – замерзну, – торопливо рассказывал Жорж, глядя ее руку, лежавшую на колене. Ему было лет сорок, красное тол-

стогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

– Мы завтра едем в Киев, – сказала женщина, не то – спрашивая, не то – утверждая.

– Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

– Он не приедет сегодня, Миша?

– О нет! Такая метель... Идем, ляг...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

– Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

– Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову набок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

– Это ваша жена? – тихонько спросил я.

– Жена. Все. Вся жизнь! – раздельно, негромко, глядя в

пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

– Чаю выпить, – а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

– Без тебя – я бы замерз, – спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

– Что же было бы с нею тогда? О, господи...

Быстро, шепотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

– Ты видишь, – она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, необычными словами рассказал, что женщина – помещица, он – учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, прищулив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прилебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

– Ты – кто? – еще раз спросил он. – Да, крендельщик, рабочий. Странно. Непохоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного. Я кратко рассказал о себе.

– Вот как? – тихо воскликнул он. – Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

– Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными – до визга – повышениями сиповатого голоса.

– Эта сказка – соблазняет! В твои годы я тоже подумал – не лебедь ли я? И – вот... Должен был идти в академию – пошел в университет. Отец – священник – отказался от меня. Изучал – в Париже – историю несчастий человечества – историю прогресса. Писал, да. О, как все это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

– Прогресс – это выдуманно для самоутешения! Жизнь – неразумна, лишена смысла. Без рабства – нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству – человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтоб делать еще и еще машины, это – глупо! Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб – это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку – тем более он счастлив, чем больше желаний – тем меньше сво-

боды.

Быть может – не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью:

– Пойми, – каждому нужно не много: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шепотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, – он вдруг стал похож на вора Башкина.

– Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, – шептал он имена, незнакомые мне, и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою. – Любовь и голод правят миром, – слышал я горячий шепот и вспоминал, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-Голод», это придавало им в моих мыслях особенно веское значение. – Люди ищут забвения, утешения, а не – знания.

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром, маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели, и, вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека, чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось идти в мастерскую,

видеть людей, и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда, – их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высококультурные люди. Говорили об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог-неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только вот года два тому назад – спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему – я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе», и этот человек – «политический воротило», как он, невесело усмехаясь, называл себя, – сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди:

– А. М., милый, ничего мне не надо, никуда все это – академии, науки, аэропланы, – лишнее! Надобно только угол тихий и – бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно – душой и телом – отвечала, – вот! Вы – по-интеллигентски рассуждаете, вы уж не наш, а – отравленный человек, для

ваша идея выше людешек, вы по-жидовски думаете: человек – для субботы?

– Евреи не думают так...

– Черт их знает, как они думают, – народишко темный, – ответил он, бросив окурочок папиросы в реку и следя за ним.

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

– Вы – с нами, а – не наш, вот что я говорю, – продолжал он вдумчиво, тихо. – Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, – так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует – идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и всё – со зла, видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстанет для революции, ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, – думаете, согласится он на государство? Ни за что! Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок... Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шею нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному – немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут – там и водопроводы, и ка-

нализация, и электричество. А – попробуйте без этого жить – как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это – от интеллигенции, потому я и говорю: интеллигенция – вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обесмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

– Самый свободный народ по духу, – усмехнулся мой собеседник. – Только – вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да – сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму, – я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если действительно миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда – максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия.

И мне вспомнились стихи Генриха Ибсена:

Я консерватор? О нет!

Я все тот же, кем был всю жизнь, —

Не люблю перемещать фигуры,

Но – хотел бы смешать всю игру.

Помню только одну революцию, —
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить —
Разумею, конечно, Всемирный потоп.

Но – и тогда Дьявола надули!
Вы знаете – Ной стал диктатором.

О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь вам, —
Вы хлопочите о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег!

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи, – все возрастало.

– Надо придумать что-нибудь, – озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжело вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:
– Почему вы делаете это?

Он, видимо, не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос – для чего? – говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

– А – хотят, ищут люди знания?

– Ну, как же! Конечно! Ведь вы – хотите?

Да, я – хотел. Но – я помнил слова учителя истории:

«Люди ищут забвения, утешения, а не – знания».

Для таких острых идей – вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду, идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же. Людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря – я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню – было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище, – забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один. У него седые виски, острая бородка, сухое, копченое лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький, точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как буд-

то он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал, – в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

– Это – куда пойдет?

– А это пойдет одной девчончке, – дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: – Ха-арошая девчонка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но – или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, – речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

– Он меня – учит! Первый раз видит и – готово – учит! А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

– Будто видел я тебя где-то, – ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови, и лицо его странно изменялось, принимая иронически-удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

– Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню, – под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл, гляжу – угли и собачий череп. Вот оно, – нашел!.. Вдруг – трах! – окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово: «Караул, воры!» Конечно – убежал, а то бы – избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно! – но Иван Козьмич Лутонин не смеется, а только, улыбочиво прищутив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его – незатейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг его, – не любит говорить?⁵

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам, в подвал, доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

– Косы ей драли мало, девице этой, – говорит Лутонин

⁵ В конце 90-х годов я прочитал в одном археологическом журнале, что Лутонин-Коровяков нашел где-то в Чистопольском уезде клад: котелок арабских денег. (Примеч. М. Горького.)

и вслед за этим сообщает мне: – Ловлю будто я карасей в пруде, вдруг – полицейский: «Стой, как ты смеешь?» Бежать некуда, нырнул я в воду и – проснулся...

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, – он скоро почувствовал: в булочной есть что-то необычайное, в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки, – сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я, «подручный», являюсь как будто управляющим булочной.

– Родственник ты хозяину? – спрашивает Лутонин. – А может, он тебя в зятя прочит? Нет? Смешно. А – зачем студенты шляются? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентишки-то, наверно, больше едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять-шесть часов утра на улице, у окна пекарни, является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

– Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча по-

лусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно – о чем можно говорить с такой девицей? Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

– Пришла?

– Видишь.

– Спала?

– Ну, а как же?

– Что видела во сне?

– Не помню...

Тихо в городе. Впрочем – где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

– Пешков, вынимай сдобное, пора!

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоев, саяк, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

– Опустит подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

– Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня – тринадцатая! Никифору – крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

«И мне – так жить?»

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять-двенадцать караваев и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобным и бегу в духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет», – стою и слушаю их споры о Толстом; один из профессоров академии, Гусев, – яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда – студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше – в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, – как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду,

почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие – улыбаясь, большинство – сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнута обыкновенны в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем, – есть!

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все

меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

– Ты – способный к работе, через год-два – будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно.

– Ты бы не читал, а спал, – заботливо советовал он, но никогда не спрашивал: какие книги читаю я?

Сны, мечты о кладях и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или – если было холодно – говорил мне, сморщив переносье:

– Выдь на полчаса!

Я уходил, думая: «Как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...»

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее – неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку, и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая, как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

– Силы у тебя – на троих, а ловкости нет! И хоша ты длинный, а все-таки – бык...

Несмотря на то что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, – говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент-математик, упрекал меня:

– Черт вас знает, как говорите вы. Не словами, а – гирями!

Вообще – я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня – скуластое, калмыцкое, голос – не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе, и мне казалось, что легкость движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется, и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какую я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

– Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее: «А вам зачем знать это?»

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

– Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

– Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и – вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор, там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари – горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, неярко освещенных, поют:

Сам Варлампий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, – как лежит на коленях пекаря его девица, – и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

И всю ночь напролет
Он и пьет и поет,
И еще – о!.. кое-чем

Занимается...

Задорно выделяется из хора густое, басовое – о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот – подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем – меньше моего мизинца. Но – снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет, в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку, – плечи у нее круглые, как пышки, – берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, – он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шепотом, говорил ей что-то, она вся сжималась... становясь еще меньше, смотрела на него робко и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

– Иди в пекарню...

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я – соображаю:

«Что же будет со мною дальше?»

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастье.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это – хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

– В новой пекарне ты будешь старшим подручным, – обещает мне пекарь. – Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он – не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но – не позволяет читать.

– Хорошо, что ты бросил книжки, – крысы бы съели их! – говорит пекарь. – А – неужто ты снов не видишь? Наверно – видишь, только – скрытен ты! Смешно. Ведь сны рассказывать – самое безвредное дело, тут опасаться нечего...

Он очень ласков со мною, кажется – даже уважает меня. Или – боится, как хозяйского ставленника, хотя это не ме-

шает ему аккуратно воровать товар.

Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через семь недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме – без запятых – было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день «прикинулся антонов огонь». Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми – здоровые, молодые люди – сидели на шее старухи, питаюсь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

«Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрет».

Я – не плакал, только – помню – точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это тяжелое желание, но рассказать было некому, так оно, невысказанное, и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А.П. Чехова про извозчика, который беседовал с лошадьёю о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки и что я не догадался поделиться горем с кры-

сами – их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городской Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно на битого гуся перед Рождеством.

– Читать любишь, слышал я? – спрашивал он. – Какие же книги, например? Скажем – жития святых али Библию?

И Библию читал я, и Четьи-Минеи, – это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка.

– М-да? Чтение – законно полезное! А – графа Толстого сочинений не случалось читать?

Читал я и Толстого, но – оказалось – не те сочинения, которые интересовали полицейского.

– Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился, их бы почитать!

«Некоторые», напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

– Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал, чего он хочет от меня, но – мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и бы-

ло решено, что, если я уклонюсь от любезности будочника, – это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот – я в гостях у Никифорыча. Третью маленькой ко-нуры занимает русская печь, треть – двуспальная кровать за ситцевым пологом, со множеством подушек в кумачовых на-волоках, остальное пространство украшает шкаф для посу-ды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстег-нув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим един-ственное маленькое окно, рядом со мною – его жена, пыш-ногрудая бабенка лет двадцати, румяноликая, с лукавыми и злыми глазами странного, сизого цвета; ярко-красные губы ее капризно надуты, голосок сердито суховат!

– Известно мне, – говорит полицейский, – что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетея, девка распутная и под-лая. И все бабы – подлые.

– Все? – спрашивает его жена.

– До одной! – решительно подтверждает Никифорыч, бря-кая медалями, точно конь сбруей.

И, выхлебнув с блюда чай, смачно повторяет:

– Подлые и распутные от последней уличной... и даже до царик! Савская царица к царю Соломону пустыней ездил за две тысячи верст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой...

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержан-та до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает

губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и, как-то незаметно для меня, переходит на другую тему:

– Например: есть тут студент первого курса Плетнев.

Супруга его, вздохнув, вставила:

– Некрасивый, а – хорош!

– Кто?

– Господин Плетнев.

– Во-первых – не господин, господином он будет, когда выучится, а покамест просто студент, каких у нас тысячи.

Во-вторых – что значит – хорош?

– Веселый. Молодой.

– Во-первых – паяц в балагане тоже веселый...

– Паяц – за деньги веселится.

– Цыц! Во-вторых – и кобель кутенком бывает...

– Паяц – вроде обезьяны...

– Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

– Ну, слышала.

– То-то...

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

– Вот – познакомься-ко с Плетневым, – очень интересный!

Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

– Мы знакомы.

– Да? Так...

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я – насторожился; мне было известно, что Плетнев печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

– Незримая нить – понимаешь? – спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то. – Прими государь-императора за паука...

– Ой, что ты! – воскликнула женщина.

– Тебе – молчать! Дура, – это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла! Убирай самовар...

Сдвинув брови, прищулив глаза, он продолжает внушительно:

– Незримая нить – как бы паутинка – исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочая, – проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево царство. А полячки, жида и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они – за народ!

Грозным шепотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

– Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный и живешь – один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели – один, понятно. Но – когда много? А? Я против студентов не говорю – сегодня он студент, а завтра – товарищ прокурора. Студенты – хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги царя – подзуживают их! Понимаешь? И еще скажу...

Но он не успел сказать – дверь широко распахнулась, вошел красноносый, маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

– Шашки двигать будем? – весело спросил он и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

– Тесть мой, жене отец, – с досадой, угрюмо сказал Никифoryч.

Через несколько минут я простился и ушел, лукавая баба, притворяя за мою дверь будки, ущипнула меня, говоря:

– Облака-то какие красные – огонь!

В небе таяло одно маленькое, золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу все-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, «незримая нить». Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки

этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать – о чем говорил со мною будочник?

– Ах, боже мой! – тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою. – Что, – пекарь не выпрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница – родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на нее исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово «любовница» – это не понравилось мне. И не понравилось ее решение прогнать пекаря.

– Будьте очень осторожны, – говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз, казалось – он спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять.

Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

– Почему вы всегда такой угрюмый?

– У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным; улыбаясь, она спросила:

– Вы очень любили ее?

– Да. Больше вам ничего не нужно?

– Нет.

Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

«Вы – не то, чем хотите казаться».

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил:

– Что это ты пишешь? «Почему Гарибальди не прогнал короля?» Что такое Гарибальди? И – разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

– Скажи пожалуйста – королей гонять надобно ему! Смешно. Ты эти затеи – брось. Читатель! Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты – оставь королей гонять, это тебе не голуби!

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы, – мне запретили говорить с пекарем на «опасные темы».

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, ее читали и – ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал:

– Э, нет, батя, не ждите! Впрочем – кажется, ее на днях будут читать в одном месте, может быть, я сведу вас туда...

В полночь Успеньева дня я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова, он идет сажен на пятьдесят

впереди. Поле – пустынно, а все-таки я иду «с предосторожностями», – так советовал Лавров, – насвистываю, напеваю, изображая «мастерового под хмельком». Надо мною лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиною сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна, – окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

– Кто?

– От Якова.

– Влезайте.

В крошечной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шепот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо, я вижу у стен на полу несколько темных фигур.

– Все?

– Да.

– Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставен.

Сердитый голос громко говорит:

– Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме?

– Тише!

В углу зажгли маленькую лампу. Комната – пустая, без мебели, только – два ящика, на них положена доска, а на доске – как галки на заборе – сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном «попом». На полу у стен еще трое и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наши разногласия», ее написал Георгий Плеханов, «бывший народовец».

Во тьме на полу кто-то рычит:

– Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны – высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова.

– Ер-рунда, – снова рычит кто-то из угла.

Там в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме римского воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

– Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца, и тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

– Ренегат!

– Медь звенящая!..

– Это – плевок в кровь, пролитую героями.

– После казни Генералова, Ульянова...

И снова с подоконника раздается голос юноши:

– Господа, – нельзя ли заменить ругательства серьезными возражениями, по существу?

Я не люблю споров, не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих.

Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня:

– Вы – Пешков, булочник? Я – Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно – здесь делать нечего, шум этот – надолго, а пользы в нем мало. Идемте?

О Федосееве я уже слышал как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами.

Идя со мною по полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал:

– Слышал я об этой булочной вашей, – странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся.

Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои – все хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в «институт благородных девиц». Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких, ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок, – смотрел я на них и старался угадать – которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И, вспоминая грязные «дома утешения», думал:

«Неужели из этих домов и сюда простирается „незримая нить“?»

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо:

– Дам тебе десять копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу.

Ее темные, ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно, – сунул медь в карман своих брюк, но – не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая:

– Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать...

Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню.

Скоро она исчезла из института, а лет через пятнадцать я встретил ее учительницей в одной крымской гимназии, она страдала туберкулезом и говорила обо всем в мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечером работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное, – булочная помещалась около городского театра, и по-

сле спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать-двадцать пудов – это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шел разносить булки.

Так – изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять «разумное, доброе, вечное». Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась «незримая нить». У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова; особенно близок был мне старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

– Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей ты мой Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночок! – говорил он придушенным голосом, улыбаясь большими серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его Немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной веселостью.

– Люблю в цирк ходить, – говорил он, склоняя на левое

плечо лысый, шишковатый череп. – Лошадей – скотов – как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением, – думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота – сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам – для души сахар нужно, а это будет – ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас, – верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увел его.

– Больно ударили вас? – спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождем осени.

– Ну, – так ли бьют? – равнодушно сказал он. – Постой-ка, – почему это ты со мной на «вы» говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет «незримая нить», он задумчиво воскликнул:

– А ты – не глуп, нет! Ишь ты?.. – И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

– Мысли твои, Лексей ты мой Максимыч, шило мое милое, – правильные мысли, только никто тебе не поверит, невыгодно...

– Вы верите?

– Я – пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жены, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас – у Морозова на фабрике – было дело! Кто впереди идет, того по лбу бьют, а лоб – не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова, – чахоточный Яков, гитарист, знаток Библии, поразил его яростным отрицанием бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал:

– Первое: создан я вовсе не «по образу и подобию божию», – я ничего не знаю, ничего не могу и, притом, не добрый человек, нет, не добрый! Второе: бог не знает, как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или может помочь, да – не хочет. Третье: бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а – проще – нет его! Это – выдуманно, все выдуманно, вся жизнь выдумана, однако – меня не обманешь!

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съежиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, как у

цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд – он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

– Против бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слышал. Всякое слышал, а такого – нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, – жалко! Раскалился добела... Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошелся с Яковым и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза.

– Та-ак, – ухмыляясь, говорил он, – бога, значит, в отставку? Хм! Насчет царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело – в хозяевах. Я с каким хошь царем помирюсь, хошь с Иван Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только – дай ты мне управу на хозяина, – во-от! Дашь – золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя...

Прочитав «Царь-Голод», он сказал:

– Все – обыкновенно правильно!

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

– Кто это тебе написал? Четко пишет. Ты скажи ему – спасибо.⁶

⁶ Спасибо, Алексей Николаевич Бах! (Примеч. М. Горького.)

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапошникова, часами слушая мои рассказы о книгах, и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

– Ловкая штука умишко человечесий, ой, ловкая!

Сам он читал с трудом, – мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим:

– Есть у немцев плотник необыкновенного ума, – его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле.

– Как вы это знаете?

– Знаю, – кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощен уничтожением бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

– Что ты, Яков, все только против бога кричишь?

Он завыл еще более озлобленно:

– А что еще мешает мне, ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе жил пред ним. Терпел. Спорить – нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в Библию – вижу: выдуманно! Выдуманно, Никита!

И, размахивая рукою, точно разрывая «незримую нить», он почти плакал:

– Вот – умираю через это раньше время!

Было у меня еще несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но – Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников – в Татарской, далеко за Кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко мог видеть их. А ко мне ходить – невозможно, негде было принять гостей, к тому же новый пекарь, отставной солдат, вел знакомство с жандармами; за дворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные «синие мундиры» лазили к нам через забор – за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. И еще: мне было рекомендовано не очень «высовываться в люди», дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Все чаще случилось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался:

– Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила «не по-рожей» и фыркала злой кошкой, глядя на все и на всех зеленым, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал. Иногда он жаловался мне:

– Несерьезно все. Все всё берут, – без толку. Купил себе

полдюжины носков – сразу исчезли!

Это было смешно – о носках, – но я не смеялся, видя, как бьется скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относится к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но – он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушалась, отец заболел тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начинал пить и гулять с девицами, сестра вела себя, как чужая, и у нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом, я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощекую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня – не было. Люди, которые смотрели на меня как на «материал, подлежащий обработке», не возбужда-

ли моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их, – они советовали мне:

– Бросьте это!

Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург, в «Кресты». Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях, – как будто возвращаясь с парада, – он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но, тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

– Гурия Александровича арестовали сегодня ночью...

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

– Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы.

Я знал, что Плетнев ожидал ареста, он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошелся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

– Что не приходишь ко мне?..

Вечером я пришел к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас, жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

– Так-то вот, – заговорил будочник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво. – Арестовали. Нашли у него кастрюлю, – он в ней краску ва-

рил для листков против государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

– Давай штаны!

– Сейчас, – ответила она, не поднимая головы.

– Жалеет, плачет, – говорил старик, показав глазами на жену. – И мне – жаль. Однако – что может сделать студент против государя?

Он стал одеваться, говоря:

– Я, на минуту, выйду... Ставь самовар ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав, с великой злобой, сквозь оскаленные зубы:

– У, стерво старое!

Лицо у нее опухло от слез, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела:

– Обману я его, так обману – завоюет! Волком завоюет. Ты – не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врет он, – никого ему не жаль. Рыбак. Он – все знает про вас. Этим живет. Это охота его – людей ловить...

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

– Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но ее глаз смотрел на меня с такой злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные.

– За кем он теперь следит?

– На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

– Не знаешь фамилию?..

Улыбаясь, она ответила:

– Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня! Идет...

Гурочку-то он выследил...

И отскочила к печке.

Никифорыч принес бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо мое здоровым глазом, а супруг ее внушал мне:

– Незримая эта нить – в сердцах, в костях, ну-ко – вытрави, выдери ее? Царь – народу – бог!

И неожиданно спросил:

– Ты вот начитан в книгах, Евангелие читал? Ну, как, по-твоему, все верно там?

– Не знаю.

– По-моему – приписано лишнее. И – не мало. Например – насчет нищих; блаженны нищие, – чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще – насчет бедных – много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден – значит – плох! А кто обеднел – он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это – лучше.

– Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо – очень продуманные мысли.

– Жалости много в Евангелие, а жалость – вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым, – слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые – на шею у них сидят. Вот чем заняться надо – этим! Передумать надо многое. Надо понять – жизнь давно отвернулась от Евангелия, у нее – свой ход. Вот видишь – из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними, – они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городского. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше в жизни.

А старый «ловец человеков» все говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

– Идти пора тебе, – дважды напоминала ему жена, он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и – вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

– Ты – парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе

булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству...

Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялutorовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

– Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчелы в улье или осы в гнездах. Государево царство...

– Гляди – девять часов, – сказала женщина.

– Черт!

Никифорыч встал, застегивая мундир.

– Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся...

Уходя из будки, я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в «гости» к Никифорычу, – отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее – полицейский.

Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновал меня.

В городе явился «толстовец», – первый, которого я встретил, – высокий, жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но, порою, резким движением скидывал лы-

соватую голову и обжигал страстным блеском темных, влажных глаз, – что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодежи и между нею – тоненький, изящный попик, магистр богословия, в черной шелковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное, красивое лицо, освещенное сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин Евангелия; голос у него был глуховатый, фразы короткие, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

– Актер, – шептали в углу, рядом со мною.

– Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу – кажется, Дрепера – о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх ее, – это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

– Итак – со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смот-

рели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил:

– Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

– Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему, он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шел с ними против его врагов.

– Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:

– Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут, их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

– Истина – это любовь, – восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

– Выбросьте Евангелие, забудьте о нем, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это – честнее!

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь – непрерывная борьба за счастье на земле, – милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца – Клопский, узнал, где он живет, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, – он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая – прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в легкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна

на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира» – с любовью, распыленной повсюду в жизни.

– Только этим можно связать человека! Не любя – невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни – борьба, это – слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

– А ты – кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек – везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

– Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал, как бы сквозь дрему:

– Покорность любви... закон жизни...

Вздвогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе,

уоставился на меня испуганно:

– Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя – приподнялась, и синеватые волосы редких усов ощетинились.

Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице, и еще раз увидел Клопского. Он, должно быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли, – мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел, в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, – сидел, раскачиваясь, и рычал:

– Милосердия...

Клопский резко и сердито кричал:

– Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь, – все едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту:

– Вот – спроси его – чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

– Это – булочник! Я ему должен.

Покачнулся; сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

– На, бери всё!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

– Ступай! После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и, в тот же день, – другой. Сестры поделились между собою радостью, и она обратилась в злобу против влюбленного; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви немедля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия – страшный и сложный вопрос – возник предо мною рано, сначала – в форме неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе, затем – в четкой форме определенно ясных слов:

«Какова роль любви?»

Все, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о сострадании к людям, – об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору.

Все, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо состраданию к людям. Жизнь развертывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестоко-

сти, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги, все остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять: все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы – живут не так, как я и люди, излюбленные мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил, – странно одиноки, чужды и – лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе муравьев, кропотливо строящих кучу жизни; эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И нередко я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, желтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь:

– Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от нее, чтоб она опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться, когда его задушит водянка.

– Скотов лечил – скотом и подход! – проводил труп ветеринара его квартирохозяин, портной Медников, тощенький, благочестивый человек, знавший на память все акафисты божией матери.

Он порол детей своих – девочку семи лет и гимназиста одиннадцати – ременной плеткой о трех хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался:

– Мировой судья осудил меня за то, что я будто у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал, кроме как на вывесках да на картинах.

Один из его рабочих, унылый кривоногий человек, по прозвищу Дунькин Муж, говорил о своем хозяине:

– Боюсь я кротких людей, которые благочестивые! Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползет на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких...

В словах Дунькина Мужа, кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым, – была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя, как лишай, каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытье, – я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер, и дрожали огни фонарей, а казалось – дрожит темно-серое небо, засевая землю мелким, как пыль, октябрьским дождем. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормо-

тал, всхлипывал. Женщина утомленно и глухо сказала:

– Такая твоя судьба...

«Вот, – подумал я, – и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пестрых людей. Устал я от этого».

Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу, именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжело угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что было еще хуже. Меня тянуло во все стороны – к женщинам и книгам, к работам и веселому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил «ни в тех ни в сех», вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой.

Узнав, что Яков Шапошников лег в больницу, я пошел навестить его, но там криворотая толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные, вареные уши, сухо сказала:

– Помер.

И, видя, что я не ухожу, а молча торчу перед нею, – рас-

сердилась, крикнула:

– Ну? Что еще?

Я тоже рассердился и сказал:

– Вы – дура.

– Николай, – гони его!

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, он крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнесся к этому спокойно, посидел минуту молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

– Эх ты, собака!

Я ушел в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, несмотря на праздничный день, в саду было пустынно и вокруг сада – ни души, только ветер метался, гоня сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно-синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожая, всей силой души, бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной. В этом было что-то тяжелое, очень обидное.

«А Николай идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок...»

Пошел к Рубцову, он сидел в своей конуре у стола, перед маленькой лампой и чинил пиджак.

– Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо, желая перекрестить-ся, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом – заворчал:

– Между прочим – все помрем, такое у нас глупое обыкновение, – да, брат! Он вот помер, а тут медник был один, так его тоже – долой со счета. В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свел. Умный медник! Со студентами несколько путался. Ты слышал, бунтуются студенты, – верно? На-ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни черта...

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

– То – здесь, то – инде вспыхнет огонек, а черт дунет, и – опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока еще пароходы ходят.

Остановился и, почесывая череп, спросил:

– А – куда поедешь? Везде бывал. Да. Везде ездил, а только себя изъездил.

Плюнув, он добавил:

– Ну – и жизнь, сволочь! Жил, жил, а – ничего не нажил, ни душе, ни телу...

Он замолчал, стоя в углу у двери и как будто прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошел ко мне, присел

на край стола.

– Я тебе скажу, Лексей ты мой Максимыч, – зря Яков большое сердце свое на бога истратил. Ни бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, – вот-от! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану – горе, брат! Ушил? Спасибо... Пойдем в трактир, чай пить...

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи, он бормотал:

– Помяни мое слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут все крушить – в пыль сокрушат пустяки свои! Не дотерпят...

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома, – ворота его защищали алафузовские рабочие.

– Каждый праздник здесь драка! – одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая, науськивая: – Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И – эхма-а!

Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толчками плеча. Дрались беззлобно, весело, ради удалства, от избытка сил; темная куча тел сбилась у ворот, прижав к ним фабричных; потрескивали доски, раздавались задорные

крики:

– Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойники,
Судовые мы ребята, рыболовники!

Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши несло:

Мы закидываем сети по сухим берегам,
По купеческим домам, по амбарам, по клетям...

– Стой! Лежачего не бьют...

– Дедушка – держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и еще человек пять, врагов или друзей, повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

Эх, мы поймали сорок щук,
Из которых шубы шьют!

– До чего же хорош народ на Волге! – с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь, сплевывая, и шептал мне: – Ты – беги! Выбери минуту и – беги! Зачем тебе в участок лезть?

Я и какой-то длинный матрос, следом за мною, бросились

в проулок, перескочили через забор, другой – и с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения, – смысл их был не понятен мне, мотивы – не ясны. Я видел веселую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если б мне предложили: «Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на Николаевской площади мы будем бить тебя палками!» – я, наверное, принял бы это условие.

Зайдя в крендельную Семенова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету избивать студентов.

– Гирями будем бить! – говорили они с веселой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушел из подвала, как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в черную воду, и думал тремя словами, бесконечно повторяя их:

«Что мне делать?»

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыка я любил и стал заниматься ею с великим увлечением, но мой учитель, скрипач театрального оркестра, во время урока, – когда я вышел из магазина, – открыл не запертый мною ящик

кассы, и, возвратясь, я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное бритое лицо и тихо сказал:

– Ну – бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слезы, странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача; чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошел к двери, но, остановясь, сказал идиотски-высоким и страшным голосом:

– Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне – рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести – как мне кажется – именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты – правдивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа – в нем для меня есть нечто приятное, – как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова

работал в булочной.

Однако – недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидел в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

– Вы свободны? – спросил он, не здороваясь.

– На двадцать минут.

– Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чертовой кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

– Нуте-с, – заговорил он спокойно и негромко, – не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться – согласны?

– Да.

– В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите дощаник из Красновидова, – хозяин Василий Панков. Впрочем, – я уже буду там и увижу вас. До свидания!

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжелую, серебряную луковицу-часы и сказал:

– Кончили в шесть минут! Да – мое имя – Михайло Ан-

тонов, а фамилия – Ромась. Так.

Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Игрет «верховой» ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом, – на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него – спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрепанный мужичонка в рваном армяке, подпоясанном веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

– Стронись... Куда лезешь...

Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

– Мужики меня не любят, особенно – богатые! Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе.

Кукушкин положил багор поперек бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

– Особо тебя, Антоныч, поп не любит...

– Это верно, – подтверждает Панков.

– Ты ему, псу рябому, кость в горле!

– Но есть и друзья у меня, – будут и у вас, – слышу я голос

Хохла.

Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ветви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке – льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует:

– Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

– Кто это тебя избил? – спрашивает Ромась, усмехаясь.

– Так, какие-то темных должностей люди, наверно – жулики, – презрительно говорит Кукушкин. И – с гордостью: – Нет, меня, однова, антиллеристы били, это – действительно! Даже и понять нельзя – как я жив остался.

– За что били? – спрашивает Панков.

– Вчера? Али – антиллеристы?

– Ну – вчера?

– Да – разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что – сейчас и бодается! Должностью своей считают это – драку!

– Я думаю, – говорит Ромась, – за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно...

– Пожалуй, так! Человек я любопытного характера, навыв обо всем спрашивать. Для меня – радость, коли новенькое что услышу.

Нос дощаника сильно ткнулся о льдину, по борту злобно шаркнуло. Кукушкин, покачнувшись, схватил багор. Панков с упреком говорит:

– А ты гляди на дело, Степан!

– А ты меня не разговаривай! – отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. – Не могу я за один раз и должность мою исполнять и беседу вести с тобой...

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне:

– Земля здесь хуже, чем у нас, на Украине, а люди – лучше. Очень способный народ!

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает – почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И – трудно ответить. Черт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом, – на Волге так хорошо, свободно, светло.

Дощаник плывет под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Ви-

дишь, как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестя в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зеленая щетинка травы. Телу – холодно, а в душе – тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле.

К полудню доплыли до Красновидова; на высокой, круто срезанной горе стоит голубоглавая церковь, от нее, гуськом, тянутся по краю горы хорошие, крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчовыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

– Однако – сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

– А грудь – не болит?

– Нимало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса, – мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

– Силенка – имеется, можно сказать – свыше должности, –

болтал Кукушкин. – Какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водохлебами дразнят вас. А еще – «Чай, примечай, отколе чайки летят» – это тоже про вас сложено.

С горы, по съезду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный, сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородой, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково:

– С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал:

– Упрись ногами в концы жердей, чтоб не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай.

Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его, с прямым, большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

– Простудишься, Изот, – сказал Ромась.

– Я-то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег. Изот, смерив меня глазами, спросил:

– Приказчик?

– Поборись с ним, – предложил Кукушкин.

– А тебе опять рожу испортили?

– Что с ними сделаешь?

– С кем это?

– А – которые бьют...

– Эх ты! – сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю: – Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал, – плывут. Хорошо плыли. Ты – иди, Антоныч, я послежу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружелюбно и заботливо, даже – покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда, Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

– Ваша комната на чердаке, – сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем – крыши бань, среди кустов. За оврагом – сады и черные поля; мягкими увалами они уходили к синему гребню леса, на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в черном, и, оборотясь к воротам, сказала крепко:

– Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услышав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как-то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но – замолчал, увидя меня.

– Что ж ты? – хмуро спросил Ромась. – Говори.

– Да уж я нечего, все сказал. Значит – так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то – с палкой потолще. При Баринове – не все говорить можно, у него да у Кукушкина – языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?
– Нет.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал:

– Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

– Увидим.

– Да уж – так!

Я смотрел на Изота и думал:

«Наверное, – вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский...»

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

– Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо – скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво:

– Умный человек, честный. Жаль – малограмотен, едва

читает. Но – упрямо учится. Вот – помогите ему в этом!

Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

– Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно – это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а – по другим причинам. Это – затея вроде вашей булочной...

Я сказал, что догадываюсь об этом.

– Ну да... Надо же учить людей уму-разуму, – так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампой в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжело влезая на ступени крыльца.

– Вот – слышите? – ходит! Это – Мигун, бобыль, злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним да и – вообще...

Потом, в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиной к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

– Вы человек способный, по природе – упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да – так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: «Всякое научение – от человека исходит». Люди учат больше, – грубо они учат, – но наука их крепче

въедается.

Говорил он знакомое мне, о том, что прежде всего надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

– Там у вас студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это – слова, любовь к народу...

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно:

– Любить – значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А – разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

– Нет.

– Вот видите! У вас там все Некрасова читают и поют, ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужика надо внушать: «Ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтобы жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все, – дворянство, духовенство, ученые, цари – все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну – учись жить, чтоб тебя не мордовали...»

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги, – почти все научного

характера: Бокль, Ляйель, Гартполь Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских – Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, «Фрегат „Паллада“ Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно:

– Хорошие книги! А это – редчайшая: ее сожгла цензура. Хотите знать, что есть государство, – читайте эту!

Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан».

– Эта – тоже о государстве, но легче, веселее!

Веселая книга оказалась «Государем» Макиавелли.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев, познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих, его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом – сослали в Якутскую область на десять лет.

– Вначале – жил там с якутами, в улусе, думал – пропаду. Зима там, черт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу: то – здесь, то – тут торчит русский, натыкано их не густо, а все-таки – есть! И, чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, – он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом – разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьезный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал, это

мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи, беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, – выпрямил меня. Незабвенный день.

В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрепанный человек, с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых, бабьих глаз.

– Что слышно в городе? – спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину: – Степан! Твои кошки опять петуха сожрали!

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

– Умный! Понимает свое дело...

– Ты сам выдумал все это, – спокойно заметил Ромась.

– Я? Когда?

– Не знаю...

– До чего ты мало веришь людям, Антоныч, – сказал Ба-

ринов с упреком, сожалительно качая головою. – А я – жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошел маленький, сухощавый человек, в рваной поддевке с чужого плеча; серое лицо его искажала судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку, острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами.

– Почет Мигуну! – насмешливо сказал Баринов. – Чего ночью украл?

– Твои деньги, – звучным тенором ответил Мигун, сняв шапку перед Ромасем.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил Мигуна сердитым взглядом:

– Если ты, старый черт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя – колом по ногам!

– Начинается обыкновенный разговор, – спокойно заметил Мигун и, вздыхая, добавил: – Как жить, коли – не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

– Какой же старый я? Сорок шесть годов...

– А на святках тебе пятьдесят три было, – вскричал Баринов. – Сам говорил – пятьдесят три! Зачем врешь?

Пришел солидный, бородатый старик Суслов⁷ и рыбак

⁷ Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их. (Примеч. М. Горького.)

Изот, так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

День был холодный, пестрый, по синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе: кто больше дерется – купец или барин? Кукушкин доказывал – купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина.

– Господина Фингерова папаша Наполеона Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои да и треснет лбами – готово! Оба лежат недвижимы.

– Эдак – ляжешь! – согласился Кукушкин, – но добавил: – Ну, зато купец ест больше барина...

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался:

– Не крепок становится мужик на земле, Михайло Анто-

нов. При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен...

– А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели, – ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца.

Я ждал: когда же он заговорит? И, внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить – что именно скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски-неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили все медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла: когда же он говорит с мужиками?

– О чем?

– Ага, – сказал он, внимательно выслушав меня, – ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице, – меня бы снова отправили к якутам...

Он натискал табака в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик – человек осторожный, недоверчивый. Он – сам себя боится, соседа боится, а особенно – всякого чужого. Еще не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля – трудно понять. Рассуждая просто – воля, это значит: живу как хочу. Но – везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова: а что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков – может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик – царист, он понимает: много господ – плохо, один – лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда – хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый – боится, каждый живет настороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И – сам себя боится: хочет много, и есть что взять, а – как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде – неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику да и царю. Но – и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стекла окон обильным внешним дождем. Серая мгла изливалась по улице; в душе у меня тоже

стало серовато и скучно. Спокойный, негромкий голос раздумчиво говорил:

– Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды – и станового, и губернатора, и царя...

– Это – на сто лет!

– А вы думали все сделать к Троицыну дню? – серьезно спросил Хохол.

Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать я услышал на улице выстрел, – он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я увидел, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный.

– Вы – что? Это я выпалил...

– В кого?

– А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю: «Отстаньте, стрелять буду», – не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо, – ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

– А сапоги чертовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином...

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бо-

роду перед зеркалом, он предупредил меня:

– Вы ходите по селу осторожней, особенно – в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы – боитесь. А бояться – не надо! Они сами народ трусоватый...

Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

– Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человеческий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

– Хорошо объясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть...

И – вдруг предложил:

– Ты будто сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и, упершись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

– А – ну? Уть!

Изот поднял меня, и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу.

– Ничего, ты – здоров! – утешил он меня. – Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью

на Волге – царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и – очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:

– Читаю ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой...

– Видал?

Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:

– Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их – слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны, – как это?

Что я мог ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека.

– Колдовство! – говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет.

Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все

рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звезды и спрашивал:

– Хохол говорит – и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, – как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить – как живут? Поди-ка – лучше нас, веселее...

В сущности, он был доволен своей жизнью, он сирота, бо-быль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

– Ты не гляди, что они ласковы, это – хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою – так, а завтра – иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело – каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о «мироедах»:

– Они – почему богаче других? Потому что – умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно – сила! А они расщепляют деревню, как полено на лучину, ведь вот что! Сами себе враги. Это – злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними...

Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

– Конечно, в этом я избалован, – добродушно каялся он. – Для мужьев – обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть, баба – она вроде как вторая

твоя душа. Живет она – без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я – свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом – грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею...

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

– Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил, – на дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья – лен. И глазенки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и все, бывало, гляжу на нее. «Ты – что?» – спрашивает. «Сами знаете», – говорю. «Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди!» И – верно! Пришла. Только – комаров она стеснялась, укусили ее комары, ну, и не вышло у нас ничего. «Не могу, говорит, кусают очень», а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, – с грустью и упреком кончил он. – Комары им жить мешают...

Изот очень хвалил Кукушкина:

– Вот, приглядишься к мужику, – хорошей души этот! Не любят его, ну – напрасно! Болтун, конечно, так ведь – у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он

очень любил новости, а когда их не было – сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

– Михайло Антонов – слышал ты? Тиньковский урядник в монахи идет, от своей должности, – не желаю, баает, мужиков мордовать, – шабаш!

Хохол серьезно говорил:

– Вот так все начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечесанных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:

– Все – не убегут, а которые совесть имеют – им, конечно, тяжело на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А ведь без совести и при большом уме не проживешь! Вот, послушай случай...

И рассказывает о какой-то «умнейшей» помещице:

– Такая злодейка была, что даже губернатор, невзирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, – говорит, – будьте осторожнее на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли!» Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: «Поезжайте с богом, не могу я переломить характер мой!» Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков: «Вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я...»

– В монастырь, – подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

– Верно, в игуменьи! Значит – и ты слышал про нее?

– Никогда не слышал.

– А – откуда же знаешь?

– Я – тебя знаю.

Фантазер бормочет, покачивая головой:

– До чего ты не верующий людям...

И так – всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и «пропадают без вести», но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на «свалку».

У него являются неожиданные и странные мысли, – он вдруг нахмурится и заявляет:

– Напрасно мы татар победили, – татары лучше нас!

А о татарах никто не говорил, говорили в это время об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

– Если селедку года два-три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

– Пустобрех, – зовут его солидные люди, и только щеголь Панков говорит серьезно:

– Степан – человек с загадкой...

Кукушкин очень способный работник, он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и все ему удается, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят, он кормит их воронами, галками и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его.

– Дуры, кошка – охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведем сотни кошек – продавать будем, доход вам, дурехи!

Он знал грамоту, но – забыл, а вспомнить – не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

– Так, так, – говорит он, жмурясь, как ребенок, глотающий горькое лекарство, – значит – Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был...

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция.

– Вот это – настоящий поворот жизни, – одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытарашенными глазами,

взял – «по любви» – замуж сироту, племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это, он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними – грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

– Знай я ремесло – жил бы в городе...

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив; ум его осторожен, недоверчив.

– Ты от сердца али по расчету за такое дело взялся? – спрашивает он Ромася.

– А – как думаешь?

– Нет – ты скажи.

– По-твоему – как лучше?

– Не знаю! А – по-твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

– Лучше – от ума, конечно! Ум без пользы не живет, а где польза – там дело прочное. Сердце – плохой советчик нам. По сердцу я бы такого наделал – беда! Попа обязательно поджег бы, – не суйся куда не надо!

Поп, злой старичок, с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти

враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя, я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен.

Очень памятливы мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутлобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит:

– Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

– Значит, – все-таки была нужда народу разбиться на словия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа, – я иду к себе, на чердак, и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто

к ней наше село. Неподвижность, тишина.

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но – я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет веселых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой, она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта бедная разумом жизнь, заметно, что все люди села живут ошупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех «наших» людей, которые хотят жить разумно.

Я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда, в такие ночи, мне вспоминаются двое горожан:

«Ф. КАЛУГИН И З. НЕБЕЙ

Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее».

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седую щеткой усов. У другого окна – З. Небей, курчавый, черный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

– Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, аристоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками – гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

«Какое счастье уметь все делать!»

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это – лю-

ди!

А деревня не нравится мне, мужики – непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то «подкапывает к сердцу», «спирает в грудях» и постоянно «резь в животе», – об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подола мочалом над головами. Это называется «пустить девку цветком». По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра, заметно, что они развязывают юбки медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной парни щиплют девицам ягодицы, кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с амвона говорит:

– Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

– На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, – рассказывает Ромась, – а здесь, под верою в бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к богу, восхищения красотой и силой его – у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же – вреднейший предрассудок, скажу вам!

Парни хвастливы, но – трусы. Уже раза три они попробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался, в чем дело.

– Эге, все-таки – получили подарок? Я ж говорил вам!

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но все же иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз, за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то злое, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завить. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми, они сложены из треугольников, двигаются, как циркули, и уничтожающе, великопостно звонят. На ней все – медное; растения, животные – все непрерывно, приглушенно звенит враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она – пустое место в небесах, но все-таки хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчовую полосу света и, зарожденное где-то далеко во тьме, исчезает в черной те-

ни горного берега, – я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острее. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течет вслед за ним, как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него, по воде, простирается острый красный луч – это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот, ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен.

– Ты опять тут? – спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды.

Потом – мечтает:

– Выучусь, начитаюсь – пойду вдоль всех рек и буду все понимать! Буду учить людей! Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком! Даже бабы – некоторые, – если с ними говорить по душе – и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает: «Что с нами будет, когда порем? Не верю, говорит, ни в ад, ни в тот свет». Видал? Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и наконец добавил:

– Живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребенка. В бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что «не поспевает он, больно много человека разродилось. Ну – ничего, он – поспеет, увидишь! А вот Христа я не могу понять – никак! Ни к чему он для меня. Есть бог, ну и – ладно. А тут – еще один! Сын, говорят. Мало ли что – сын? Чай, бог-то не помер...»

Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою говорит, вздохнув:

– Да, вот оно как...

– Что?

– Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали.

– Хорошо это – жизнь!

Я соглашаюсь:

– Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса темной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути, сверкают золотыми жаворонками большие звезды, и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются

лучи солнца, и – вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

– Удивительно это – солнце! – бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи, при легком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и – святей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил:

– Молчи знай. Что поделаешь?

И восхищался:

– Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное – до смерти не забудешь, вос-

креснешь – первым вспомнишь!

– Смотри – побьют тебя мужья, – предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

– И – есть за что, – соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьев, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось все больше народа – и неизбежно – старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, явятся другие, и так – почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло:

– Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай – почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человеческий! Отвечай – кто ты таков есть?

Его дразнят:

– Мишка, – ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг, – катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

– Караул. Убили...

Потом вылезает, весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

– За что?

– За потеху, – отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке, – в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало, – Хохол схватил меня за плечо:

– Стойте...

В сенях завывла кухарка.

– Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

– Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нашупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

– Осторожней! – сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув ее в комнату, скомандовал: – Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может, еще взорвет... – И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые, еловые поленья,

потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

– Что вы делаете?

– А – вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидел, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

– Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну, – что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

– Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее...

Кисловатый дым разошелся, стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи – вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне, – он вел себя так, как будто глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели голоса:

– У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья:

– В лавку ломятся, Михайло Антоныч!

– Ну, ну, тихо! – говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, шурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

– Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что та-

кое, господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и – не мог; в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

– Куда ты?

– Тушить, батюшка...

– Так нигде ж не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей:

– Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает:

– Как он размахнется на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

– Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

– Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй – пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

– Где староста?

– Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожа-

лея о чем-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда, и, сочувственно поглядывая на Ромаса, говорила:

– Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают.

– Не сердит вас это? – спросил я.

– Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: «Если б все люди так спокойно делали свое дело!»

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти.

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует – как в часах – некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Сулова:

– Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

– Ведь – нет для вас пользы в этом, а уважение вы поте-

ряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

– Верно – нет пользы!

И потом говорил Изоту:

– Это – душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

...Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке поугатать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

– Не испугались?

– Ну, чего же?

– Война!

– Садись чай пить.

– Жена ждет.

– Где был?

– На рыбалке. С Изотом.

Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил:

– Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал:

– Скушный царь!

– Мясник, – добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил:

– Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез, иноземцев. В этом – нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха – не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

– Удумали, черти! Вошь свою перевести – не могут, а человека извести – пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше – поменьше да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, – жди беды!

«Эта штука», очень неприятная богатеям села, – артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Сулова и еще двух-трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличилось количество покупателей, и даже «никчемные» мужики – Баринов, Мигун – всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравился Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовет меня тихонько:

– Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя

верхом на корме своего челнока, опустив кривые, темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса:

– Измывается надо мной барин, – ну, ладно, могу терпеть, пес его возьми, он – лицо, он знает неизвестное мне. А – когда свой брат, мужик, теснит меня – как я могу принять это? Где между нами разница? Он – рублями считает, я – копейками, только и всего!

Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:

– Считаюсь я вором, верно – грешен! Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас – не любит, а черт – балует!

Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

– Жить-то надо? – вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

«А зачем надо жить таким и так, как ты?»

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.

– Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, – бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запекает песню:

Меня-а мамонька любила-а, —

Говорила:

– Эхма, Яша, эх ты, милая душа,

Живи тихо-о...

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бечевку снасти, шевелятся медленнее.

Не послушал я родимой,

Эх, – не послушал...

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением темной, жидкой массы, опрокидывается в нее, а я – съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него, почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

«Зачем живут такие люди?»

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хватун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплеываясь:

– Адов город! Бестолочь. Церквей – четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ – сплошь жулик! И все – в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане – все, как есть, ходят и чешутся. Действительно, – царь-пушка есть там, струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал,

чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и – бунт! Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту – девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже – сам испугался. «Нет, – говорит Филарет-митрополиту, – надо ее, сволочь, заклепать от соблазну!» Заклепали...

Я говорю ему, что все это ерунда, он – сердится:

– Гос-споди боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты...

Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:

– Город этот – вроде нашего села, тоже на горе стоит, и – река, забыл, однако, какая. Против Волги – лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы – кривые и в гору лезут. Народ – хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а – полупольской, полутатарской. Балакает, – не говорит. Нечесаный народ, грязный. Лягушек ест, – лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них – замечательные, самый маленький – вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там – пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я – сам все видел, своими глазами, а ты – был там? Не был. Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умно-

жать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:

– Такую штуку никто и выговорить не может!

Он – человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и – бредит:

– Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним – мошка! Глядишь ты на него, и – нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего – работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах – ну, чего бы еще надо? Однако – не стерпела: «Очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки – прощай!» Потому – кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе – никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну – не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

– Ловко врет! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, – однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

– Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, – с его времени орлов на деньгах и чеканят – в честь ему.

Я замечал – который раз? – что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:

– Это пройдет! Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих – Баринова, Кукушкина – вам надо понять. Это, знаете, – художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А – согласитесь, что ведь он кое-что не плохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о боге, – только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

– Всё – от бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья

звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

– Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по-городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

– Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на черной – или посеребренной луною – реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода, – смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.

Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня, глаза ее показались мне

глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны – как будто искали, за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то, волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.

В середине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

– Когда Хохол воротится?

– Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью бритое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

– Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

– Ездил я с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено – понял? Значит – убит Изотушка! Не иначе...

Встряхивая голову, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать и – не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая голову.

На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидели Изота под разбитой баржей, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина – в воде, и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, – вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков-богачей, бедняки еще не воротились с поля. Суетил-

ся, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя – по очереди – на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились, и рябое лицо показалось мне жалким.

– Ой, озорство! – причитал староста, семена кривыми ногами. – Ох, мужики, нехорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

– Занозистый был мужик.

– Чем это?

– Это вон Кукушкин занозист...

– Зря извели человека...

– Изот – смирно жил...

– Смирно-о? – завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. –

Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

– На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

– Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

– Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи, она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты:

– Нет, ты докажи – кому я мирволю? Ты – докажи!

– Уходить надо отсюда мне, – ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листьях кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

«В каждом человеке детское есть, – на него и надо упираться, на детское это! Возьми Хохла: он будто железный, а душа в нем – детская!»

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

– Всех нас вот эдак... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впу-

стил его в избу, он хлопнул меня по плечу.

– Мало спите, Максимыч!

– Изота убили.

– Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищунив глаза, мотая головой.

– Так. Неизвестно – кто? Ну, да...

Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.

– Я же говорил ему... Начальство было?

– Вчера. Становой.

– Ну, что же? – спросил он и сам себе ответил: – Конечно – ничего!

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

– Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушел в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

– Жалко этот народ, – лучших своих убивает он! Можно думать – боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту, – каторжанин один рассказал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: «Бросимте, братцы, воровство, все равно – толку нет, живем плохо!» И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень

хвалил мне убитого: «Троих, говорит, прикончил я после того – не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ, умный, веселый, чистая душа». – «Что же вы убили его, спрашиваю, боялись – выдаст?» Даже обиделся: «Нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что! А – так как-то, неладно стало дружить с ним, все мы – грешны, а он будто праведник. Нехорошо».

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки за спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво:

– Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хо-рошенько, или – как собаки – смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это – реже. А учиться жить у них, подражать им – не могут, не умеют. Может быть – не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

– Могут и не хотеть! Подумайте, – люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один – бунтует: не так живете! Не так? Да мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми! И – бац его, учителя, праведника. Не мешай! А все же таки живая правда с теми, которые говорят: не так живете! С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

– Особенно – эти! Эх, если б я мог написать книгу! Но – не гожусь на это, – мысли у меня тяжелые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

– Как жалко Изота...

И долго молчал.

– Ну, давайте ляжем спать...

Я ушел к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес; казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки, и, если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота, на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остекленевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумленно открытый рот.

«Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я Пасху люблю за то, что она – самый ласковый праздник!»

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжелые шаги на лестнице; согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

– А я, знаете, женюсь! Да.

– Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что еще скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом.

– Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать – Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли ее так – Маша.

– Вы что смеетесь?

– Так.

– Думаете – стар я для нее?

– О нет!

– Она сказала мне, что вы были влюблены в нее.

– Кажется – да.

– А теперь? Прошло?

– Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

– В ваши годы это часто кажется, а в мои – это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чем нельзя больше думать, нет сил!

И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал:

– Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя, – вот что бывает!

Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли:

– Так вот как – женюсь!

– Скоро?

– Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощаником товара и другим, груженным коробами. Было утро, часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

– А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

– Как будто – гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксины:

– Горим!

Мы бросились на двор, – горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито

желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды, Хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал:

– К черту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья – в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но, когда я повернул ее, – оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь – не ждал, сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидел, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная, седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

– А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

– Бегите прочь! Сейчас взорвет...

Он бросился в сени, а я за ним и – на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но – глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мной запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, – густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я – растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая, желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копыта пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и, кроме этого, я не слышал иных звуков. Понимал, что – погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками. Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения – я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромась и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал:

– Что-о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали алые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

– Ну, что? – кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Меня облила освежающая волна радости – такое огромное, мощное чувство! – потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал Хохлу:

– Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дернул ее – меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

– Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

– Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить.

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

– Эх, – сказал Ромась, – жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торо-

пился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш, кривые огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гусях, в дымном воздухе разносилось злорадно ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучащий треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые «галки», бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

– Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь «порядок», всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе, они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени.

Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

– Не трусь! – кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову:

– Рубите с того конца, а я – здесь!

Я подрубил один-два кола, – стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а Хохол протянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

– Обожглись? – спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма все еще летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услышал чье-то злое восклицание:

– Поджог!

А лавочник сказал:

– В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное – особенно, увеличивает силы; я был возбужден, работал самозабвенно и наконец «выбился из сил». Помню, что сидел на земле, приклонясь спиной к чему-то горячему. Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

– Силенка у робенка!

– Этот – не выдаст...

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

– Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня в овраг, утешая:

– Ничего, брат! Кончилось.

– Испугался?

Я не успел еще отлежаться и прийти в себя, когда увидел, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять «богачей», впереди их – староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он – без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет:

– В огонь еретицкую душу!

– Отпирай баню...

– Ломайте замок – ключ потерян, – громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно

сказал:

– Православные, – ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

– Вот этот еще... Кто таков?

– Спокойно, Максимыч, – говорил Ромась. – Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

– Оба вы!

– Ломай!

– Православные...

– Отвечаем!

– Наш ответ...

Ромась шепнул:

– Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили.

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

– Ничего нет...

– Ничего?

– Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

– Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

– Чего – напрасно?

– В огонь!

– Смутьяны...

– Артели затевают!

– Воры! И компания у них – воры!

– Цыц! – громко крикнул Ромась. – Ну, – видели вы, что в бане у меня товар не спрятан, – чего еще надо вам? Все сгорело, осталось – вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

– Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

– Чего глядеть на них?

– Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они оралы прыгая вокруг нас.

– Ага-а, колья взяли.

– С кольями?!

– Оторвут они бороду мне, – говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается. – И вам попадет, Максимыч, – эх! Но – спокойно – спокойно...

– Смотрите, у молодого топор!

У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор, я забыл о нем.

– Как будто – трусят, – соображал Ромась. – Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонка, смешно приплясывая, неистово визжал:

– Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатались в овраг. За Кукушкиным прибежали Панков, Баринов, кузнец, еще человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

– Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

– Идемте, Максимыч, на берег, в трактир, – сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движеньем сунул ее в карман штанов.

Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

– Пошел прочь, дурак!

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали докрасна раскаленные прутья койки, точно ноги паука. Обугленные верей ворот стояли у костра черными сторожами, одна верей в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

– Сгорели книги, – сказал Хохол, вздохнув. – Это досадно!

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от роду, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой, черной луже, бил пал-

кой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих поружела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

– А с яблоками мироеды проиграли дело, – сказал Ромась.

Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

– Что, брат? – спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

– У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу шупающими глазами.

– Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

– Подумаю.

– Уехать надо тебе отсюда.

– Посмотрю.

– У меня план есть, – сказал Панков, – пойдем на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

– А – не робок ты! Тебе здесь – можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким

свитком развернулось предо мною все пережитое в этом селе – как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

– Эй, – слышал я сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. – Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая, точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

– Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!

Идя сзади меня, он ворчал:

– Тебе нельзя спать где попало! Пройдет по горе человек, оступится – спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас – не шутят. Народ, братец ты мой, зло помнит. Кроме зла, ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился, – шевелились ветви.

– Нашел? – спросил звучный голос Мигуна.

– Веду, – ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

– Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну – не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упреком:

– Вы что же гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуρο и тихо:

– Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А вот что, я продал ему все, что

осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?

– Подумаю.

– Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжело шлепал плицами колес буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и порою закрывая их.

– Сердитесь на мужиков? – сонно спросил Ромась. – Не надо. Они только глупы. Злоба – это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

«Кирпичами издаля!»

В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, добрые звери, – любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребенка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого все, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то все свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия, в

них начинает играть собачья угодливость пред сильными, и тогда на них противно смотреть. Или – неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинаясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться – и дерутся – из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, – никем не любимые, они живут на смех селу, без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

– Преждевременный вывод, – заметил он с упреком.

– Но – что же делать, если он сложился?

– Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь.

– Не торопитесь осуждать! Осудить – всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато – прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, будьте бесстрашны, но – не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце, после того как Ромась отбыл по делу «народоправцев» еще одну десятигодовую ссылку в Якутской области.

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Краснови-

дова, я заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

– Лексей Максимыч, воевода без народа, – как же, а? – спросил он меня дождливой ночью. – Едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще – того, как-нибудь, под пьяную руку...

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже почему-то затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немошно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

– Едем, а? Завтра?

Поехали.

...Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи, у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головою, – водит, топя по палубе тяжелыми ногами, и густо вздыхает:

– О-уп!.. О-рро-у...

За кормой шелково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекою клубятся черные тучи осени. Все вокруг – только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, пре-

вращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всю массу текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд.

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька – два над водою и один высоко над ними – провожают его; ближе ко мне под тучами плывут, точно золотые караси, еще четыре, один из них – огонь фонаря на мачте нашей баржи.

Я чувствую себя заключенным внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я вклеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится, – пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

– Опр-оп! О-урр...

Я спросил его:

– Как тебя звать?

– А зачем тебе знать? – глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое,

безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, потрянув башкой, сказал строго:

– Благослови осподь!

Пароход ведет из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, груженные штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжелыми ящиками, – все это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

– Не иначе – ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

– Тебе какое дело?

– В мыслях моих...

– А – в морду – хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу «из милости», и, хотя мы «держим вахту», как матросы, все на барже смотрят на нас точно на нищих.

– А ты говоришь – народ, – упрекает меня Баринов. – Тут – просто: кто на ком сел верхом....

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещенные огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом «вахтить» на руле в помощь этому зверю. Следя

за движением огней, на поворотах, он тихо говорит мне:

– Эй, берись!

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

– Ладно, – ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком – не удастся, он отвечает вопросами:

– А тебе что за дело?

О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

– Сволочь.

– Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, еще не раздавленных тьмой. Это кажется недостижимо далеким и ненужным.

– Собаки тут плохие, – неожиданно говорит человек у руля.

– Где – тут?

– Везде. У нас собака – настоящий зверь...

– Ты – откуда?

– Вологодской.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатались серые, тяжелые слова:

– Это – кто с тобой – дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит.

Трактир. На берегу.

Выговорив все это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком.

– Берись, ну... Грамотный? Не знаешь – кто законы пишет?

Не дождавшись ответа, он продолжает:

– Разно говорят: одни – царь, другие – митрополит, Сенат. Кабы я наверно знал – кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то что ударить! Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце, и шабаш! Тогда я – отвечаю! А так – не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, все более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по черной воде желтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течет, так вязки и густы темные, сочные облака. Мы все глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

– К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу избушек деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржей пролетела чайка, свистнув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре – так показалось мне – меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидел, что трое матросов, прижав рулевого к стенке «конторки», разногласно кричат:

– Брось, Петруха!

– Господь с тобой, – ничего!

– А ты – полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

– Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубаше и портах, темная куча нечесаных волос торчала на его голове, они спускались на упрямый, выпуклый лоб, под ним видно было маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

– Утонешь! – говорили ему.

– Я? Никак. Пустите, братцы! Не пустите – убью его! Как приплывем в Симбирской, так и...

– Да перестань!

– Эх, братцы...

Он медленно, широко развел руки, опустил на колени и, касаясь руками «конторки», точно распятый, повторил:

– Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоко, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые, слепые глаза темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились перед ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

– Вот – спасибо!

Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидел, как Петруха, болтая головою, надел на нее – шапкой – свой узел и поплыл, наискось течения, к песчаному берегу, где, встречу ему, нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья.

Мужики говорили:

– Одолел себя все-таки!

Я спросил:

– Он – сошел с ума?

– Зачем? Нет, это он – души спасенья ради...

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом. Матросы закричали:

– Проща-ай!

Кто-то спросил:

– А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

– У него, в Симбирске, дядя живет, злодей ему и разоритель, вот он и затеял убить дядю, да, однако, пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь мужик, а – добрый! Он – хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки, и – вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что черт дернул Барина за язык и этот фантазер что-то рассказал матросам.

– Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался:

– Рассказал немножко!

– Да – я ж тебя просил молчать?

– Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захватил карты, – скушно! Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Барин, скуки ради,

сплел весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него, – он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:

– Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегают, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек – правда, а добрый – где? Доброгo-то еще не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

– Вы нам люди неподходящие, – сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек. Пошли в трактир пить чай.

– Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

– Как – что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабан-кул-бай.